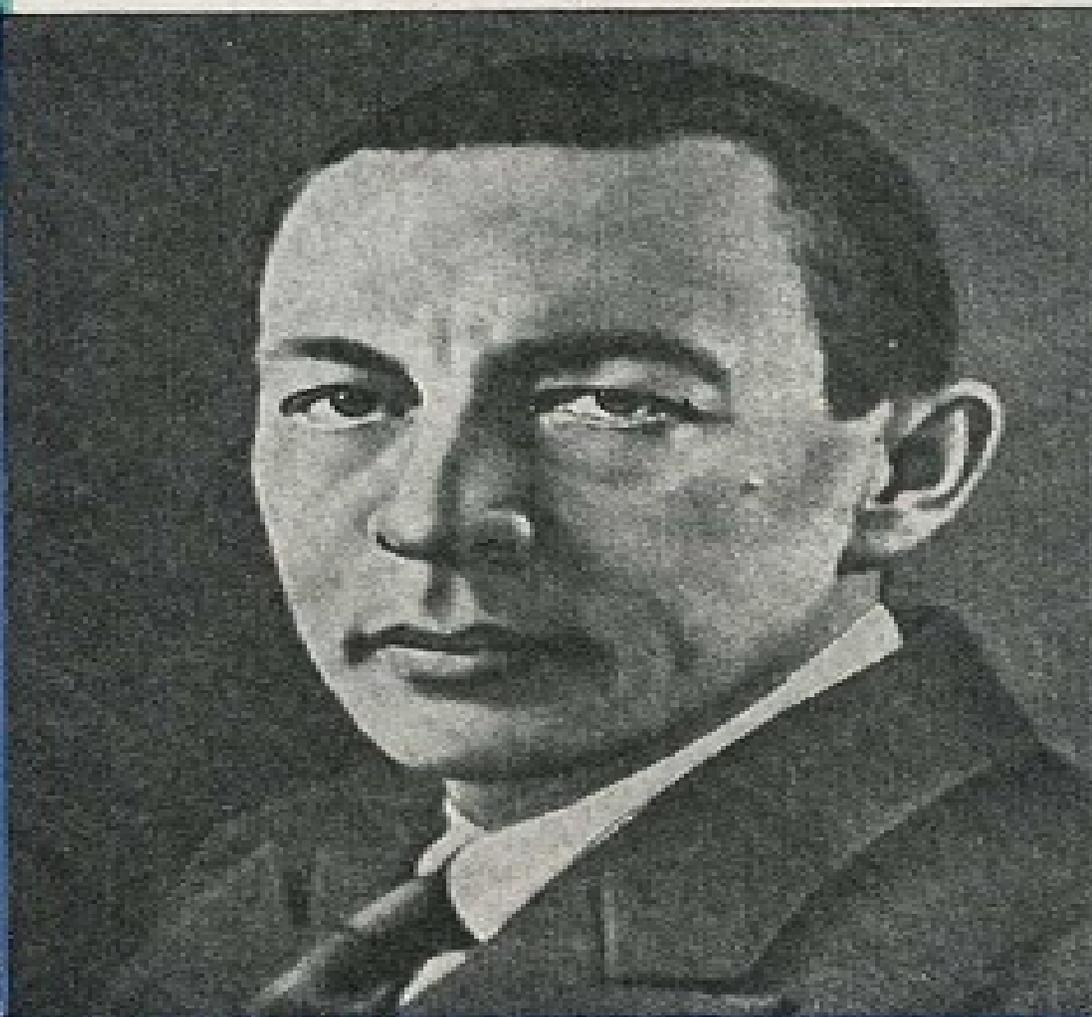
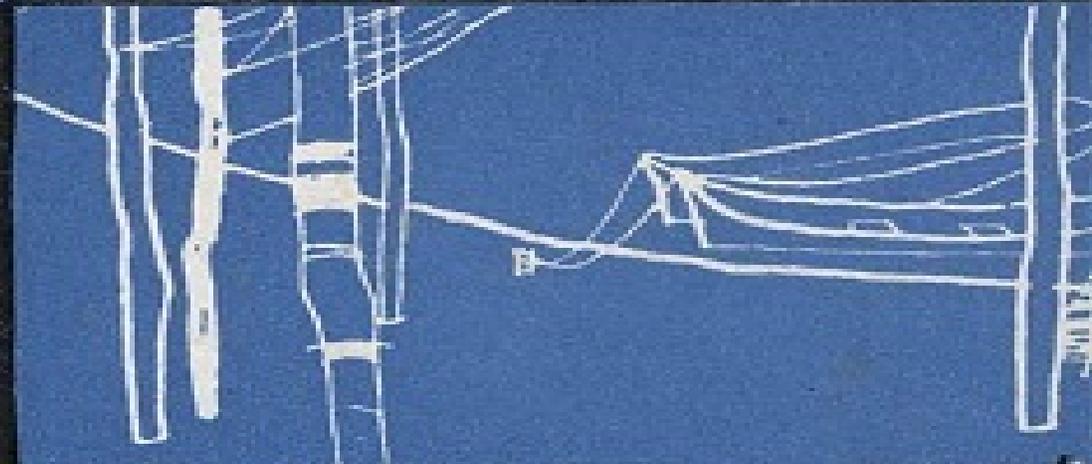


РАХМАНИНОВ



Н. Тражанов



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Annotation

Книга посвящена Рахманинову Сергею Васильевичу (1873–1943) — выдающемуся российскому композитору, пианисту, дирижеру.

- [Николай Бажанов Рахманинов](#)
 - [ЧАСТЬ ПЕРВАЯ](#)
 - [Глава первая СТАРАЯ ЕЛЬ](#)
 - [Глава вторая ПЕТЕРБУРГСКИЕ ДНИ](#)
 - [Глава третья «ЗВЕРЯТА»](#)
 - [Глава четвертая «ЗЕЛЕНый ОСТРОВ»](#)
 - [Глава пятая «НОЧЕВАЛА ТУЧКА ЗОЛОТАЯ»](#)
 - [Глава шестая ПОД СЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗДОЙ](#)
 - [Глава седьмая ПТИЦА ВЕЩАЯ](#)
 - [ЧАСТЬ ВТОРАЯ](#)
 - [Глава первая ЧАСТНАЯ ОПЕРА](#)
 - [Глава вторая ПРОБУЖДЕНИЕ](#)
 - [Глава третья ПЕРВЫЕ ГРОЗЫ](#)
 - [Глава четвертая ВТОРАЯ СИМФОНИЯ](#)
 - [Глава пятая «ОСТРОВ МЕРТВЫХ»](#)
 - [Глава шестая «БЕЛАЯ СИРЕНЬ»](#)
 - [Глава седьмая «КОЛОКОЛА»](#)
 - [Глава восьмая УТРАТЫ](#)
 - [Глава девятая РАССТАВАНИЕ](#)
 - [ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ](#)
 - [Глава первая ПО ТУ СТОРОНУ](#)
 - [Глава вторая КЛЕРФОНТЭН](#)
 - [Глава третья СЕНАР](#)
 - [Глава четвертая «СВЕТЛИЦА ТИХАЯ»](#)
 - [Глава пятая ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ](#)
 - [Глава шестая «ОДИН ИЗ РУССКИХ»](#)
 - [ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА С. В. РАХМАНИНОВА](#)
 - [КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ](#)
-

Николай Бажанов Рахманинов



С. Рахманинов.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ



Глава первая СТАРАЯ ЕЛЬ

1

Хмурый и ветреный новгородский край кто-то прозвал Голубою Русью.

И правда, если присмотреться хорошенько, все в ней было голубо: и

лесная даль, и тихий свет озерной воды в чащах ивняка, и ковры цветущего льна на полях, и девичьи глаза. Даже льняная береста сквозных березовых чащ в облачный день выглядела голубоватой.

А чтобы приукрасить немного эту однотонную голубень, по опушкам леса и высоким обочинам дорог все лето буйным малиновым цветом цвел иван-чай.

Истоки памяти почти всегда скудны. Мы лишены «чувства своего начала». Сперва он совсем ничего не мог припомнить. Потом, как из тумана, вышли темные липы, скворечни подле засыпанного колодца и серая источенная жучком колода, а потом и звезда зажглась, заиграла над соломенными крышами гумен.

Но старый онежский дом, сбитый еще в пушкинские времена из толстых бревен, теперь позеленелых от дождей и туманов, был и раньше, до того как под его кровлей в марте 1873 года Сережа Рахманинов увидел свет. Напротив крыльца стояла вековая ель. Важно помахивая косматыми рукавами, она как бы благословляла новорожденного пришельца в Голубую Русь на долгий путь, который перед ним только еще открывался.

Дом жил своей жизнью. Вечно за стенами, под полом и на чердаке что-то сыпалось, скрипело, шуршало. Особенно по ночам. Днем няньки, ключницы и приживалки шныряли по комнатам, ссорились, наушничали и шептались. С утра до ночи надоедливый скрип дверей, топот детворы и сердитая воркотня нянек.

В гостиной пахло печами и антоновскими яблоками, сваленными в кучу на соломе возле балконной двери.

В углу стояло фортепьяно — очень старый, красного дерева ящик на кривых ножках. Первые воспоминания о нем у Сережи были не из приятных. Под роялем он нередко сидел, всхлипывая, когда случалось ему напроказить. А мать тем временем наигрывала всегда один и тот же старинный чувствительный романс. Эта музыка почему-то казалась Сереже особенно обидной.

Но когда в доме царили мир и согласие, за фортепьяно частенько садился отец Сергея — Василий Аркадьевич. Звуки веселые и шаловливые, как солнечные зайчики в погожий мартовский день, плясали и прыгали по комнате. Сережа принимался громко смеяться от радости. Однажды, осмелев, он начал карабкаться на табурет, добираясь до клавишей. Мать, увидав, припугнула его.

Высокая кроткая женщина, бледная и молчаливая, почти всегда в темном платье, заколотом у ворота костяной брошью, Любовь Петровна Рахманинова, в девичестве Бутакова, была постоянно занята своими

мыслями и нередко казалась безучастной ко всему, что происходило в доме. В те времена любили говорить, что быть матерью большой семьи — это прежде всего «подвиг любви и бесконечного терпения». Но для воплощения этой прописной истины у Любови Петровны уже не было ни того, ни другого. Терпение с годами сменилось напускным равнодушием. Любови же у нее хватало только на старшенькую, Лену.

Но девочка боготворила отца.

Отец Василий Аркадьевич был всегда весел, беспечен и нежен с детьми. Сияя от умиления, кормил с ложечки крошку Варю и, натянув фартук, собственноручно купал четырехлетнюю Соню. Коренастый, с лихо расчесанной надвое светло-русой бородой и выпуклыми голубыми глазами, дерзко и весело глядевшими из оправы золотого пенсне, он все же мало походил на юного гродненского гусара, в шестнадцать лет ходившего добровольцем на покорение Шамиля.

До конца дней Василия Аркадьевича осеняли идеи фантастические, иногда нелепые, но всегда неожиданные. Как известно, Рахманиновы вели свой род от молдавского господаря Стефана Великого. Однако Василию Аркадьевичу ничего не стоило убедить заезжую петербургскую помещицу в том, что предком его по мужской линии был Дмитрий Самозванец, а по женской — Абрам Петрович Ганнибал. Всегда без гроша в кармане, вечно в долгах, он никогда не терял хорошего расположения духа. С удивительным простодушием он занимал под будущий двухсоттысячный выигрыш по облигации, и ему верили.

Когда Сережа был совсем мал, в Онег частенько наезжали гости. Тут Василий Аркадьевич становился неузнаваем. Щелкая воображаемыми шпорами, он то порхал среди уездных дам, то, присев к фортепьяно, играл польку с задором и легкостью, непостижимой для его коротких пальцев. Даже дремавшие по углам древние старички начинали притопывать каблуками. А нередко в самый разгар веселья радушный хозяин принимался, начиная с дальних комнат, гасить одну за другой лампы. Гости со смехом кидались в прихожую одеваться. Но даже к таким озорным выходкам Василия Аркадьевича соседи вскоре привыкли и без обиды наезжали в Онег снова и снова.

Делами хозяйства Василий Аркадьевич себя не обременял, доверив всю полноту гражданской власти Нифонту, хитрому долгобородому мужику, именуемому «великим визирем». Они хорошо понимали друг друга и обычно ладили.

Только раз после проверки счетов Василий Аркадьевич переполошил весь дом: затопал ногами, обозвал «визиря» вором, кричал: «Застрелю!» Но

буря так же внезапно утихла, как и разыгралась.

Любовь Петровна не была бесприданницей. И за первые десять лет супружества Рахманиновых четыре ее поместья уже ушли между пальцев у беспечного супруга. Онег был пятым и последним.

Когда Сереже минуло четыре года, к старшим мальчикам был приглашен воспитатель. Юная гувернантка мадемуазель Дефер присматривала за сестрами Леной и Софией.

Она напомнила о себе Сергею Рахманинову в Швейцарии пятьдесят четыре года спустя. (Едва ли он вспомнил бы ее сам!) Лишь память сердца на мгновение воскресила исчезнувший образ и еще раньше — чистый и свежий голос. Она нередко пела под аккомпанемент фортепьяно.

Однажды (был какой-то праздник, и родители уехали в гости) Сергей совсем рассмешил мадемуазель, вызвавшись ей аккомпанировать. «Жалобу девушки» Шуберта повторили трижды. Мадемуазель была поражена, увидев, как эти крохотные ручонки берут аккорды. Аккорды не могли быть полными, но она не услышала ни одной фальшивой нотки.

Сергей просил мадемуазель не выдавать его матери. Однако девушка все же проговорила. Мать написала бабушке. В дело вмешался дед Сергея генерал Петр Иванович Бутаков и тоном, не терпящим возражения, велел выписать из Петербурга наилучшего учителя музыки.

Любовь Петровна, подумав, обратилась к своей институтской подруге Анне Даниловне Орнатской. И вскоре в дом Рахманиновых тихо вошла молодая темноглазая женщина в кашемировой шали, брошенной на хрупкие плечи.

Сережа поглядел на гостью сперва недоверчиво, потом улыбнулся и шаркнул ножкой. Анна Даниловна засмеялась. Взяв Сережу на руки, усадила на высокий табурет возле фортепьяно и начала терпеливо разгибать его тонкие упрямые пальцы, раскладывая их на пожелтевших клавишах.

Орнатская была очень застенчива, и от всего существа ее так и веяло весной, тем «хороводом теплых майских дней», которые недаром много лет спустя Рахманинов посвятил ей — первой, кого он встретил на пороге в загадочный мир звуков.

Когда Сережа сидел за фортепьяно, со стены из овальной рамки на него внимательно глядел пожилой мужчина с живыми темными глазами, изблещавшими необыкновенную доброту и вспыльчивый нрав.

По словам матери, дед Сережи по отцу Аркадий Александрович Рахманинов был не только виртуоз на фортепьяно, но даже сочинял музыку.

Что такое «виртуоз», Сережа не знал, но деда полюбил за глаза, еще не видя.

И однажды легендарный дед появился. На шестьдесят девятом году Аркадий Александрович сохранил необыкновенную легкость в походке, простоту и изящество в манерах и одежде. Вся его внешность, казалось, говорила: если бы не дурацкие предрассудки, присущие дворянскому сословию, он, ученик Джона Фильда, друг Львова и Виельгорского, может быть, сделался бы артистом, каких не так уж много. Вместо этого он музицирующий помещик, и только.

Войдя в гостиную, он нашел глазами Сережу.

— А это еще что за Штраус? — удивился он.

Надев на нос черепаховое пенсне, присел рядом с внуком к фортепьяно.

— Сонатина Клементи?! А ну, попробуем...

Сережа сперва перетрусил, а потом — осмелел, пальцы побежали по клавишам.

В это время Сережина кормилица Дарья пришла просить воз соломы на крышу.

— Тебе, Дарья, не воз, три воза мало! — закричал дед. — Пять возов за то, что выкормила мне такого внука!

Вечером того же дня дед с внуком, снова поместившись рядом у фортепьяно, ошеломили наехавших гостей величавыми звуками анданте из Пятой симфонии Бетховена.

Дед ликовал, пророча внуку лавры будущего Штейбельта, прославленного в те дни пианиста-виртуоза.

Но дед нашумел и ускакал в свое тамбовское имение. И скука, бежавшая в панике, потихоньку вернулась в темноватые покои онежского дома. Даже солнце, освещая их через тусклые, словно невымытые стекла, теряло жаркое золото своих лучей.

Бывало, еще в августе начинались обложные дожди. А там зима, лютые вьюги, обмерзший сруб колодца во дворе, дальний волчий вой по вечерам, запах смолистого дыма из отсыревших печей. Топили не все печи, и в гостиной часто замерзала вода. Заглядывая вечерами в пустую холодную комнату, Сергей весь замирал от непонятного страха.

С братьями — старшим Володей и младшим Аркадием — в детстве он так и не подружился. Володя был старше Сергея всего лишь на полтора года, но любил щегольнуть своим превосходством. Совместные игры братьев-разбойников редко кончались мирно.

С Леной, напротив, в те годы Сергей был почти неразлучен. Была

девочка и умна, и ласкова, и очень музыкальна. Приезжие гости дивились красоте ее еще не окрепнувшего голоса.

«Будет звезда!» — мечтательно говорил дед, слушая ее пение.

Но милый, приветливый нрав уживался в натуре девочки с унаследованной от матери замкнутостью. В этом брат и сестра были схожи. Бывало, обхватив руками худенькие колени, Лена подолгу глядела вдаль на озеро, откуда летними вечерами доносился благовест новгородских колоколов.

Сергея тоже чаровал этот звон. И только ли один звон!..

Шаг за шагом непостижимый мир звуков раскрывал маленькому музыканту свои кладовые. Иной раз заскрипит ворот у колодца, зальются перепела в овсах, проскачет за воротами становой с колокольцами, запоют девушки в роще или просто загудит басом в шиповнике черный мохнатый шмель — и на несколько минут нет Сережи! Тут уж звать его бесполезно. Бывало, нянька трясет Сергея за плечи, чтобы «вернуть на землю».

— Зачарованный, спаси господи! — глядя на него, шептали, крестясь, приживалки.

Но столь же трудно, бывало, и уgomонить его, когда он разойдетя.

Случалось Сергею не без причин искать убежища под шатром старой ели.

Под ветром ель тихонько гудела, и в невнятном гуле этом Сергею слышался то широкий и нежный напев, то звон арфы, про которую он знал только понаслышке.

Дни и недели, будни и праздники...

Так бы, пожалуй, и ушло детство Сережи Рахманинова, не пробудив его дремлющей души, если бы не бабушка София Александровна Бутакова.

Тихая, начинающая полнеть, пожилая женщина в черной наколке, с виду задумчивая и немножко даже угрюмая. В Онег бабушка наезжала не часто, не делая секрета из того, что приезжает главным образом ради Сережи. А чаще брала внука к себе в Новгород. Летом приезжала за ним сама, а зимой присылала свою наперсницу Уляшу в кибитке с кучером Гаврилой Олексичем и ворохом лисьих шуб.

Езды до окраины города всего шесть с небольшим верст, но дорога всякий раз кажется длинной, как сибирский тракт. Побегут кривые сосенки, подует в лицо мелкий колючий снежок, с озорством зафыркает пристыжная,

а душа Сережи, расправив крылья, полетит прямо в рай.

Чувство какого-то радостного смущения, которое Рахманинов испытал, впервые переступив порог бабушкиного дома, возвращалось к нему снова и снова много лет спустя. Оно не могло исчезнуть, потому что источником его была любовь, которой он не знал в родной семье. Здесь же она, как теплый ветер, кружила по комнатам.

В эту пору Софии Александровне шел пятьдесят четвертый год. Личная жизнь у нее сложилась невесело. Суров был генерал Петр Иванович, директор аракчеевского корпуса! Когда же овдовела, в кругу большой семьи не оказалось у нее ни одного душевно близкого человека.

Жила бабушка с экономкой Василисой Егоровной, своей сверстницей, очень доброй, но не улыбочливой женщиной, и горничной Уляшей, сиротой из Подберезья, воспитывавшейся в доме с девяти лет. Кучер Гаврила Олексич жил особняком во флигеле возле конюшни, плотничал и смотрел за садом.

Позднее, в Москве, живя уже не в семье, а «в людях», Сергей, осторожно переверачивая драгоценную страницу памяти, спрашивал себя: неужели и правда все это так было, как ему запомнилось, или только пригрезилось?..

В бабушкиной комнате верхние просветы окон были застеклены цветными стеклами. От этого даже в хмурый ненастный день в комнату лился радужный свет.

Уляша была красивая и веселая чернобровая девушка с тяжелой каштановой косой. От ее звонкого голоса, от быстрых, летающих шагов, от цветных сарафанчиков с пышными, белыми, до локтя рукавами в комнатах делалось еще светлее. По праздникам приходили к ней подружки, пели жалостные и веселые песни, гадали.

Когда наступали сумерки, бабушка складывала рукоделье и начинался разговор по душам. К душе внука она хорошо узнала дорогу. Иногда бабушка «сказывала» нараспев, особым новгородским говорком, про Васю Буслаевича и Вольгу Святославовича.

По праздникам, когда работать было нельзя, иногда просто «сумерничали». Месяц глядел в окошко. Коврики месячного света медленно ползли по полу к узорчатым половичкам.

Чего только не припомнишь лунным весенним вечером, когда в доме прибрано, когда в углу тихонько наигрывает сверчок и где-то за садом сторож ходит с колотушкой!

Раз, пошептавшись с бабушкой, Уляша принесла из соседней комнаты гитару. Зазвенели подтягиваемые струны.

Подумав, завела Уляша старинную свадебную песню — «Матушка моя, что во поле пыльно?».

Голос у нее оказался неожиданно низкий, грудной. Сергей весь насторожился, тихонько и прерывисто дыша.

Дитяtko мое,
Не плачь, не пужайся,
Родимое, свет, мое,
Ты не бойсь, не выдам!

Песня тихая, вкрадчивая, как бы вся улыбается, но в протяжном напеве, в подголосках гитарного перебора звучит предчувствие близкого горя, неминуемой разлуки. Едут, едут незваные гости. Вот уже во двор въезжают, и на крылечко всходят, и за стол садятся, и образа снимают... И вновь, надрывая сердце, звучит голос матери:

Родимое, свет, мое,
Господь бог с тобою...

Много воды, много песен утекло, покуда понял Сережа, что и в музыке и в жизни сердца печаль и радость родные сестры.

Пела в тот вечер Уляша и суровую — про «татарский полон», и задорно-лукавую про «утушку луговую». А потом месяц зашел за угол дома. Сверчок замолчал. Уснул и сторож с колотушкой, пригорюнившись на завалинке.

Весной вниз по Андреевской улице, за позеленевшим от дождей забором, что ни день, на заре гнали стадо.

Раз, в юрьев день, Уляша зазвала во двор белоголового и темноглазого пастушонка Савку. За спиной у него вместе с холщовой торбой висел на шнурке берестяной рожок. Савка сперва застеснялся, уставясь в землю. Но от Уляши не так просто отделаться!

И рожок вдруг запел так светло и нежно, что Сережа даже засмеялся от радости.

Часто ранним утром, когда он еще нежился под одеялом, сквозь щебет птиц за окошком с дальнего выгона долетал голос пастушьей жалейки. Он плыл над лугами, одетыми росой, потом вдруг как бы останавливался, повиснув в воздухе, и уходил замирая. И во сне не снилось ни Савке, ни самому Сергею, что этот нехитрый напев пастушьего рожка много лет спустя на далекой чужбине еще раз позовет лебединой песней стареющего русского музыканта.

Однажды Сергей забрел на церковный двор Федора Стратилата. Двор был зеленый и пестрел ромашками. На скамье подле звонницы сидел востроглазый старичок в чуйке и большом картузе.

Разговор, как водится, начался издалека. Осторожно и недоверчиво выспросив у Сергея, чей он, и, узнав, что генеральшин, старичок посветлел, назвался Яковом Прохорычем и повел Сергея на колокольню. Оттуда, с занимающей дух высоты, все было видно как на ладони. Сергей впервые понял, где Софийская сторона, а где — Торговая, где Спас-на-Ильине, а где — на Ковалеве, увидел белеющий за чертой города среди темной зелени собор Юрьева монастыря.

— А Ильмень? — спросил он, положив ладони и подбородок на высокие перила звонницы.

— А вона! — показал старичок на край земли за монастырем, где, разлившись широко, светила и словно мерцала серебряная полоса.

Старый пономарь оказался большим хитрецом. С изумлением Сергей следил за тем, как его кривые, черные, узловатые пальцы целой сетью веревочек «играли» на малых колоколах.

Когда Сергей спускался с колокольни под щебет ласточек, осторожно нащупывая крутые ступени, в голове у него гудело. Но зато он уже знал все про колокола — вечевые, набатные, благовестные и полиелейные, знал, что такое красный — усладительный — звон.

А Ильмень с того дня не давал Сереже покоя.

Бабушка колебалась. Дорога на Ильмень не то что плоха, но просто несносна: пески!

Тут вмешалась Уляша.

— Будет завтра ведрено — и пойдем. Пускай Олексич нас только до Пустыни довезет. А там тропюю, лугом монастырским доведу. Я тропу ту знаю. Версты две, не боле, будет до берега. Сережа притомится — на руках донесу.

День, правда, выдался серенький, но не переставал про себя улыбаться. Вдоль тропы уже расцветали метелки иван-чая. Гудели пчелы. Справа на пригорке желтели крыши приземистых изб, ходили зеленые

волны овса.

Ульяша вела за руку Сережу. Попалась сосновая рощица, коврики вереска и земляники. Плыли облака. По земле, по полям и чащам неслышно скользили тихие тени.

Столько было цветов, трав и всяких диковин, что никто и не заметил, как тучки ушли на север и день засиял, как раздался кустарник и впереди разлилось, засверкало серо-голубое, сыплющее золотые искры озеро-море.

Несколько минут стояли как в столбняке. Потом разулись и пошли вниз по песчаной дороге.

На широкой отлогой полосе берегового песка стояли лодки и баркасы.

— Глянь! — вскрикнула Ульяша. — Наши из Подберезья... Федор и Арина...

Она закричала и махнула цветным платком.

Подшли ближе. Подле старого бота, вытянутого кормой на мокрый песок, стоял высокий мужик с курчавой головой и небольшой золотистой бородкой. Выгоревшая на солнце рубашка и подвернутые до колен холщовые порты. В лодке — веснушчатый парень лет четырнадцати с льяныными, зачесанными в скобу волосами. На берегу — высокая и такая же крепкая, еще молодая женщина в холщовом переднике, полинялой красной кофте и когда-то синем ситцевом платке, повязанном вокруг головы и до глаз. Но глаза-то были большие, светло-серые, с голубинкой, каемчатые.

Все трое глядели навстречу гостям.

Наконец узнали Ульяшу. Женщина порывисто обняла ее с коротким смешком. Мужчина тоже застенчиво заулыбался. Ульяша помахала ему рукой и назвала кумом.

— Ну, Ульяша совсем у нас барышня. Куда! — сказала женщина, разглядывая Ульяшин сарафан. — А это внучек генеральшин?

Девушка кивнула.

Арина улыбнулась и, взглянув на Сережу своими удивительными глазами, быстро присела и обняла его загорелой рукой.

— Федор, а Федор, вот нам бы с тобой такого сынка!..

Федор быстро взглянул спокойными голубыми глазами и вдруг подмигнул Сереже.

От Арины пахло озерной водой и рыбой, ржаным хлебом и дешевым ситцем. И вместе с тем веяло от нее такой грубоватой нежностью, таким материнским теплом, каких Сережа не знал и не ведал со дня рождения. Он явственно услышал жаркий стук ее сердца.

Федор опять посмотрел на Сергея, затаив улыбку.

— А что, барчук, поехали с нами на озеро на третью тоню?

— Поехали! — не задумываясь, ответил Сережа, но, спохватившись, вопросительно посмотрел на Уляшу.

— А ты погуляй тут покуда, — сказала Арина. — За час справимся, хозяин?

Раньше чем Уляша успела еще пораздумать, Арина вскинула на плечо свернутый мокрый невод с деревянными поплавами и отнесла его в ботик. Потом вернулась и, как перышко подхватив на руку Сережу, пошла по мелкой воде вслед за мужем, толкавшим бот на глубину.

Под мерный стук уключин бот быстро ушел на открытую воду. Кричали чайки. Федор, весь залитый солнцем, ворочал огромные весла, словно они были камышовые. А Сергей глядел на него во все глаза и думал о том, что самое большое счастье на свете — быть рыбаком.

— Нам бы сынка такого... — шепотом повторила Арина, обняв рукой Сережу.

Сергей вопросительно глянул на мальчика.

— Вася не наш, мужниной сестры, — поймав его взгляд, отвечала она. — А своо нету... — и тихонько вздохнула.

За час не справились. Из красноватой мглы вставала огромная, как медный таз, луна. Чайки, летевшие вслед за ботом, казались розовыми, а вода стала как волнистое молочно-зеленое стекло.

Тоня оказалась счастливой. Свернутый невод шевелился на дне лодки, сверкая серебряной чешуей.

Федор поставил темный заплатанный парус. Арина задумалась о своем и, покачиваясь в такт колыханию лодки, напевала вполголоса. А там, далеко впереди, над городом, окутанным дымкой, еще горели золотые шеломы Софии. Чуть видно над ними сквозили бело-розовые облака.

Краше Новгорода для Сергея не было ничего на свете. В те дни ему казалось, что никогда он не сможет оторвать его от своего сердца.

Казалось, он спал, этот тихий печальный город, на берегах илистой бледно-голубой реки. Под небом ранней осени белели стены церквей, сияло золото плакучих берез и церковных куполов. Сном ушла его тысячелетняя слава.

Вставали с юга буйные тучи, шла с дубьем чудь с Ильмень-озера, поднимались с болот косматые, как медведи, кривичи. Плыли в стругах расписных гости торговые, и Садко, и Вася Буслаевич, цвела Волхова

парусами. Шли Мстислав Храбрый, Мстислав Удалой. Разве всех перечтешь! Тянулись к белым стенам и вежам жадные руки суздальских князьков, за дальним лесом трубили железные горны великого магистра рыцарей-псоглавцев, шел хан Ерик-чак, завяз в болотах и, спалив со злости Торжок, ушел с позором... Шли, шли, были, плыли и сплыли... Все унесла река вместе с опальными листьями: и славу, и гордость, радость и горе, позор и надежды, смех и слезы.

А он все еще стоял на некрутых холмищах, златоглавое зеленое кладбище для живых и мертвых. Медленно и лениво текла жизнь в его жилах, в кривых переулках с заколоченными амбарами, безлюдных двориках и подворьях, на кремлевских валах и погостах, заросших травой и одуванчиками. С выгона веяло преющим сеном, кугой, дымом рыбацких костров. Рощи пропахли еловой корой, брусникой, грибами.

Раз в день где-то за Рюриковым городищем закричит пароход, затарахтит по мосту телега, заскрипит ворот у переправы. Только и того!

Медленно плыли серые облака, шли плоты на Ладогу, лениво перекликались плотовщики, на песчаной косе ниже моста девки мочили лен — запоют и примолкнут, в слободах на Торговой стороне стучали бочарные молотки. По праздникам гудели, трезвонили колокола. Звуки неслись неудержимой стремительной лавой, будя вековой сон. От звона дрожал, сверкал и искрился холодный застывший воздух. И вновь на море крыш, колоколен и облетевших садов ложилась дремота.

Пониже Софии у кремлевской стены стояла белая башня Часозвоня. Колокол ее, чистый и сладкозвучный, словно стеклянный, не похож был на тот, чей хриплый, надтреснутый рев покрывал когда-то неистовый гам новгородского торжища, истошные голоса вечевых крикунов и буйанов. Чинно, с равнодушной кротостью отзванивала Часозвоня часы, недели, века...

— Оскудел еси сердцем и разумом. Спал еси с голосу великий и честный Господине! — кричал с амвона еще в петровские времена мятежный раскольничий протопоп Анания.

Только по воскресным дням на папертях Юрьева монастыря, как из-под пепла, вырывалась накипь ушедших веков. Вопили калики, юродивые, плакали бродячие слепцы гусяры, поводыри вторили фальцетом, гнусили и причитали ханжи и святоши.

Среди этой босой, рваной, наглой и довольно буйной орды таилось и горе людское, которому нет ни конца, ни исхода. Оно не вопило и не причитало, а молча глядело на вас в упор сухими, горящими глазами. Тут часто видели высокого щетинистого человека в полукрестьянской одежде с

пристальным взглядом немного колючих голубых глаз. Он прислушивался и приглядывался. Бесстрашно садился на паперти среди этой голытьбы. Не глядя на погоду, шагал (как говорили, «шнырял») по деревням и выселкам, разыскивал самых древних стариков и покрытых мохом старух и заставлял их петь и сказывать. Не раз его таскали к уряднику и к становому. Он назывался Иваном Трофимовым Рябининым, показывал какие-то бумаги и был отпускаем с миром.

Побывал Рябинин и у бабушки Бутаковой. Показывал свои новые записи из Заозерья, напевал тихим «душевым» голосом, подыгрывая себе на маленьких гусях-самогудах. С нежностью вглядывался в Сережу. Острые глаза гусяра лукаво поблескивали из-под косматых бровей. Пел он, легонько раскачиваясь в такт влево и вправо.

Жил Святослав девяносто лет,
Жил Святослав да переставился.
Оставалось от него чадо милое,
Молодой Вольга да Святославгович...

Гостя у бабушки, Сергей зимой часто садился за фортепьяно. Иногда играл упражнения, а иногда о чем-то задумывался. Задумавшись, глядел в окошко на тихий зимний день, на кусты, деревья и снежные крыши в легком голубом дыму.

Еще день-другой, и сказке конец. Из Онега Новгород всегда казался сном. А каков он был наяву и что за жизнь там, за стенами андреевского дома, Сережа не знал, потому что был слишком счастлив. Счастье это, как цветные стекла в окнах бабушкиной спальни, до поры заслоняло от него свет, и лишь раз-другой покой души его был поколеблен.

Однажды очень ранней и непогожей весной в дороге с Уляшей и Гаврилой Олексичем, не доезжая острога, обогнали «кандальную артель». Шли вперевалку, не торопясь, в грубых арестантских сермягах, молча месили мокрыми постолами снег, перемешанный с грязью. Когда Сережа глянул в лица этих людей, синевато-белые, до глаз заросшие колючей щетиной, в глаза пустые и равнодушные, кровь на минуту остановилась в его жилах. Олексич тихонько свистнул. Возок покатился.

Выехав на пригорок, Гаврила пустил лошадей шагом.

— Не по правде живем! Не по правде... — неожиданно и загадочно

прогудел он себе под нос.

Бывало с Сергеем так: подхватит на лету непонятную для него фразу и твердит ее про себя несколько дней сряду, как скворец, без всякого толку. Иногда к словам приплеталась какая-то мелодия. Так и на этот раз: «не по правде» долго звучало ему во сне и наяву, как припев будто бы знакомой песни. На звук ее сердце сжималось томительной жалостью. Ему хотелось спросить у Олексича: а как же «по правде»?.. Но он так и не решился.

В другой раз он подслушал взволнованный разговор бабушки с заезжим учителем из деревни Старый Медведь на Ильмене. Учитель был худ, краснонос, бородат и сам походил на рыжего, вконец захирелого медведя. Он непрестанно кашлял, обжигаясь горячим чаем, и горько жаловался на что-то бабушке. Разводил огромными узловатыми руками, лезущими из куцых обтрепанных рукавов, все повторяя: «Горе идет. Горе, бесценная София Александровна... Нужда лютая...»

Какова она, нужда, Сережа не знал, но казалось ему, что он видит ее: сидит она на паперти Юрьева монастыря, бредет в рваных постолах по лужам, заглядывая под стрехи обнажившихся соломенных крыш; то зайдет, крестясь, в избу, где у скорого на расправу отчима живет пастушонок Савка, а то присядет на минутку у рыбацкого костра Федора и Арины. Он догадывался, что и это тоже «не по правде». Томящийся, неотвязный напев бродил за ним по пятам.

Весна в тот год случилась ранняя. С выгона снег сошел. Местами ушла и вода до половодья. Ива вдоль ручьев оделась серебристыми барашками. В облачной вышине кричали гуси. По комнатам без помехи, вкруговую, гулял пахучий апрельский сквознячок. Тени облаков бежали по саду. Ветер рябил голубые зеркала луж. Без умолку горланили петухи. На подоконниках голубели подснежники.

В седьмом часу Серезу приодели. Гаврила Олексич подъехал к крыльцу не в тарантасе, а в рессорной, старательно подкрашенной бричке.

Из-под ниши кремлевских ворот дунуло могильным холодом. И вдруг из-за деревьев поднялась София. Солнце садилось в безлиственных чащах за Волховом. Теплым розовым светом апрельского вечера светились глухие белые стены, темным золотом в зеленоватом небе горели купола. Колыхался густой басовитый рев большого колокола.

И эту махину восемьсот лет тому назад своими грубыми, мозолистыми руками сложил Господин Великий Новгород, такие вот рослые, плечистые бородачи каменщики, плотники, бочары, что идут навстречу звону мерным неторопливым шагом, в новых поддевах с цветными опоясками, истово

крестясь на купола, могучие, сильные, как Федор, как Гаврила Олексич и рыбачка Арина. Их глаза глядят спокойно и бесстрашно вперед, через века.

Они твердо знают, что слава их города, слава России не может исчезнуть.

Пройдут десятилетия. Эти стены и площади, охваченные огнем, услышат раздирающий сердце вой стервятников с черными крестами на крыльях. И когда дым рассеется и погаснет пламя, внуки и правнуки — новое, неизвестное племя еще не родившихся новгородцев станет бережно, с гордостью и любовью очищать от мусора, шлака и изгари эти святые камни, чтобы наново сложить стены, воздвигнутые гением народа.

Много лет спустя, вспоминая этот вечер, думал Сергей о том, что в баснословно далекие века не было у народа иного средства, чтобы выразить свои думы, надежды и печали, как эти могучие несказанной красоты нефы и архитравы великолепных соборов, как фрески и мозаики эпохи Феофана Грека, былинные сказы и грозные распевы знаменного письма.

Нет, не смирение, не униженная покорность судьбе звучали под сводами Софии, но гнев, но трепет, но скорбь, но гордость и торжество.

И душа Сергея содрогалась до самого дна от радости, страха и красоты.

Это началось, разумеется, не в один день.

Но едва бричка въехала во двор Онега, Сергей в тот же миг почувствовал какую-то перемену. Даже собаки, выбежавшие навстречу, лаяли без всякого одушевления, а так больше — для порядка.

Но суть этой перемены дошла до него не сразу.

Отец показался Сергею озабоченным и рассеянным выше меры. Он, улыбаясь, расспрашивал сына про бабушку, но глаза его блуждали и мысли были заняты иным.

Вечером на другой день Сергей видел из двери гостиной, как отец сидел допоздна у себя, перебирая какие-то бумажки, вздыхал, сутулил плечи и закрывал ладонями лицо.

Еще в двадцатых числах августа пошли обложные дожди. С утра до ночи плыли по стеклам мутные струи. Желтые лужи стояли на дорожках. Когда отворяли балконную дверь, из сада тяжело и остро пахло сыростью и цветами.

Особенно тоскливо бывало по ночам. Шуршало на потолке, скрипели половицы. В доме поселилась, по возможности скрываемая от детей, глухая тяжелая ссора. Василий Аркадьевич по складу характера не мог долгое время предаваться тайным заботам и вдруг, словно спохватившись, оглашал

притихшие пасмурные комнаты каскадами бравурных импровизаций. Тогда неподвижное, застывшее лицо матери вспыхивало красными пятнами гнева и обиды.

Однажды ночью Сергей проснулся в страхе.

Сердце колотилось. В груди сжался холодный комок. Из отцовского кабинета долетали дикие истерические выкрики, звон разбитого стекла, и в наступившей тишине раздался глухой и унылый женский плач.

Сергей дернул за одеяло брата.

— Володя!.. Слышал?.. Что это там?

— Отстань! — огрызнулся Володя грубо, натянув на голову одеяло. — Спать не даешь...

А сам уже битый час лежал с широко раскрытыми от страха глазами.

Все было не к добру: и постоянное перешептывание прислуги, и тяжелое молчание за столом, и исчезновение приживалок, бежавших, как крысы с обреченного на гибель корабля.

Потом приехали на почтовых бричках какие-то люди в штатском и в форменных фуражках. Они ходили по двору, суя свой нос во все углы и закоулки, бродили по саду, считая и записывая деревья. Часа три провели в кабинете отца, проверяя бумаги. Наконец уехали. Отец казался растерянным, словно оглушенным, и долго после их отъезда стоял без фуражки среди двора.

Мать в этот день вовсе не выходила из своей комнаты и на стук не отвечала.

Тогда всем стало ясно, что дни Онега сочтены.

В доме началась суета. Появились ящики, рогожи, с привычных мест одна за другой начали исчезать знакомые вещи. Чтобы не видеть этого, Сережа забирался под игольчатый темный шатер своей старой подруги. Там было тихо, как всегда: ни рогож, ни корзин, а вот только... одна ветка со стороны ворот пожелтела и начала желтеть другая.

Однажды, собирая разбросанные на полу игрушки, Сережа услышал возбужденные голоса за окошком и выбежал на крыльцо. Под елью лежала груда свежесрубленных ветвей. В оголенный ствол глубоко вошла блестящая поперечная пила.

Сережа стоял как в столбняке. Все отнялось у него: руки, ноги, язык. И только когда дрогнула кружевная макушка ели и тихо, как бы охнув, стала ложиться набок, мальчик закричал, не помня себя. Первым на крик выбежал Василий Аркадьевич.

— Что?.. Что?.. — вскрикнул он. — Что ты, милый? Елка ведь усохла, глупенький! Мы посадим другую... Я уже выписал саженцы от Ульриха.

Ну, Сереженька, дружок, не надо!.. Все устроится. Я получил отсрочку на шесть месяцев. Торги отменены. Я...

— Не лги, — сказала громко каким-то деревянным голосом вышедшая на крыльцо Любовь Петровна и, не проронив ни слова, ушла в дом.

Прошло еще три дня. Приезжала бабушка. Взрослые долго просидели, запершись в угловой гостиной. Наконец вышли.

Любовь Петровна была бледна как смерть. Губы ее дрожали.

— Так или иначе, — твердо сказала бабушка, указав глазами на детей, — они не должны этого видеть.

— Как угодно, — тихо и равнодушно ответил отец.

В хлопотах ушел последний день. Комнаты сразу сделались гулками, пустыми и нежилыми. По дому гулял сквозной ветер. На полу валялся мусор, солома, бечевки, обрывки детских, покрытых кляксами тетрадей.

Мать велела вытопить печь в детской и ночевала с детьми на сене, покрытом старыми коврами.

В доме поднялись еще до света. В запотелых окнах мелькали огни свечей.

Возы с вещами ушли еще с вечера.

Ехали в Новгород к бабушке, но всего на несколько дней. А дальше — в неведомый Петербург. Троим старшим пришлось учиться.

Покуда мать и нянька возились с младшими, Сережа тихонько отворил балконную дверь и выбежал в сад. Стоял горьковатый запах утренника и опавших листьев. За деревьями светилась сиреневая зорька. Между стволами косо тянулся голубой дым от потухающего костра. Приезжий из города мещанин-арендатор сторожил в соломенном шалаше сад будущих хозяев. В темной еще листве светились яблоки. Яблони Сергей знал по именам: вот антоновка, белый анис, а там, за рябинами, — смуглая ганнибаловка. Привязанная к дереву лохматая овчарка сторожа, наставив уши, глядела на него, виляя хвостом.

В эту минуту он услышал зов матери.

Перед крыльцом стояли две брички. Василий Аркадьевич, без фуражки, в куце домашнем сюртучке, суетился вокруг уезжающих. Глаза у него после бессонной ночи были красны, но по привычке он деловито покрикивал на кучеров:

— Дурак! Кто же так затягивает супонь!

А губы у него дрожали.

Сережа вдруг крепко обхватил руками шею отца и на мгновение спрятал лицо в мягкой пушистой бороде, мокрой от слез. Жгучая,

нестерпимая жалость к этому доброму, бесшабашному и безоглядному человеку рванула захолонувшее сердце.

Лошади тронули. Он еще шел рядом до ворот и за ворота, что-то говорил, но никто его не слышал.

Оглянувшись еще раз на опустелый двор, Сережа увидел отца. Он стоял на пыльной дороге, какой-то маленький и совсем одинокий. Ветер ерошил его волосы. Он что-то кричал и крестил уезжающих вслед.

Глава вторая ПЕТЕРБУРГСКИЕ ДНИ

1

В Петербурге Рахманиновы сняли тесную и сыроватую квартиру на Сенной. Мать тщетно пыталась что-то наладить, создать видимость дома, хозяйства и даже уюта. Отец же целыми днями пропадал по каким-то «делам». Когда же возвращался, глухая вражда в четырех стенах делалась невыносимой.

Володю по ходатайству генеральши Бутаковой приняли в кадетский корпус, Лену еще раньше определили в Мариинский институт, а Сергея после долгих хлопот зачислили в подготовительные классы при Петербургской консерватории к Владимиру Васильевичу Демянскому на стипендию профессора Кросса.

Через неделю по приезде Володя, Сережа и маленькая Соня заболели дифтеритом.

Мальчики выздоровели, а Соня умерла. В бреду Сергей слышал из-за двери тихий плач, причитанья, звон кадила, запах ладана. Ему чудилось, что он с бабушкой в Юрьевом монастыре.

Общее горе иногда сблизжает, но часто только ожесточает. И на этот раз оно лишь подлило масла в огонь и вызвало бурю взаимных упреков, обвинений, угроз. Вошедшая в дом «благородная бедность» была равно ненавистна обоим. Тогда Василия Аркадьевича осенила блестящая идея: он уехал, оставив детей на попечение жены.

Когда миновал карантин, замужняя сестра отца Мария Аркадьевна Трубникова предложила взять к себе кого-нибудь из детей. Выбор пал на Сергея. На первое время с ним поселилась и бабушка.

Первоначально все тяготило и даже пугало Сережу: и прямые, пропадающие в тумане ущелья проспектов, и конка, и гиканье лихачей, и

новая семья.

В гулких консерваторских классах было сыро, пахло известкой и чем-то кислым. Хмурый свет через плохо вымытые окна падал на голые стены. С полдня зажигали коптящие керосиновые лампы. Учителя все как на подбор: лохматые, в очках и кургузых сюртучках или вицмундирах. Попав на урок впервые, Сергей совсем пал духом.

Но это продолжалось недолго. Еще раньше, чем иней посеребрил телеграфные провода, от растерянности его не осталось и следа.

Демянский был человек рассеянный, обремененный уроками, большой семьей, долгами. Все силы он отдавал воспитанию бездарных тупиц. На занятия же с одаренными его попросту не хватало. Таким, как Сергей Рахманинов, нужно дать только «общее направление», а остальное образуется!

В теоретическом классе Сергей так поразил профессора Рубца своей памятью и абсолютным слухом, что тот совсем опустил вожжи и перестал обременять его докучливыми заданиями. Вскоре Сергей убедился, что общеобразовательные предметы и вовсе безделица. Можно ходить на них, а можно и не ходить.

Домашняя обстановка такому выводу как нельзя более благоприятствовала. Мать поселилась на Фонтанке у бывшей институтской подруги. На Казанскую, к Трубниковым, заходила редко. Тетушка Мария Аркадьевна была в хлопотах с утра до ночи. Муж ее Андрей Иванович, занятый службой, на первых порах тоже не пригляделся к приемышу. А бабушка... Для нее Сережа был солнцем без пятен.

В прошлом году на святках она подарила ему коньки. Кататься он наловчился еще в Новгороде. Но разве ту заскорузлую лужу в нижнем конце Андреевской улицы можно было назвать катком? Тут же неподалеку, за углом, сверкало серебряное зеркало в оправе из темных елок. У ворот днем и ночью горели фонари, развевались флаги. По воскресеньям весело бухал оркестр Измайловского полка. Великолепно!

Каждое утро «пай-мальчик» с папкой, набитой книгами и нотами, собирался в консерваторию. Откуда было знать бабушке, что среди книг искусно запрятаны коньки! Каждый день внук получал от нее новенький гривенник на конку и завтрак и сейчас же прикидывал в уме: вход на каток пятачок, пара филипповских пирогов с вязигой тоже пятачок.

Вернувшись в третьем часу, он, глядя в глаза, рассказывал простодушно о своих подвигах в консерватории. Увлекаясь выдумками, он и сам себе верил. Верила и бабушка, только дивилась: почему у мальчика так горят щеки?

Однако настал день, когда ему пришлось получить эту отвратительную зеленую зачетную книжку. Вернувшись домой, он не пошел к бабушке. Взяв тайком в дядином кабинете витую свечу и дорожную чернильницу, он уединился в месте весьма укромном, и вскоре все единицы превратились в четверки. Такую операцию Сергей ухитрился проделать не один и не два раза.

Музыкальная грамота и фортепьяно давались ему шутя. Когда его просили поиграть для гостей, он охотно садился к роялю. Но никому и в голову не приходило, что в этих бисерно-чистых гаммах, арпеджио было очень мало музыки.

С Олей Трубниковой Сергей жил в мире. Это, впрочем, не «мешало» ему пугать девочку до полусмерти.

По воскресеньям к Трубниковым иногда приходил из корпуса Володя Рахманинов. Взрослые, как правило, уходили в театр или в гости. Володя и теперь держался чуть свысока и называл Сережу «штафиркой». Однако здесь, в чужом городе, братья как бы нашли друг друга.

Венцом совместного творчества двух шалопаев была так называемая «зимняя горка». Вынимали запасные доски из обеденного стола и, приставив их наклонно к буфету, не только сами съезжали по ним, но и сталкивали визжащую от страха Олю.

— Душегубы! — топя ногами, кричала нянька Теофила. — Сейчас они дитяти шею переломают.

Наконец Володя уезжал в корпус, а Сергей, помирившись с сестренкой, ложился спать.

Сергей искал товарищей и нашел их, только не в консерватории, а на улице в лице двух отпетых мальчишек-газетчиков. Это они научили его вскакивать с ходу на запятки неистово трезвонящей конки, а затем улепетывать со всех ног, заслыша позади яростный свист городского.

Трудно было предвидеть, к чему все это поведет.

К счастью, подошла весна.

Однажды к Трубниковым пришла из института Лена. За год словно ее подменили. Откуда этот нежный и радостный блеск в серых глазах, еще недавно застенчивых и угрюмых, этот бархатный румянец, легкое дыхание полураскрытых пухлых «рахманиновских» губ?

— Сережка! — обрадовалась она брату. — Ты, говорят, уже виртуоз! Мне папа писал...

Мать глядела на нее втайне ревнивыми глазами. Девочка обожала отца, принесла с собой пачку его писем.

От Лены Сережа услышал впервые имя Чайковского. Она принесла романс, спетый ею недавно на институтском вечере.

— Можешь это сыграть?..

— Ну еще бы! — заносчиво отозвался Сергей.

Но с первых же тактов он понял, что сыграть это так, как он играл сонатины Клементи, просто невозможно. Его смутила эта музыка своею глубокой искренней грустью и еще больше — голос Лены. У этой девочки, еще хрупкой на вид, было контральто великолепного тембра и покоряющей красоты.

Ни слова, о друг мой,
ни вздоха!
Мы будем с тобой молчаливы...

Сергей так взволновался, что вдруг потерял такт.

— Ах, Сергуша, какая же ты ворона! — рассердясь, прервала его Лена и шлепнула ладонью по рукам, — Ну, начни сначала!..

Еще в мае, едва кончились уроки (экзамен в первом году был только по фортепьяно), бабушка приехала за Сергеем.

Год завершился успешно. В зачетной книжке героя красовались почти одни четверки. Правда, на душе у него, когда он оглядывался на уходящий Петербург, было не совсем спокойно.

2

Осенью 1883 года Сергей снова начал ходить в классы. Тащился он кое-как, на тройках. Опасные уединения со свечкой все еще от поры до времени повторялись.

Дела с Демянским по-прежнему шли из рук вон плохо. Старик хвалил его выше меры и не скупился на пятерки, а Сергей плыл по волнам и не знал, куда они его принесут.

Понемногу он начал позволять себе небольшие вольности с нотным материалом. Потом, осмелев, стал «подправлять» Шуберта и Мендельсона. Стариков не мешает освежить маленько, снять с них паутину!

Наконец — он и сам не понимал, как это у него получается, —

принялся выдумывать что-то свое, подражая тому или другому из стариков. И в конце концов герой осмелел до того, что начал импровизировать при гостях Марии Аркадьевны, выдавая свои экспромты за неизвестные и редко исполняемые сочинения «отцов музыки».

— Однажды он попался. Вернувшись с катка, застал у бабушки незнакомую очень полную и красивую даму. Они говорили по-французски. Бабушка тотчас же усадила внука за рояль. (За такие концерты он не в счет получал новый двугривенный.)

— Это что же такое ты играл? — спросила гостя, шевельнув бровью.

— Неоконченная пьеса Шумана... «Старая мельница», — не сморгнув глазом, объяснил музыкант.

— Как? Как ты сказал? — гостя звонко расхохоталась и взяла Сережу за ухо. — Ах, врун! Ах, болтунишка!..

Позднее он узнал от бабушки, что с ним говорила ее племянница — дебютировавшая недавно на сцене парижской оперы Фелия Литвин (Литвинова).

На святках он впервые побывал с бабушкой в Мариинском театре на «Аиде». Пели итальянцы. Блеск театральных огней, гром оркестра, неопишуемая пестрота костюмов и мизансцен ошеломили Сергея. Вернувшись в полночь, он разбудил Олю и перед ее заспанными и восхищенными глазами изобразил, драпируясь в полосатую занавеску, Радамеса и Амонасро. Представление было прервано вмешательством няньки Теофилы.

Но сама музыка оперы, как это ни странно, оставила Сергея совершенно безучастным. Он, казалось, попросту не заметил ее.

Бабушка давно уже втихомолку готовила внуку подарок. Минувшей осенью она присмотрела маленькую усадьбу Борисово в трех верстах от города, на самом берегу Волхова. Четырехкомнатный тесовый дом со службами, старыми елями и березовым леском. Покупка была не слишком выгодная, под вторую закладную, но разве мальчик не стоит того? Умница, музыкант, живая горячая душа и к тому же так хорошо учится!.. То-то будет ему раздолье!

Она таила секрет всю зиму, но на пасху проговорилась. С этой минуты он начал считать дни до мая и не давал бабушке проходу с расспросами: что в Борисове и как?

В угаре нахлынувших радостей Сергей опять забросил книжки. В начале мая 1884 года незаметно подошли экзамены, и он с позором провалился по всем обязательным предметам. Как оглушенный, он ходил

по коридору, не зная, как быть. Проклятая зачетная книжка жгла его руки огнем. Наконец он тряхнул головой: «Эх, была не была! Еще раз...» На лестнице консерватории его окликнул женский голос. Он увидел Анну Даниловну Орнатскую. Они не виделись больше года, и, хотя Сережа очень любил ее, он постарался скорее отделаться от ее расспросов и увильнуть, как бы все не раскрылось! «Э, пронесет!» — думал он, шагая домой.

Но когда на другой день он вышел в прихожую на звонок и увидел бледную и расстроенную Анну Даниловну, он понял, что на этот раз «не пронесло».

Едва взглянув на Сережу, она спросила про Любовь Петровну, пришедшую еще с утра, и заперлась с ней. Земля ушла из-под ног у героя. Через несколько минут его позвали. Подходя к двери с замирающим сердцем, он услышал дрожащий от волнения голос Орнатской:

— Люба, я прошу тебя, будь же благоразумной!..

Глаза у Орнатской были заплаканы. Она глядела на Сережу с жалостью и гневом. Мать выглядела спокойной, но все лицо у нее было в красных пятнах. После долгого молчания она проговорила:

— Ну вот что... Про твои книжки мы поговорим потом. А про Борисово забудь. Будешь сидеть все лето в городе и заниматься. Ступай отсюда!

Чернее этого не было дня в Сережиной жизни.

Но к вечеру неожиданно приехала бабушка.

В окно глядела белая ночь. Сергей ждал. От горькой печали занималось дыхание. Как же так получилось? Эта первая ложь (от нее никому не было вреда!) далась ему легко, даже весело. Он сложил ее просто, как карточный домик. И он рухнул при первом дуновении ветра. Ах, какой стыд! Разве посмеет он теперь глянуть кому-нибудь прямо в глаза!

Сергей дождался все же минуты, когда бабушка осталась одна, и без слов излил свое горе у нее на коленях. Потому что ей одной на всем белом свете было дано все понять и все простить.

Позднее, дрожа всем телом, он лежал в постели, слыша возбужденные спорящие голоса бабушки, матери и тети Маши.

— Я беру все на себя, — сказала бабушка, повысив голос.

На третий день бабушка и Сергей уехали в Новгород, а Лена — в Воронеж к тетке Анне Аркадьевне Прибытковой.

Текла, бежала голубая вода, шелестел камыш, шли тучи, цвел иван-чай, и пел по утрам на пойме берестяной рожок.

Издалека среди темного тростника белела рубашка Сергея, слышался

лай лопухого рыжего пса, с которым он свел дружбу. С утра до вечера они кружили по зарослям и затокам в утлом челноке-душегубке. Он опрокидывался от малейшего неловкого движения. Тогда наперегонки добирались до берега вплавь. Пес старался изо всех сил, завывая от радости и пуская носом пузыри.

На берегу, если не было солнца, раскладывали костер и сушились. Случалось, правда, и продрогнуть, но... эка невидаль! Сергею шел двенадцатый год, а псу всего только четвертый.

В начале июня пришло ликующее письмо от Лены из Москвы, где она задержалась по пути в Воронеж. На пробе голосов ее сразу же зачислили с осени в труппу Большого театра. Сергей чувствовал, что и его судьба, по видимому, клонится к Москве.

Одно за другим в Москву, в Воронеж полетели письма. Все складывалось как нельзя лучше. Казалось, невидимые кузнецы уже куют судьбу будущего музыканта.

Но вот однажды в сумерках зазевавшихся рыболовов настигла гроза. Бросив челнок, они опрометью понеслись по тропе. Туча шла с Ильменя, сотрясая землю, рваный край ее уже нависал над головами беглецов, а глухая черно-синяя глубина грохотала и вспыхивала ослепительным светом.

Еще издали, с опушки, он видел, как из борисовских ворот выехала пролетка с Гаврилой на козлах и во весь опор помчалась к городу. Кто бы это был? Запыхавшись и стряхивая брызги, он вбежал на веранду, потом в гостиную. За дверью в бабушкину комнату ему почудился плач. Но еще раньше он увидел на столе только что вскрытую телеграмму. Весь обомлев, он прочитал: «Лена скончалась. Выезжай немедленно. Василий».

Позднее бабушка Рахманинова рассказала ему, что в то лето Лена была неудержимо веселой, не жила, а горела, дыша и радуясь своему счастью, своему будущему. В конце июля она неожиданно занемогла. Приглашенные врачи установили злокачественное малокровие, а через три недели ее не стало.

Все пошло прахом.

Конец надеждам! Снова Петербург. С первых же дней угроза исключения вновь нависла над головой Сергея. С огромным трудом удалось Орнатской через консерваторских друзей добиться отсрочки. Его оставили с «последним предупреждением».

Но еще до первых морозов события приняли совсем неожиданный оборот.

Однажды, идя от Демянского, Сергей увидел на улице афишу, извещавшую, что в Большом зале на днях состоятся два экстренных симфонических концерта при участии известного пианиста-виртуоза А. И. Зилоти.

Александр Ильич Зилоти в семье — персона почти легендарная. Ученик Листа и Николая Рубинштейна, известный в России и даже за границей артист, в двадцать два года профессор Московской консерватории, и при всем том племянник Марии Аркадьевны и Сережин двоюродный брат.

Накануне концерта он прислал два билета с короткой шуточной запиской. Решили, что пойдут Сергей с матерью (хотя она была еще в трауре).

Вид знаменитого кузена на эстраде среди оркестра так поразил воображение Сергея, что он почти не слышал музыки.

В антракте мать повела Сергея в артистическую. До этого он встречал Александра Ильича всего два раза, и, когда голубоглазый великан, улыбаясь, шагнул им навстречу, он совсем растерялся.

Разговаривая с тремя собеседниками сразу, Зилоти поднес к губам руку Любви Петровны и ущипнул за ухо Сергея.

Прошло несколько минут, прежде чем он понял, чего от него ожидают. Он развел руками.

— Не знаю, Любочка, что и сказать! Меня буквально рвут на части. Ей-богу, не знаю...

— А все же мне хотелось бы, что бы ты его послушал... — сказала Любовь Петровна.

— Ну хорошо... — спохватился Александр Ильич. — Когда же? Может быть, завтра после пяти. Но не наверно...

На другой день Зилоти не приехал. Не было его и на третий. Любовь Петровна обиделась.

Откуда ей было знать, что через пять минут после разговора с ней Александр Ильич встретил директора консерватории Давыдова!

— Постой, постой!.. А-а, знаю, — сказал тот и, задумчиво покачав пенсне на шнурке, добавил: — Как тебе сказать... Ты только не обижайся на меня... Шалопай, говорят, отчаянный. А насчет музыки... так, где-то на середине. Особо выдающегося ничего.

Все же на четвертый день, в начале двенадцатого ночи, когда все

надежды были окончательно похоронены и у Трубниковых собирались ложиться спать, в прихожей неожиданно и неистово зазвонил колокольчик, загремел знакомый раскатистый голос.

— Еду в полночь, — предупредил Александр Ильич, метнув шляпу и ульстер растерявшейся няньке. — Машенька, родная, здравствуй! А где Сережка?.. Время, друзья, время!..

Душа у Сергея была уже в пятках. Все же он сыграл рондо Моцарта и две песни Мендельсона.

Дослушав до конца, Зилоти вдруг сделался серьезен.

— История... — пробормотал он, нахмурился и громко засвистел. Потом сунул руки в карманы и, вздернув фалды клетчатой визитки, зашагал по ковру. — Ну что ж, — сказал он наконец, — выкладывайте про этого артиста все начистоту.

Мария Аркадьевна заговорила торопливо с явным намерением сгладить острые углы. Но, на беду, вернулся Андрей Иванович и выложил все до дна, начиная со свечки и кончая «Старой мельницей». Зилоти пожал плечами.

— То есть это просто черт знает что такое! — возмутился он. — Вы тут, не в обиду вам будь сказано, сидите, как наседки, и смотрите, как мальчишка тонет, то-нет у вас на глазах. Довольно! Никаких сальных свечек, никаких Демянских! Я знаю только одного человека в мире, который сможет взять его в руки. Это Николай Сергеевич Зверев. Он зачислит Сережу в свой класс. Знаете что?.. Я сейчас увезу его с собой в Москву.

— Саша, ты с ума сошел! — вскричала Мария Аркадьевна. — Это невозможно.

— Ну, тогда вышлите мне его наложенным платежом через неделю.

Позабыв про поезд, он заметался по комнате, разрабатывая детали. Опомнился, лишь когда до отхода поезда оставалось двадцать минут. Схватив шляпу и плащ, растолкал у подъезда спящего извозчика и ускакал на вокзал.

Засиделись за столом до двух часов ночи, судили, рядили, хотя рядить, строго говоря, было уже нечего. Однако последнее слово было за бабушкой, а ее ждали не раньше октября. Так и порешили: отпустить Сергея в Новгород проститься и испросить благословения. Мать поехала вместе с ним.

Над Новгородом уже вторую неделю шло бабье лето. По утрам тяжелая роса поила землю. И весь день над пущами садов и золочеными маковками церковей тихо светилась чаша осеннего неба, не блеклая, не бирюзовая, а нежно-синяя, без единого облачка.

Высоко по ветру летела серебряная пряжа паутин. Воздух был чист и звонок. По утрам за десятой излучиной Волховы слышался крик парохода, повторяемый трикраты эхом в звонких желтеющих чащах.

На Андреевской жизнь вышла из колеи. Бабушка сперва расплакалась, потом погрустила у окна и, наконец, стала вырывать любимого внука «в люди».

Трое суток почти не ложились спать. Бабушка, мать, Василиса Егоровна, Уляша и приходящая швея шили приданое.

А виновник бед, притихнув, бродил по опавшим за ночь листьям, мокрым от росы. Он оглядывался вокруг. Что-то говорило ему, что таким, как сейчас, он больше сюда уже не вернется.

В полдень забрел к ограде церкви Федора Стратилата. Стояла радостная теплынь. Лился на землю щедрый свет. Через дорогу, пробираясь среди опавших листьев, полз караван красных козявок. Стены церкви, до голубизны выбеленные известкой, светились на солнце среди желтеющих берез так, что больно было смотреть.

На лавочке у ворот сидел Сережин приятель, пономарь Яков Прохорыч, без картуза, в расстегнутой жилетке и ситцевой голубой рубашке навыпуск.

Расспросив, как и что, он вздохнул, поглядел на ласточек, пустив из ноздрей пахучий махорочный дымок.

— Что ж, помогай бог! — сказал он.

— Тише!.. — Сергей схватил его за локоть. — Что это?

Здрав бороду, Яков Прохорыч прислушался, и вдруг широкая блаженная улыбка озарила его морщинистое лицо.

— Ишь ты! — отрывисто вполголоса проговорил он. — Летят, голубы мои, летят, милые... Года три не видел.

— Где, где?.. — перебил его Сергей.

— А вона!.. Правей паутинки буде... Рано, рано!.. Им, правда, сверху виднее. Значит, время! Это к добру... Не каждый достоин... Слышь!..

Напрягая глаза, увидел Сергей в вышине непомерной неторопливые взмахи лебединых крыльев. И вновь долетел до него прерывистый звук серебряной трубы, неизъяснимый и неповторимый. От него захолонуло сердце радостью, и слезы навернулись на глаза.

Что-то позвало вперед. Стало боязно, и весело, и любопытно.

— Пора! — сказал Яков, опустив утомленные, слезящиеся глаза.

— Пора... — шепотом повторил Сергей.

К вечеру он опять затужил немного.

Солнце садилось. В саду горьковато пахло мятой и осенними цветами. Завтра все, что он так жарко любил, исчезнет. А впереди Москва, неведомая, чужая, страшная. Из намеков Саши он понял, что там ему придется круто. Заходя в дом, он от поры до времени украдкой касался бабушкиной руки: тут ли она еще?

Сергею сшили серую курточку с пикейным отложным воротником. Бабушка высчитала, сколько денег нужно ему на дорогу, за время купила билет до Москвы и еще зашила в ладанку сторублевую бумажку на черный день.

Поезд в Чудово уходил рано. Проснувшись, Сергей торопливо оделся и выбежал на крыльцо. Было холодно. В зеленеющем небе гасли последние звезды. Где-то за мостом гремела порожняя телега. Горланили третью стражу андреевские петухи. В конюшне фыркали лошади. Быстро оглянувшись, он выбежал за ворота.

Глупая, шальная мысль мелькнула в его еще полусонной голове: если успеет он добежать до ограды Федора Стратилата, то обязательно опять услышит крик лебедей.

Вот и ограда. На рассвете стены казались совсем голубыми. Тихо, не шевелясь, вокруг церкви стояли плакучие березы. Одна, тонкая и высокая, за ночь совсем облетела. Заря нежно позолотила ее льняную бересту.

Нет ничего... Только на деревьях кладбища зашевелились проснувшиеся грачи.

Вдруг он услышал за своей спиной чей-то явственный вздох. Повернулся в испуге и увидел одинокую фигуру, сидящую на скамье подле звонницы.

Подойдя ближе, он разглядел женщину, закутанную в рваный платок. Она сидела неподвижно, прижав к груди спящую девочку. Нельзя было понять: молода она или стара.

Темное, высохшее, словно пергаментное, лицо казалось мертвым. Но глаза, светлые и спокойные, как озерная вода, были живыми. Они смотрели на Сергея зорко и внимательно.

Он глянул на ее босые пыльные ноги и палку, лежавшую на траве, и вдруг острая нестерпимая жалость бритвой полоснула по сердцу. Снова он поглядел ей в лицо, и глаза ее словно потеплели и улыбнулись ему.

Нащупав в кармане серебряную мелочь, он высыпал ее на руку, лежавшую на коленях, и, услышав с улицы голос Ульяпш, опрометью

бросился прочь.

Лошади уже стояли у крыльца.

Перед тем как выйти, все на минуту присели. В комнате царил желтоватый полусвет.

В гору ехали шагом. Когда повернули к вокзалу, жарко вспыхнули над деревьями золоченые купола Софии.

Сергея препоручили ехавшему в Москву по делам бородатому лесничему.

В вагоне было пусто.

Бабушка, крестя украдкой, что-то говорила, но он не слышал ее через запыленное стекло. Только когда поезд тронулся, крупные слезы неожиданно брызнули и побежали по его щекам.

Он вдруг перестал видеть и бабушку и расстроенную мать. Когда же догадался вытереть глаза, уже ничего не было.

Глава третья «ЗВЕРЯТА»

1

Среди сокровищ, которые Сергей долго хранил, была фотография, наклеенная на толстый негнувшийся картон.

Он разглядывал ее редко и не особенно охотно.

Три мальчика в серых тужурках с белыми воротничками были одеты столь одинаково, что даже в чертах их лиц, совершенно различных между собой, было какое-то неуловимое сходство.

Мальчики на фотографии были, разумеется, не одни. Он был здесь, рядом, в глубоком кресле, как обычно, очень прямой, немного надменный, с красивой седой головой и густыми черными бровями. Облокотясь на столик, сунул руку за борт пиджака.

Тяжела она, эта рука. Он держит в ней всех троих. Глаза насмешливо щурятся на фотографа, но замечают решительно все. Он ведет своих мальчиков к поставленной цели, не заботясь нимало, нравится им это или нет.

В его власти сделать их музыкальную тюрьму раем. Он суров. Он беспощаден. Но притом он, конечно, добр. Его фанатический деспотизм,

его скрупулезная мелочность относятся только к их труду.

Он не щадит никого и меньше всего самого себя. Он работает по двенадцать-пятнадцать часов в день. Для кого? Для них троих да еще для тех бедных учеников, которые сами не могли заплатить за право учения.

Порой страшась, минутами ненавидя, они все трое любили его. И могли ли они не любить!

А он видел каждого насквозь, знал их самые затаенные мысли и называл ласково, насмешливыми именами: Лё — Лёля, Мо — Мотя, Сё — Сережа.

В середине восьмидесятых годов в Москве подле Смоленского рынка, в Ружейном переулке стоял двухэтажный, крепкий еще дом доктора Собкевича. Верх деревянный с решетчатой стеклянной галереей, низ — кирпичный. Собкевич (мальчики, не видел его в глаза, заочно окрестили его Собакевичем) выехал из Москвы и сдал дом в долгосрочную аренду Николаю Сергеевичу Звереву, профессору младших классов консерватории.

Постом, еще затемно, идя к ранней обедне, соседская старушонка пугливо озиралась на светящееся в угловой комнате окошко. Через двойные стекла был слышен неистовый звон рояля.

— У-У — крестясь, говорила старушонка. — Звони, звони... Сна на тебя, антихриста, нету!.. Тьфу!

Да, отоспаться в доме Зверева удавалось, пожалуй, редко. Вся жизнь его обитателей, их намеренья и деянья были подчинены строжайшему, нередко даже жесткому распорядку. Иногда казалось, что Николай Сергеевич хочет поставить дело так, чтобы в будущей жизни, которая наверное будет несладкой, его питомцев ничто не могло запугать. Его деспотизм проистекал из долгих раздумий о судьбе «зверят», из твердого убеждения, что, выйдя в люди, они ни в ком не найдут ни помощи, ни защиты. Но, выковывая бесстрашных бойцов за русскую музыку, он забывал об одном: что в руках у него пусть одаренные, но все еще дети, рано лишившиеся семьи и материнского тепла.

Ученик Дюбюка и Гензельта, он не имел соперников в трудном искусстве постановки руки и развития музыкального вкуса. Как это ни странно, никто в те годы уже не видел Зверева сидящим за фортепьяно. Его показ был всегда схематичен, однако безошибочно достигал цели.

Уезжая с утра на весь день, Зверев оставлял мальчиков на попечение сестры Анны Сергеевны. Вернувшись, он до мелочей знал, как прошел день у каждого в отдельности. И храни бог любого из них в чем-то покривить или погрешить против регламента! Молнии взглядов, которые метал на виновника Зверев во время ужина, сулили приближение

неминуемой и неистойвой грозы.

Таков был дом, куда попал бабушкин внук, лихой конькобежец и отчаянный шалопай.

Мальчики встретили Сергея как старого приятеля, но по их сосредоточенным лицам, с какими они вернулись к приготовлению уроков, он понял, что тут не до шуток. И с первого часа началась тяжелая глухая война. На всю жизнь запомнился Сергею день, когда Зверев продержал его четыре часа за фортепьяно.

Нестерпимая ломота сводила плечи. Пальцы наливались свинцом. Еще минута, и он свалится с табурета.

— Так, — сказал Зверев, слушавший из соседней комнаты. — Теперь еще два этюда Черни, и на сегодня будет достаточно.

Он бесшумно приблизился к Сергею. Горькая обида и возмущение прорвали плотину.

— Я устал, — сказал Сергей, глотая слезы. — У меня руки болят. Сколько же можно так играть?

— Всю жизнь, — коротко ответил Николай Сергеевич и вернулся в кабинет.

Только в восемь часов вечера фортепьянная игра умолкала. Время до десяти часов мальчики могли использовать по своему усмотрению. А какое могло быть «усмотрение», когда тяжелые веки слипались, голова валилась с плеч и трудно было разогнуть ноющую спину!

Леся Максимов был вспыльчив, горяч и непоседлив. Он ухитрялся егозить даже в присутствии Зверева. Если бы не его из ряда вон выходящая одаренность, не ужиться бы ему в доме Николая Сергеевича.

Мотя Пресман, напротив, был рассудителен и слегка флегматичен. Он двигался не спеша, вразвалку. Был курчав, скуласт, глубоко посаженные темные глаза глядели задумчиво. Несмотря на разницу характеров и темпераментов, мальчики сошлись как-то вдруг.

В консерватории и дома «зверята» были неразлучны, и вскоре спелись так, что даже искушенная Анна Сергеевна подчас терялась.

Искусство предвидения «погоды» было отточено до совершенства. Если Николай Сергеевич утром, шагая по коридору, напевал свой любимый стих «Людие, веселитися!», это предвещало ясный день. Естественно, мальчики старались его не испортить, О положении дел неведомыми путями был информирован и бедняк, сидевший с утра за фортепьяно.

Однажды в пятиминутном антракте перед завтраком в спальню ворвался Леся.

— Зверие, веселитися! — запыхавшись, вскричал он. — Сегодня мы едем в Большой театр.

— Кто мы? — растерянно спросил Сергей.

— Я, ты, он, мы, вы, они, — одним духом выпалил Леля.

Спустился вечер. Обычно тусклые, мигающие зеленым светом газовые рожки сегодня ярко озаряли углы и перекрестки. Через мелкий морозящий снежок просквозила озаренная снизу и увенчанная колесницей колоннада театра. Все казалось преддверием неслыханных чудес. И с той минуты, когда всклоченный дирижер взмахнул палочкой и бросил в потемневший зал дерзкие звуки увертюры к «Руслану», Сергей больше не принадлежал себе. Палаты Светозара, и Голова, и пляски дев Наины, и «Любви роскошная звезда» — все это было свое, русское и ни капельки не походило ни на Черни, ни на Бургмюллера, ни на «Хорошо темперированный клавир». Он весь был там, где золотые, пурпуровые, зеленые и фиолетовые лучи переплетались, повинуюсь движению музыки.

Музыка не смолкла и под занавес, а последовала за ними на снежную площадь. Разговор о Глинке продолжался в санях.

Не многим было дано так говорить, как Николай Сергеевич. У него был звучный, артистически поставленный голос, чеканная образная речь, богатая интонациями со звонким упором на «н». Он умел в немногих словах передать самую суть, само дыхание пушкинских лет, сердце гениального замысла, раскрытое в слове и музыке.

«А ведь он добрый, хороший! — думал Сергей, глядя на учителя во все глаза. — Ей-богу, добрый...»

Когда ехали домой после долгого ужина в трактире Патрикеева, головы «зверят» качались от усталости.

— Однако... — Зверев взглянул на часы. — Время, мальчики! Два без четверти. Кто завтра начинает?

Через пенсне он посмотрел на вывешенный над фортепьяно «артикул».

— Ага!.. Сережа! Хорошо. Спать, мальчики. Спать! — И чары Наины развеялись дымом.

Сергей заморгал глазами, не совсем еще ясно понимая, о чем идет речь.

Он понял это только четыремя часами позже, когда Анна Сергеевна неумолимо подняла его, заставила одеться и сесть за фортепьяно. Две лампы-«чудо» горели, освещая и обогревая еще не вытопленную комнату.

Руки Сергея по привычке принялись чеканить гаммы.

Но сам Сергей, шатаясь и глотая слезы нетерпимой обиды, едва сидел

на табурете, и несчастнее его не было в те минуты на всем белом свете.

Беззвучно шевеля губами, он жаловался на судьбу и звал бабушку. Вдруг комната поплыла перед глазами.

— Врешь! — казалось, над самым ухом загремел страшный голос.

Высокая грозная фигура, всклокоченная, в одном нижнем белье, бесшумно выросла на пороге и так же внезапно исчезла. След жестокого испуга остался надолго, может быть навсегда.

И все-таки было бы непростительным заблуждением думать, что такие жестокие душевные встряски делали погоду в музыкальной бурсе. Напротив, они были скорее исключением, чем правилом. Старый опытный кормчий, Зверев искал совсем иных путей к сердцу своих «зверят». Так называемые «распеканции» он проводил обычно, не повышая голоса, обязательно в кабинете и при закрытых дверях. Но боялись их мальчишки, пожалуй, больше, чем редких открытых вспышек зверевского гнева.

Когда, покончив с завтраком, Николай Сергеевич не спеша складывал салфетку и ронял как бы невзначай одному из мальчиков: «Зайди ко мне!», у обреченного был очень несчастный вид. В кабинете его вежливо просили сесть в огромное допотопное кресло, которое Звереву завещал, наверно, какой-то великан.

Зверев садился за столом напротив, а за его спиной во всю стену красовалась многоярусная портретная галерея отцов и патриархов музыки. Они не были безучастными наблюдателями. От их лица Зверев и вел беседу, которую непокорный Леля называл про себя «вытягиваньем совести».

Толстый и важный Бах, Гендель, Глюк, мрачный Бетховен и печальный, саркастичный Мендельсон глядели на виновного с высоты уничтожающим взглядом. Их окружали веером совсем неприметные, но весьма ехидные старички в париках и буклях. Один только Моцарт с душевным сочувствием поглядывал на несчастливца: «Ах ты, бедняга!»

«Бедняга» ерзал в жестком неудобном кожаном кресле и испытывал не страх, а горький стыд. А Звереву только того и было нужно.

Так жила бурса день за днем, от понедельника до субботы. «Воскресенье — день отдохновения от трудов», — гласила надпись, выведенная в регламенте твердым и четким почерком через всю строку.

Николай Сергеевич, вышедший к завтраку в байковом халате, был

совершенно неузнаваем. Его глаза лукаво улыбались.

«Хитрит!» — решил Сергей, глядя недоверчиво исподлобья.

Но добродушие Зверева было не наигранное. Он полагал естественным и полезным раз в неделю, в воскресенье, отпустить вожжи совсем, во всех мелочах, чтобы еще крепче подтянуть их в понедельник.

Сразу же после завтрака начинались звонки в прихожей. Приходили консерваторские товарищи, кадет Саша Скрябин, реже — застенчивый Федя Кенеман и почти каждый раз — Соля Самуэльсон. Мальчики играли в четыре, в шесть и в восемь рук, играли как хотели и что хотели, для своего удовольствия, не боясь упреков и замечаний.

Мало того, когда они играли при гостях Зверева, случалось и «смазать» порой. Но ни тени неудовольствия или раздражения не было на лице у Николая Сергеевича. Напротив, он захваливал их так, что музыкантов порой бросало в краску.

И само собой получалось, что нужно было играть как можно лучше.

Не проходило воскресенье без званных завтраков и обедов.

Артисты и художники, адвокаты и меценаты платили дань хлебосольству Зверева. Но чаще всего, разумеется, музыканты.

Танеев, Аренский, Пабст, Эрмансдорфер были в числе гостей постоянных. Зилоти же, когда он приезжал, вовсе за гостя не считали. До женитьбы он всегда останавливался у Зверева. Расспрашивая про Сергея, Александр Ильич слышал одни похвалы, не подозревая о пощечинах, которые тоже доставались на долю героя.

Он заставлял Сережу играть и сам охотно садился за рояль.

В концерте Зилоти в Москве, когда в финале «Пештского карнавала» взволнованная публика начала подниматься со своих мест, чтобы убедиться, что играет один человек, а не целый оркестр, Сергей понял, что не случайно Франц Лист присвоил его кузену полушутливое прозвище «Зилотис-симус».

Превзойти эту игру казалось невозможным.

Но...

В декабре 1885 года на сотовое представление «Демона» в Москву приехал Антон Рубинштейн. Еще накануне по классам и коридорам разнесся слух, что Танеев, как директор консерватории, просил Рубинштейна оказать консерватории честь, прослушав камерный концерт самых одаренных. Жребий пал на двух девушек-вокалисток и двух пианистов — Левина и Рахманинова.

Мальчики были хорошо подготовлены, но оба трусили отчаянно. Сергей играл Английскую сюиту Баха.

Накануне, по дороге в театр, Зверев еще подлил масла в огонь.

— Запомните этот день. Сегодня впервые в жизни вам суждено увидеть великого музыканта.

Рубинштейн стоял в боковом проходе, сутулясь, положив тяжелую, с квадратными пальцами руку на плечо Зилоти. Когда Сергей увидел темную гриву, венчавшую мощный широкий лоб, встретил хмурый, из-под нависших бровей взгляд, он совсем пал духом.

Однако все сошло как нельзя лучше.

Концерт кончился в четыре часа, а перед самым обедом Сергей случайно, выбежав на звонок в прихожую, очутился лицом к лицу с коренастым человеком в дорогой бобровой шинели. Резким движением стряхнув ее на руки подбежавшего слуги, он перевел глаза на Сергея.

— Ну что ж, — сказал он глуховатым голосом, — проводи меня в гостиную. — И добавил, совсем понизив голос: — Я плохо вижу.

Опомнившись от неожиданности, Сергей протянул руку.

«Он слепнет», — вспомнились ему слова Зилоти.

За кофе Сергей видел, как Зверев наклонился к уху Рубинштейна. Тот, нахмурясь, отрицательно покачал головой.,

— Ну ради мальчиков, Антон Григорьевич, — настаивал Зверев. — Пойми, что для них это значит!

Подумав, гость слегка наклонил голову. На рояле зажглись витые свечи.

Его хотели проводить, но он сделал нетерпеливое движение рукой. Встал и пошел сам неторопливыми твердыми шагами. В комнате сделалось так тихо, что было слышно тяжелое астматическое дыхание слепнувшего льва.

Светящимся нимбом одела эту непокорную голову темная грива. И сходство могучей фигуры музыканта с поздними портретами Бетховена вспыхнуло с такой силой, что гости невольно переглянулись. Он медленно положил короткие толстые пальцы на клавиши.

Сергею в это время шел всего-навсего тринадцатый год. Он не мог еще ни оценить, ни сформулировать свою оценку услышанного.

Но феноменальный слух и память сберегли бесценные сокровища рубинштейновского мастерства, и много лет спустя он мог воспроизвести игру Рубинштейна в тончайших оттенках красок, придав звучанию скульптурные, почти осязаемые формы.

Через два месяца, в феврале 1886 года, в Москве начались исторические концерты Антона Рубинштейна. Едва ли вся история музыкального исполнительства до того времени могла запомнить подобное.

Антон Григорьевич дал картину развития фортепьянной музыки, начиная от ее истоков и кончая творчеством современных ему русских композиторов. Исполнение сопровождалось скупыми пояснениями в немногих словах, но каких!..

«Каждое слово было чистым золотом», — на склоне лет своих вспоминал Рахманинов. Нет, не мощь титана, не ослепительная виртуозность поражали в его игре. Рубинштейн играл очень неровно, как никто другой из крупных мастеров.

Иногда, чем-нибудь расстроенный или раздраженный, он мог быть технически даже неряшливым. Но глубокая, духовная, чистая стихия музыки звучала в каждой исполняемой вещи. И в этом у него не было соперника. Слушая Антона Рубинштейна, вы испытывали жгучее чувство красок, которое не успокаивает, не баюкает душу, а скорее тревожит и ранит.

Вы чувствовали, как одна нота за другой словно насквозь вас прожигает, наслаждение становится таким сильным, что как бы переходит в страдание.

Сравниться с ним! Достигнуть такой высоты, такого совершенства!

Однажды Леля вихрем влетел в спальню.

— Чайковский!.. — выпалил он.

Сергей вскочил из-за стола, едва не опрокинув стул.

— Побожись!.. — прошептал он.

— Слушай, — Леля стиснул его руку.

В гостиной слышался неузнаваемо веселый голос Николая Сергеевича и чей-то еще незнакомый.

Сергей знал давно, что эта встреча неизбежна. Думал о ней с волнением, а сейчас оказался к ней совсем неготовым... Чайковский! Шутка сказать! Леса, поля и самый воздух России звучат его музыкой. Как же так вдруг, сейчас выйти к нему! Нет, нет... Комната кружилась.

Но раздумывать ему не дали.

— Мальчики, ко мне! — прозвучал голос Зверева.

Они вошли один за другим и не в лад шаркнули ножкой. Смелее всех Леля Максимов, уже знакомый с Чайковским.

По гостиной под руку со Зверевым прогуливался среднего роста мужчина в серой визитке, обшитой тесьмой. Клином подстриженная,

седеющая борода и совсем серебряные поредевшие волосы, зачесанные назад с высокого чистого лба. Первое впечатление — необыкновенное изящество во всем: в одежде, манерах, во взгляде чудных серо-голубых глаз...

И при том подкупающая простота.

Сергей вдруг понял, что независимо от его искусства и мировой славы не полюбить этого человека невозможно. И он полюбил в первую же минуту, всем жаром сердца, неизбалованного любовью, на всю жизнь.

Зверев представил каждого в отдельности и, не дав опомниться, усадил за рояль.

Мальчики не посрамили своего учителя, все, что они играли, прозвучало у них превосходно: свежо, остро, молодо.

— Все молодцы, — сказал Чайковский, и вдруг усмешка тронула его полные губы. — А как у них, Николай Сергеевич, с теорией?..

— Сейчас. Несите-ка, ребятки, последние задачи.

Мальчики гурьбой кинулись к себе. Советуясь, успели перессориться, выбирая листы, чтобы не было клякс.

Первым выступил Леля.

Глаза гостя побежали по строкам. Вдруг он вскинул глаза и погрозил Леле пальцем.

— Эге! — сказал он, шевельнув тонкой бровью. — А это что у тебя, дружище?.. Параллельная квинта?..

— Нет! — крикнул Леля запальчиво и сбивчиво начал объяснять и доказывать, что тут он не мог поступить иначе.

Чайковский притворился удивленным.

— Леля... — с шутливым укором проговорил он. — Скажи, пожалуйста... Да ты, оказывается, дерзкий. И даже предерзкий.

И вдруг засмеялся. Потянув к себе мальчика, сказал:

— Так и нужно, Леля! Стой за свое не на жизнь, а на смерть.

Так и повелось с того дня. Приходя к Звереву, еще в прихожей Чайковский осведомлялся:

— А где дерзкий Леля?

Пришел черед Сергея. Просмотрев половину страницы, Петр Ильич вдруг задумался и отметил какое-то место ногтем. Потом наклонился к Звереву.

— Любопытно! — понизив голос, проговорил он. — Взгляни-ка, каков ход!

Зверев надел очки, взглянул и упрямо покачал головой.

— Случайность... — пробурчал он. И взглядом велел Сергею отойти.

— Нет, нет, — продолжал Зверев. — Не нужно его сбивать на путь безнадежных фантазий. Я знаю, что говорю. Он будет пианист, каких, быть может, мало. Только пианист. Я уже все продумал. Ты взгляни, Петр Ильич: у этого скворца в его годы уже есть своя собственная физиономия.

Во время обеда не один раз Сергей ловил на себе задумчивый взгляд необычайного гостя.

На продолжении последующих лет всяко бывало. Но ни кажущаяся отчужденность, ни мимолетная горечь не могли затемнить в глазах Сергея ясный и нетленный образ Чайковского — учителя в жизни, в искусстве и в труде.

Обязательным и очень жестким условием, которое ставил Зверев для своих питомцев, было: никаких отпусков и никаких поездок домой! Во всяком случае, в первые годы.

— Пока я за вас отвечаю, вы должны быть у меня перед глазами днем и ночью. Я не могу допустить ничьего постороннего, расслабляющего влияния.

Только через три-четыре года Сергей после долгих просьб получил разрешение навестить бабушку.

Летом 1886 года бурса выехала в Крым.

В знойном безветрии над гладью лазоревых вод, повиснув, застыли синие, фиолетовые скалы и обрывы. Но воли «зверьятам» не прибавилось ни на грош. Только и радости было, что утреннее купание в серебряной пене прибоя. А после раннего завтрака и до сумерек почти без перерыва за книжками и фортепьяно.

Только перед отходом ко сну на два-три часа они принадлежали себе.

Под конец лета в эти вечерние часы Сергей начал пропадать в темноте. Звать его громко «зверьята» остерегались, чтобы не услышал Зверев.

Однажды Сергей поманил Мотю к фортепьяно (у Зверева были гости) и сыграл под модератор какой-то поэтический отрывок на органном пункте.

— Ты знаешь, что это? — шепотом спросил он.

Мотя отрицательно покачал головой.

— Это я сочинил ноктюрн и посвящаю его тебе.

Первого сентября открылся класс гармонии Антония Степановича Аренского. Все трое вступили в этот класс, продолжая заниматься на фортепьяно.

Антоний Степанович был еще очень молод, порой моложе своих учеников. Это страшно конфузило его. Тонкий, стройный, очень бледный, с небольшими темными усами и искрящимися полутатарскими глазами. В них, этих глазах, всегда изменчивых, горел огонь вечного непокоя, который интуитивно передавался и окружающим.

Его педагогический дар казался феноменальным. Молниеносно, одним росчерком карандаша он строил и решал сложнейшие задачи по гармонии и контрапункту, находил малейшие ошибки в ученических работах. Чудесный мелодический дар делал его собственные сочинения необыкновенно привлекательными. Нельзя было не любить его и как человека.

В новом учебном году все еще шло, как прежде. Зверев следил за каждым шагом мальчиков, без пощады взыскивая за малейшую провинность.

Он словно не замечал, как растут «зверята» у него на глазах не по дням, а по часам. Хотя, без сомнения, от его зоркого глаза ничто не ускользало. Он видел, как, собираясь на уроки и особенно на консерваторские вечера, его пасынки усерднее прежнего утюжили брюки и приглаживали вихры перед зеркалом.

Среди зимы Александр Ильич Зилоти женился на дочери Павла Третьякова, основателя картинной галереи. Во время свадебного завтрака Сергей, осмелев, отважился показать Чайковскому написанное украдкой оркестровое скерцо фа-мажор. Среди хора похвал один Зверев ничего не сказал и даже немного нахмурился.

Тринадцатого марта в бурсе был, так сказать, «храмовой праздник» — день рождения Николая Сергеевича.

Подарки «Деду» готовились в строгой тайне. Рахманинов выучил «На тройке», Пресман — «Подснежник» Чайковского, Максимов — ноктюрн Бородина. Ничто не могло доставить учителю такой радости, как хорошо выученные и отработанные поэтические пьесы.

К торжественному обеду приехал Чайковский.

Зверев сейчас же рассказал о полученных подарках.

— Мальчики! Покажите Петру Ильичу.

Первым пошел Сергей. Он сам не мог объяснить того, что с ним происходило. Исчезла комната, вытянувшись вдаль безвестной дорогой. Что-то понеслось, зазвенело, как в тумане он видел свои руки на клавишах.

Когда Сергей кончил, лицо его горело, как в огне. Сердце колотилось. Он неловко поднялся с табурета.

Чайковский встал, не проронив ни слова, подошел к мальчику и крепко его расцеловал.

На вечерах у Зверева начали появляться новые музыканты. Черноглазый скрипач Коля Авьерино, степенный, улыбающийся виолончелист Миша Букиник. Михаил Акимович Слонов, красивый брюнет с пробивающейся бородкой, был на пять лет старше Сергея и на первых порах казался ему даже несколько загадочным. Но это вскоре прошло. Очень скромный вокалист, Слонов обладал разносторонней музыкальностью и был незаменим в ансамблях.

Взаимная товарищеская привязанность с годами окрепла и перешла в горячую дружбу на всю жизнь.

Сергей жил в неясном томлении. В шуме ветра, в говоре толпы, в гудении московских колоколов он слышал невнятные еще голоса. Они роились, тревожили, звали. Тщетно урывками он пытался что-то записать.

Он знал, что для этого нужно уединиться, пойти в тишину, подумать. И у Зверева и в консерватории с утра до ночи гремели рояли.

В конце учебного года Сергей сочинил три ноктюрна, задуманных еще в Симеизе, и преподнес их Звереву. Николай Сергеевич, надев пенсне, просмотрел все от строчки до строчки, потом принужденно улыбнулся.

— Спасибо, Сё. Молодчина! — И сейчас же спросил, как идет у него финал концерта Фильда.

На пасху Сергей впервые получил разрешение навестить родных. Он пошел к Варваре Аркадьевне Сатиной на Воздвиженку. Учтиво, как благовоспитанный музыкант, он отвечал бойкой скороговорке тетушки. Гимназист Саша и одиннадцатилетняя Наташа занимали гостя.

И во сне ему не грезилось, что уже недалек тот час, когда ему придется на долгие годы войти в этот дом, в эту чужую еще семью.

Весной в жизни «зверят» назрело большое событие: переход в старшее отделение консерватории. Мальчики много спорили и шушукались между собой. Мотя рвался только к Сафонову. Воображение Сергея тоже покорило этот маленький, очень самоуверенный толстяк с остроконечной русой бородкой и пронизывающими глубоко посаженными глазами.

Ему нравился точный и смелый взмах его дирижерской палочки и безукоризненная фразировка на фортепьяно. Эти же черты выделяли и сафоновских учеников.

Но Зверев рассудил иначе. В кулуарах консерватории уже зарождалась глухая война, которая через два-три года вылилась наружу.

Скрепя сердце он отпустил Пресмана к Сафонову, но Сергей был

зачислен в класс Зилоти.

На экзамен, покинув в Клину наброски Пятой симфонии, приехал Чайковский.

На другой день состоялось проигрывание ученических пьес. Сергей написал Романс, Прелюд, Мелодию и Гавот. В этом было еще немало детского, выпретенного. Зверев поджал губы. Но Чайковский сиял. Надев пенсне, висевшее на шнурке, он поставил на экзаменационном листе жирное «5» и, подумав, окружил отметку еще тремя жирными крестами.

С Александром Ильичом Сергей поладил гораздо легче, чем ожидал. Зилоти не стеснял его, но направлял осторожно, ненавязчиво, стараясь, чтобы ученик сам пришел к сознанию ошибки. Вторым был класс гармонии и специальной теории композиции Аренского и третьим — класс контрапункта Танеева.

В этом классе, кроме Рахманинова, было еще трое, в их числе маленький, тщедушный, очень задумчивый Саша Скрябин.

На первых порах все четверо робели. Профессор (он же и директор) был русобород, крутолоб и глядел очень строго из-под нависших бровей. Потому, услышав однажды его смех, неудержимо-звонкий смех счастливого ребенка, мальчики даже растерялись. Еще далеки были те времена, когда для Рахманинова и его сверстников Танеев стал образцом «во всем, в каждом деянии своем», живым примером того, как надо «жить, как мыслить, как работать и даже как говорить».

Теперь же, узнав Сергея Ивановича поближе, они решили, что он ниспослан им самим небом в награду за притеснения, которые им приходилось терпеть от Зверева и ему подобных.

Контрапункт в их представлении был архаической бестолочью, без которой в наши дни композиторы могут жить и творить без всякого ущерба.

Борьба Сергея Ивановича с четырьмя лентяями, всячески увиливавшими от решения задач, продолжалась не один год.

Отойдя от непосредственных занятий со своими питомцами, Зверев сохранил за собой всю полному менторского надзора и верховной власти. Они по-прежнему жили у него, и он вникал и вмешивался во все мелочи их учебной программы и жизненного распорядка. Требовал и взыскивал без всякого снисхождения. Все же, уступая просьбам Сергея, он отпустил его с подмосковной дачи в Новгород.

Город, закутанный в темные сады, казалось, врос в землю. Даже София выглядела издали совсем неприметной, и комнаты дома на Андреевской тоже стали пониже, и пахло в них чем-то давно позабытым. Замолк веселый певучий говорок Уляши. На Фоминой она вышла замуж за пчеловода из Подберезья.

Одна бабушка ничуть не изменилась, только стала прихварывать. Ее доброта так же светила и грела, как и прежде.

В первые дни Сергей чуть даже дичился ее, стесняясь своего роста и петушиного голоса (как раз начал меняться). Потом привык. Правда, сделался он менее словоохотлив, чем раньше, думал все что-то свое и по целым дням то пропадал в душегубке на Волхове, то перебирал в дедовом шкафу старые книги, пахнущие клеем и пересохшей кожей. А иногда, заложив пальцем страницу, часами сидел в качалке, глядя в окошко. Мелодии осаждали его ночью и днем. Он записывал их в записных книжках, на обложках тетрадей. Встречаясь глазами с бабушкой, застенчиво улыбался.

Расставанье было тяжелым, хотя ни бабушка, ни Сергей не подали виду.

Музыка последовала за ним. Звучала в перекатах колес, в шуме ночного дождя, барабанившего по крыше. Он твердо знал, что она уже не замолчит.

Как же теперь? Вернуться в бурсу без своего угла, без уединения, без фортепьяно? Немыслимо!

Он знал, что разговора со Зверевым не избежать, и чувствовал, что этот разговор будет для них последним.

Прошло еще три месяца. Зима была суровая. В огромных окнах консерватории на Большой Никитской горел, отражаясь, морозный закат.

Неотвязно, гвоздем, сидело в мозгу одно и то же: идти к Звереву. Когда? Сегодня, завтра? Нет, нет!

Часто разговор этот являлся ему во сне. Он просыпался в холодном поту. Наяву избегал смотреть в глаза Николаю Сергеевичу. Это, разумеется, не прошло незамеченным.

Сергей сочинил Прелюдию и показал ее Звереву. Тот проглядел и, равнодушно промолвив «да, недурно», бросил листок на фортепьяно.

Наконец Рахманинов понял, что не может дальше терпеть. Он слишком долго готовился к разговору и «репетировал» его, потому, как часто бывает, из всех возможных минут выбрал самую неудачную.

Однажды, в конце ноября, Николай Сергеевич, покончив с завтраком, в

халате, направился к себе в кабинет одеваться к выезду. Какая-то неудержимая сила подняла Сергея и понесла по пятам за учителем.

— Ну, что скажешь? — шевельнув черной бровью, спросил Зверев и начал повязывать перед зеркалом галстук.

Взвинченное до предела самолюбие, страх и волнение смешали в кашу все приготовленные слова. Единым духом, в тоне какого-то ребяческого ультиматума он выпалил свою претензию. Он не может так дальше жить. Он должен сочинять, и ему нужны отдельная комната и фортепьяно для занятий.

Сперва на лице у Зверева было одно только безмерное удивление.

— Ты что? Ума решился? — спросил он, не затаив узелка. И прежде, чем Сергей перевел дыхание, разговор перешел в неистовую ссору.

Сергей увидел занесенную руку и едва успел отскочить.

— Не смейте! — срывающимся голосом вне себя воскликнул он.

Ярость учителя приняла размеры невероятные. Сергею почудилось, что уже не один Зверев, а все отцы и корифеи музыки со стены выкатили на него сверкающие гневом и презрением глаза.

— Вон!.. — услышал Сергей. И это слово, как порыв урагана, выбросило его за дверь.

Минут через пятнадцать Зверев в гробовом молчании надел шубу и уехал на уроки, оставив в прихожей запах ландышевых капель.

Но самое тяжелое было еще впереди.

Сергей остался жить в доме Зверева. Куда ему было идти?

«Ничего, — шептала Анна Сергеевна, — уляжется!»

Однако на этот раз не улеглось. Зверев просто перестал замечать Сергея и не сделал шага к примирению.

В доме нависла гроза.

Часто в мороз и метель Сергей поджидал учителя у ограды консерватории, чтобы попросить прощения, все объяснить и сказать, как он ему благодарен за неоценимое добро и отеческую заботу. Но Зверев, не взглянув, проходил мимо.

Однажды он, чуть обернувшись и не глядя в глаза, велел утром ожидать его на условленном перекрестке.

Встретившись, они молча пошли на Воздвиженку, где жили Сатины.

Их, как видно, ждали. Торжественно в кабинете дяди Александра Александровича собрался семейный совет: дядя, тетушка Варвара, мать Зилоти Юлия Аркадьевна. Сам Александр Ильич приехал немного позже.

Сергея тотчас же выслали из комнаты.

Не зная, куда деваться, он пошел к младшим, Володе и Соне, и присел

вместе с ними возле кошачьей колыбели, глядя, как еще слепые облизанные малыши сосут блаженно раскинувшуюся мать. Тихонько мурлыча, она поминутно поднимала голову и вновь ее опускала.

Потом подошла Наташа. Мать шепнула ей за дверью:

— Пойди поговори с ним. Он такой несчастный!..

Сергей услышал и, мучительно покраснев, низко потупил голову. Так он провел, может быть, самый горький час за все шестнадцать лет жизни с детьми, хотя ему очень хотелось побыть одному.

Никто доподлинно не знает о том, что говорилось на этом совете. Его участники сохранили заговор молчания. Но в спорящих за дверью голосах не было согласия. Только раз, когда Зилоти, красный и нахмуренный, вышел в столовую за спичками, до Сергея долетела возбужденная скороговорка Варвары Аркадьевны.

— Помилуйте, нельзя же так! — кипятилась она. — Ведь он еще мальчик...

— Вот именно, — с ледяной учтивостью подтвердил Зверев. — Совершенно с вами согласен. Тем более. Простите меня, но потакать его вздорным фантазиям я не стану.

— Но разрешите, — не унималась тетушка Варвара, — ему по крайней мере приходиться ко мне на два-три часа для его занятий.

— Ни в коем случае, — отрезал Зверев. — Иначе я за него не отвечаю.

— Николай Сергеевич прав, — вмешался Зилоти, возвращаясь в кабинет.

Сергея всего обдало холодом. Он понял, что это конец. Через несколько минут за дверью послышался скрип отодвинутого стула. Зверев вышел прямой, невозмутимый.

— Желаю здравствовать, — сухо, с легким поклоном проговорил он и, не взглянув, кликнул своего бывшего «звереныша».

В гробовом молчании они вернулись домой.

Сергей не знал о том, что после их ухода спор продолжался еще долго и возобновился на другой день, но ни к чему не привел.

Ему было ясно, что он уйдет. Куда? Он не думал об этом.

Последняя ночь Сергея в доме Зверева прошла без сна. Наутро он сложил в бабушкин чемоданчик свои пожитки.

— Куда же ты, Сережа! Вернись! — дрогнувшим голосом сказала Анна Сергеевна»

Он покачал головой и молча поцеловал ее руку.

Мальчики Мотя и Леля со слезами на глазах провожали третьего мушкетера.

Ветер рванул с головы шапку. Москва открылась перед ним огромная, необъятная, страшная...

Мимо по сугробам тащилась обледенелая водовозная бочка. Кричали голодные галки. У Зачатья звонили в дребезжащий маленький колокол.

Он сел в конку и поехал на Неглинную к Мише Слонову.

«Неужто, — думал он, — я не прокормлю себя за пятнадцать рублей от уроков!»

В сумерках в тот же день Сергея окликнула стряпуха:

— К вам, что ль, барыня?

Выйдя в прихожую, он узнал тетушку Варвару. Не подняв вуалетки, она коротко сказала;

— Одевайся-ка! Нечего тебе тут делать.

Сергей растерянно посмотрел на нее, однако повиновался.

У подъезда дожидался извозчик. Мелкий колючий снег жалил лицо.

Губы у Сергея дрожали.

— Ну, полно, полно! — она погладила его руку. — Не чужие же мы! Будешь у нас. Комнату в мезонине я уже приготовила. Найдем и фортепьяно... Как же так? Знаю я этого ирода. Вся Москва знает. Не дам я тебе пропасть!

Глава четвертая «ЗЕЛЕНЬ ОСТРОВ»

1

За прошедшие четыре месяца Сергей так врос в семью Сатиных, что у него просто не хватало духу поступить по-своему и уехать на лето в Новгород к бабушке.

Ему дали отдельную теплую комнату в мезонине, где он мог успокоиться и перевести дыхание после пережитых бурь.

Как ни странно, добившись того, о чем раньше не смел и мечтать, Сергей в эти первые месяцы у Сатиных ничего не сочинял. Были, правда, попытки в оперном (!) жанре. До наших дней сохранились эскизы сцен на сюжеты «Эсмеральды», «Бориса Годунова», «Мазепы», лермонтовского «Маскарада», но только эскизы...

Дети — Наташа, Соня, Володя — с первого же дня полюбили его. Правда, Варвара Аркадьевна строго-настрого наказала: «Серейте в его

скворечне не мешать!» Но вечерами, когда Сергей бывал дома, наверху вокруг фортепьяно собирались все.

И каждый спешил выложить свои новости. Особенно не терпелось выболтаться ровеснику Сергея Сашку. Он просто не давал никому говорить.

Сергей, если был в ударе, начинал импровизировать на фортепьяно.

Когда сошел снег, зеленый двор позади дома стал площадкой для игры в мяч. Никогда позднее уже не вернулись эти серенькие апрельские дни! Милы были Сергею зардевшиеся лица Наташиных подруг, эта свобода, это ключом бьющее веселье после четырехлетнего заключения в стенах музыкальной бурсы.

В мае 1890 года проездом через Москву Сатиных навестила Елизавета Александровна Скалон с тремя барышнями-дочерьми.

Сергей уже слышал о сестрах Скалон, племянницах Варвары Аркадьевны по мужу. Знал также, что живут они в Петербурге и отец у них очень важный и ученый генерал.

В это утро у Сережи не спорилась fuga на тему Генделя, и, как назло, его впервые отвлекли от работы.

— Вот мои любимые девочки, — сказала тетушка, притянув к себе всех троих. — Сережа, знакомьтесь. Вы должны подружиться.

Сергей мрачно поклонился, и несносные волосы занавеской упали на глаза.

Сестры переглянулись: «С таким подружишься!»

— Они тоже будут с нами летом в Ивановке, — добавила тетя Вава.

— Ах, какая радость! — пробурчал Сергей еле слышно и снова поклонился. Он все еще злился, не зная на кого: на Генделя, на сестер Скалон, приехавших не вовремя, или на себя самого.

Пожалуй, он и забыл бы про них, если бы не постоянные разговоры про Ивановку, разгоравшиеся за вечерним чаем, особенно когда приходил Саша Зилоти. Слушая, Сергей хмурился. Пыль, жара и утомительное многолюдство. Вот все, что сулила ему эта хваленая Ивановка! А он должен работать не покладая рук. Взятся за лето сделать фортепьянное переложение «Спящей красавицы». Заказ был дан издателем Юргенсоном по настояниям Зилоти и с ведома Петра Ильича.

Но все сложилось по-иному.

Упругий топот копыт заглох на проселке. Усадьба зеленым островом надвинулась из степи. Слева открылся огромный синий пруд в камышах и мелком ивняке, дощатая купальня, высокий желтый омет прошлогодней

соломы.

Вся Ивановка высыпала навстречу, и Сергей на мгновение совсем растерялся. Три семьи съехались на лето: Сатины, Зилоти, Скалоны с няньками, горничными и гувернантками.

За стол, накрытый на большой веранде, село семнадцать человек. Вся эта шумная компания, как он понял, уже хорошо спелась. Веселые иносказания летали через стол, как мячи, вызывая здесь и там шумные взрывы смеха.

Чувствуя на себе быстрые любопытные взгляды, Сергей внутренне ершился и скупно отвечал на вызовы Сашка с дальнего конца стола.

Из разговора он узнал, что старшую Скалон зовут Татой. Ей пошел двадцать второй год, Леле же было только шестнадцать, а младшей, Верочке, — пятнадцать.

Горьковато пахло отцветающей сиренью. Наперебой щелкали соловьи. В густой тени булькал фонтан, ежеминутно заглушаемый говором и смехом. В эти первые часы Сергей чувствовал себя в Ивановке чужим.

Но новый день, начавшийся ранним щебетом птиц, принес с собой неожиданности.

За завтраком, как и давеча, было шумно. Но вот Александр Ильич, бессменный председатель за столом, сложил салфетку и, глянув на часы, многозначительно кашлянул. Все разом поднялись, и веранда вмиг опустела.

Из окон дома грянуло патетическое вступление к фортепьянному концерту Грига. Тетушку обступили крестьяне, приехавшие лечиться, девушки сели за учебники и диктанты, детвора закопошилась в песке, малиновки защебетали в саду. Дядя Сатин еще на рассвете уехал в поля.

Опомнясь от неожиданности, Сергей ушел в отведенную ему прохладную и тенистую комнату рядом с лестницей и разложил на столе, стульях и даже на кровати листы партитуры Чайковского,

В старом парке царилась тень, теснились липы и клены. В молодом пахло свежескошенным сеном; на широких полянах цвели одуванчики, островками стояли березы, орешина, пушистые елки.

Но когда Сергей выходил в поле, его охватывала внезапная тоска. Бескрайняя даль теснила дыхание. Что там, за этой плоской чертой, за дымчатой полоской лиловой дали? Та же полынь, бурьян, молочай, кое-где зеленые полосы озими, загорелые плоские холмы. Только на востоке, на невидимом косогоре безнадежно машет крыльями мельница.

И прошла, наверно, неделя, прежде чем он почувствовал, что земля и

здесь та же, что и на Волхове. Стоит только припасть щекой к теплой ее груди, и он услышит ее дыхание.

Вся Ивановка от мала до велика обожала Александра Ильича, его лукавое добродушие, искрящееся в голубых глазах, мальчишеский смех и богатырский раскатистый голос, его блестящий, ослепительный дар музыканта. Даже его слабости — фантазерство и временами паническая мнительность, — казалось, делали его еще привлекательнее.

Вера Павловна Зилоти, урожденная Третьякова, была человеком совсем иного склада. Мелочно-злопамятная и нелепо-ревнивая, она служила вечной мишенью для остро отточенных язычков. Александра Ильича игра забавляла, и он не прочь был сам подлить масла в огонь, оказывая преувеличенное внимание барышням.

Сестра Сатина — Елизавета Александровна Скалон внешнею совсем не походила на брата, огромного добродушного медведя.

По-своему была она и добра и совсем не глупа, но она твердо решила использовать это лето в Ивановке, чтобы искоренить тлетворное влияние на девочек безрассудного отцовского баловства. Ее обязанность — привить дочерям сознание долга перед обществом, в которое им суждено вступить. Если у старшей, Таты, есть еще зачатки здравого смысла, то младшие нередко приводят ее просто в отчаяние.

Присматриваясь к сестрам Скалон украдкой, Сергей еще не придумал, как себя с ними держать.

Сестры, в свою очередь, пытались разгадать, что за птица такая этот долговязый кузен. Еще длиннее делали его высокие сапоги, подпоясанная шнурком белая косоворотка и белая же сдвинутая на затылок парусиновая фуражка. Давеча в Москве он показался девочкам довольно противным зазнайкой. Здесь, в Ивановке, он кажется каким-то другим, даже улыбается.

Однажды в бильярдной, где стояло пианино «для всех и вся», Тата предложила Сергею поиграть в четыре руки. Сергей глянул на нее чуть свысока (ох, уж эти барышни!), однако согласился и взял с полки Четвертую итальянскую симфонию Мендельсона.

— Справитесь?

— Попробую, — коротко ответила она.

Тата играла очень музыкально, хотя и без всяких пианистических приемов. Лишь очень немногие из консерваторских товарищей Сергея так легко и безошибочно читали ноты с листа, как эта показавшаяся ему самоуверенной «барышня-генеральша».

Ледок недоверия треснул.

На третий день Тата на правах старшей уже отчитывала Сергея за

воображаемую провинность.

В Ивановке любили давать друг другу шуточные прозвища. Так Тата сделалась «Ментором».

Добрая, пылкая и обидчивая Леля была всего на год старше Верочки, но непременно хотела быть взрослой и в девичьих распрах неизменно брала сторону старшей сестры. Она обожала танцы и носила в сумочке портрет известной балерины Вирджинии Цукки, за что ее, Лелю, и прозвали «Цукатиком».

Верочку за крайнюю ее впечатлительность дразнили «Психопатушкой». Тогда это было новомодное словечко. Были, разумеется, и другие имена. Сестры с детских лет за что-то прозвали девочку «Брикки-Брикушей». Сережа про себя называл ее «Беленькой». Как и других, его забавляли ее ребячьи выходки, вечные перебранки с Сашком, который, будучи ее соседом за столом, в пылу ораторского вдохновенья обязательно заезжал локтем в ее тарелку. Храбрая, маленькая Брикки в долгу не оставалась, но среди всеобщего смеха, под укоризненным взглядом матери ужасно краснела.

Шел июнь. Отцвел троицын цвет. Пахло липой. В открытые окна из сада залетал тополевый пух и кружился по комнатам, будя нежные мысли и безотчетные желания.

В саду распевали иволги. Земля жаждала ливня.

А за чертой усадьбы шла своя, совсем иная жизнь. Ветер гонял волны по серо-зеленому морю ржи, кружил клубки перекасти-поля, вздымал на большаке вихрящиеся столбы черной пыли.

Солнце палило немилосердно. Звенели жаворонки, а коршун стоял в поднебесье, сторожа добычу.

На свекловичном поле пестрели сарафаны полольщиц.

Долог час до заката! Только и радости — разогнуть на минуту измученную спину в прилипшей от пота холщовой рубахе, глянуть из-под черной, как земля, ладони на марево, дрожащее над дальним косогором, да выпить глоток уже теплой воды из длинногорлого кувшина, укрытого на меже в чахлой тени подсолнуха.

И опять и опять до темноты в глазах... Там, среди слепящего зноя, усадьба манит душистою тенью, прохладой. Стрекогут кузнечики. И все чудится, будто звенит что-то. Степь ли, в ушах ли — не понять!

Со «Спящей красавицей» у Сергея дело решительно не спорилось. Словно сама злая и коварная фея Карабос коснулась этих страниц своим смертоносным веретеном.

Пойти за советом к Александру Ильичу было совестно.

В чем же дело? Что мешало ему? Лень? Нет. Эта работа для Петра Ильича была для него делом чести.

А в то же время все чаще им овладевала совершенно необъяснимая рассеянность. Он нередко ловил себя на том, что, позабыв о «Красавице», сидит, подперев голову руками, глядит в чашу жасмина за окошком и не видит ровно ничего. А слышит, вернее слушает, что-то совсем другое. Это «что-то» вилось и реяло вокруг него и вот-вот должно было зазвучать. Он ждал и мучился, но слышал только слабый, непрерывный томящий звон.

Услыхав за окошком чей-то возглас «Митя приехал!», Сергей бросил карандаш и вышел на крыльцо.

Дмитрий Ильич был в ту пору фактически единоличным управителем огромного нарышкинского имения Пады, в двадцати верстах от Ивановки. Как все Зилоти, он был высок, плечист, говорлив, при этом не прочь прихвастнуть и порисоваться, Сергей увидел его в кругу смеющихся девушек. Он хохотал и остроловил. Темный кофейный загар и кудрявая борода делали его похожим на голубоглазого цыгана.

В глазах у Верочки, устремленных на гостя, Сергей прочитал застенчивое обожание.

Сам того не замечая, едва ли не с первого дня, он наблюдал украдкой за этой девочкой, тоненькой как камышинка. Почему-то ему хотелось знать, чем живет и томится эта хрупкая, едва раскрывшаяся душа. Однажды Верочка полушутя сказала, что у нее сердце — вещун, все предвидит и предчувствует заранее.

Как и всегда, ее высмеяли. А Сергею почему-то запомнилась эта простодушная выдумка.

Митя нашумел и уехал, оставив после себя чувство легкой одури и запах дорогого трубочного табака.

Но когда несколько дней спустя он вернулся, Сережа вмиг догадался, что на этот раз предчувствия солгали Брикуше и «сердце-вещун» ей неправду сказало.

Верочка шла одна, печально потупясь, сбивая зонтиком одуванчики. Потом села на краешек крыльца, невеселая, в стороне от общего смеха и болтовни.

В дальней роще за парком, не умолкая, куковала кукушка.

Кто-то длинный, скрипнув ступенькой, присел рядом.

— Вера Дмитриевна смотрит сурово, как настоящая генеральша. Боязно даже подойти к ней бедному странствующему музыканту...

Сидя рядом, он протянул ноги до нижней ступеньки. «Какая каланча!» — подумала Верочка и улыбнулась.

— Вот так-то лучше! — сказал он. — Можно вас посмешить?

Сам не зная почему (с ним это редко случалось), Сергей сбивчиво, перескакивая с одного на другое, повел разговор о Новгороде, о бабушке и зверевской бурсе.

Позабыв свои огорчения, она слушала жадно. Еще бы: с ней говорят, как со взрослой! И он понял, что не нужно третировать ее, как подростка. У девочки был живой ум и прирожденное чувство юмора. Все это, правда, уживалось с присущей возрасту наивностью, как и застенчивость — с отчаянным и безоглядным озорством. Глаза ее менялись ежеминутно — вспыхивали и потухали, старались понять хорошенько, сочувствовали, печалились и улыбались. Слово впервые он увидел эти ямочки у нее на щеках, от которых все лицо порой озарялось нежным, неуловимым светом.

Сергей по утрам работал теперь с разрешения Елизаветы Александровны на веранде у Скалонов. Тут рояля не было слышно, одни иволги да овсянки. Иногда на минуту украдкой забегала Верочка и, прижав палец к губам, неслышно исчезала. После ее ухода Сергей еще долго чему-то улыбался.

С тех пор как Сергей подружился с сестрами Скалон, ему не хотелось держаться особняком. Но, случалось, в самый разгар веселья он неожиданно исчезал. Сперва девушки обижались, покуда не поняли, в чем дело.

Все та же песня манила, звала за собой музыканта, дразня и что-то обещая. Он не обманывал себя. Он знал, это не прелюдия, не ноктюрн, не романс, но его первый концерт для фортепьяно с оркестром идет к нему навстречу. Он уже здесь, совсем близко... В шуме деревьев, в щебете птиц, в протяжной песне девушек в час заката, в кукующем эхе за прудом и в дерзком, вызывающем тремоло лягушачьего оркестра Сергей угадывал его приближение.

Шаг за шагом из случайных, разрозненных попевок вырастала медленная часть будущего концерта.

А вот и главная, быть может, «причина всех причин»... Сергей провожал ее глазами, а она шла по дорожке в любимой красной кофточке с цветной косынкой, брошенной на плечи, легкий рассыпчатый шелк ее волос светился под небольшой соломенной шляпкой, шла, ничего не чуя и

улыбаясь своим мыслям.

Ни Сергей, ни Верочка не заметили, как у них появились свои маленькие, впрочем совсем невинные, секреты.

Но вдруг в безмятежную идиллию ивановского лета нечаянно вплелась тревожная нота.

Однажды ради приезда гостей привычный распорядок за столом был нарушен, и Верочка оказалась рядом с Сережей. Длинные язычки насмешников заработали. Сашок через стол посылал Сергею бутафорские цитаты из придуманного им философа Бенердаки. Сергей отвечал ему в тон похоронным басом. Верочка смеялась до слез.

Александр Ильич покрикивал на Сашка:

— Цунька, перестань!.. Цунька, помолчи!..

Вдруг тетушка Варвара, давно наблюдавшая за развеселой компанией, избрала своей жертвой Верочку и среди наступившей паузы спросила, как ей нравится ее новый сосед.

— С моим сыном вы что-то все время ссоритесь.

Среди наступившей тишины все глаза устремились на Верочку.

Поперхнувшись от неожиданности, Брикки стала алее мака.

В ту же минуту Сергей поймал на себе взгляд мадам Скалон, долгий, внимательный, предостерегающий, и почувствовал, что тоже краснеет неведомо почему. Страшная минута потонула в болтовне и смехе.

Сергею стало до боли жаль девочку. Зачем ее так обижают! В течение нескольких дней она, казалось, избегала его. Он понял, что насмешницы сестры совсем заклевали ее.

Вскоре все прошло, однако не забылось.

В канун Ивана Купалы девушки собрались гадать о суженых. За прудом горел, не угасая, погожий закат.

На дальнем конце мостика возле купальни, перешептываясь, возились с венками.

Сергей и Сашок, подогнув ноги, сидели в слабо качающейся лодке на позиции молчаливых и иронических наблюдателей. Оба отчаянно курили, отгоняя комаров.

Венки поплыли по меркнувшей воде, но, видимо, не так, как девушки ждали.

Возвращались через парк молча, врозь и почти оцупью. Не доходя красной аллеи, Сергей услышал рядом слабый скрип песка под чьими-то шагами.

— Кто тут? — спросил он шепотом в притворном испуге.

Было совершенно темно.

— Ш-ш!.. — раздалось в ответ.

Он наклонился, вглядываясь во мрак. И в эту минуту прямо перед ним раскрылись невидимые ладони. На них тихим и слабым фосфорическим светом горел огонь светлячка. Отблеск его на одно мгновение вызвал из тьмы нежное очертание улыбающегося девичьего лица.

Вдруг слабый шелест платья, и все пропало.

Все прошло и развеялось прахом, но тихий слабый огонек Ивановой ночи, может быть, долгие годы спустя светил Сергею в пути.

3

Утром он повстречал Верочку в парке и шутя спросил: кто же, кто явился ей в купальском сне? Девочка смутилась и, быстро взглянув на него, назвала Сережу Толбузина.

Это имя он слышал уже не раз от Таты и особенно часто от ее матери. Оно произносилось при нем с важной и многозначительной улыбкой. Сергей Петрович Толбузин, молодой и преуспевающий нижегородский помещик, был другом детства барышень Скалон.

Вот все, что Сергею о нем было известно.

Как он догадывался, все эти дни после памятного обеда Брикуше не раз доставалось от матери. Не раз она поспешно отводила заплаканные глаза. За что? Он не мог думать об этом спокойно.

Хорошо, рассуждал он, пусть ему в назидание жупелом поставлен этот драгоценный Сергей Петрович, чтобы он, Сережа, знал свое место. Пусть! Но в чем же повинна Беленькая? И неужели он сделал, сказал или даже подумал что-то способное бросить тень на чудное создание, никому не причинившее зла!..

Кому же теперь, как не ему, защитить ее, принять на себя нежданно налетевшую грозу!

Но на первых порах, не придумав ничего лучшего, он начал оказывать знаки преувеличенного внимания Татуше. У Таты были чудесные волосы. Уже не Ментором стала она, а Ундиной Дмитриевной. Поэтические мадригалы произносились полушутя, а принимались с кокетливой ноткой насмешливого лукавства.

Если вся эта нехитрая игра и могла кого-нибудь обмануть, то только одну Брикушу.

Под звуки андантино из симфонии Мендельсона девочка печально

шептала с Наташей, поместившись рядом с ней в просторном прадедовском кресле.

Наконец Сережа, поддавшись мефистофельским нашептываниям Мити, за десять минут собрался и вместе с ним уехал в Знаменское, к бабушке Варваре Васильевне Рахманиновой.

Уже в последнюю минуту, когда «рыжий дьявол», запряженный в беговые дрожки, рванулся с места в карьер, Сергей на мгновение поймал на себе взгляд Верочки, полный горькой обиды.

Он был так зол на себя в ту минуту, что готов был спрыгнуть на полном ходу.

Впоследствии он не раз испытал врачующую силу быстрой езды и встречного ветра для растревоженной души. Вся эпопея минувшей недели стала казаться ему бурей в стакане воды, то есть тем, чем она, по существу, и была.

Несмотря на неистовую скачку, Митя говорил без умолку — сперва про охоту на волков, а потом про какую-то красавицу казачку, чьей благосклонности он добивался, но был отвергнут.

— Там вон живет она, в железнодорожной будке... — Митя показал кнутовищем какую-то точку, белеющую на черте горизонта. — Хочешь, заедем?

— Нет уж, уволь ради бога! — поспешно попросил Сергей.

— Эх, Сережка... — подумав, начал Митя и, глубоко вздохнув, замолчал.

Недаром Сергея так потянуло на «землю отцов». В самом имени «Знаменское» всегда оживал для него образ деда Аркадия.

Едва соскочив с пролетки, он пошел по дому искать дедов кабинет. Со стола из овальной рамки глянули на него, как живые, темные глаза сестры.

Позднее, уже после захода солнца, расчищенная дорожка через густые заросли сирени привела его к белому мраморному кресту за чугунной оградой.

Месяц зашел за облако. Внизу под горой золоченым серпом блестела Матыра. За рекой пели девушки. На мосту невнятный гуркот подков. Гнали табун в ночное.

В замешательстве, с гневом глядел он на коврики незабудок, на белый крест, который, как казалось ему, отнял у него последнюю опору в жизни и навсегда преградил дорогу к счастью. Томящая боль жгла сердце. Если бы Лена осталась с ним, вся судьба его сложилась бы иначе... Шумели деревья.

Он пробыл в Знаменском три дня.

Когда вернулись в Ивановку, на крыльце встретила их Верочка с матерью, Сергей поздоровался рассеянно и даже не взглянул на новую вышитую шелками кофточку, надетую в честь его возвращения.

Не раз позднее с горечью и тайным стыдом он вспоминал эту минуту.

Вечерами, не зажигая лампы перед отходом ко сну, Сергей глядел в синий лунный сад за окном.

Что же дальше?..

Но чувство душевной полноты говорило ему, что вот-вот, с минуты на минуту, ему откроется еще небывалое.

Оно его не обмануло...

Зачинщиком и на этот раз оказался неожиданно приехавший Митя. Сразу же после обеда заложили коляску и беговые дрожки и поехали в Моздочек, опрометчиво взяв с собой Никулыгу, четырехлетнего братишку сестер Скалон. Дробный стук подков по гладкой и пыльной дороге, легкий веретенный треск колес. В колеи под обод ложились васильки, лиловый куколь и желтая сурепка. Мелкие кузнечики сыпались вслед сухим дождем с тяжелых колосьев.

Лохматый пес, сидевший на меже, залаял. Молодая жница в подоткнутой паневе, заслонив лицо вышитым рукавом сорочки, долго глядела вслед убегающим коляскам.

В Моздочке рассыпались по оврагу. Весь южный склон пестрел цветами. Невозможно было понять, каким чудом уцелел этот зеленый оазис среди выгоревшей степи.

Никулька, загорелый, голубоглазый, в каштановых кудрях и матросской рубашечке, заливался смехом, приседая, хватая обеими руками стебли ромашек и голубые звездочки цикория.

И мало-помалу зеленый, согретый тихим предвечерним солнцем овраг весь зазвучал от края до края.

Музыка хлынула на Сергея со всех сторон, кружа голову, тесня дыхание, вместе с запахом медовых трав и гудением пчел.

Сергей растерянно улыбался, не зная, за чем протянуть руки, кто позвал его и куда.

Летели по ветру колокольчики невидимого рояля на органном пункте многоголосого незатихающего степного звона.

Кузнечики, цикады, сверчки, тысячи маленьких скачущих скрипачей что есть мочи пилили смычками, а из этой многоголосой кутерьмы вдруг осязаемо начал выплывать напев, тот самый, заветный, что с первых дней лета реял вокруг Сергея неуловимо, дразня и не даваясь в руки. С каждой

минутой он звучал все громче, и напрасны были усилия крылатых и танцующих музыкантов его заглушить, перекрыть.

Сергей улыбался, что-то напевая вполголоса, потом засмеялся и, махнув рукой, пошел по траве, перевитой серебряными струйками ковыля. Шатаясь как пьяный, он спустился немного и сел на краю косогора, забросив фуражку в траву, обняв руками колени.

Первой опомнилась Тата.

— Никулька, ты совсем спишь!..

Никулька, которого вела за руку Верочка, вяло качал головой, глядя куда-то мимо.

Когда выбрались на косогор к лошадям, мирно щипавшим траву, упали сумерки. Круглая, как медный таз, луна повисла над степью. Плыли кудрявые фиолетовые облачка.

Верочка, обняв Никульку и не спросив ничего согласия, села на беговые дрожки.

Сергей поправил сбрую, потом, осторожно переложив вожжи, сел позади Верочки. Все, смеясь, закричали что-то, хлопая в ладоши. Засвистал ветер в ушах, и понеслась серо-лиловая лента дороги. «Пить-попить», — просили перепела во ржи. Попискивали суслики, вышедшие на ночную охоту.

Невысокая полевая луна летела над горизонтом, не отставая. В пустынных сероватых полях занимался слабый серебристый дымок. Далеко в стороне от дороги рдело пламя костра. Мальчики, сторожа лошадей, жгли полынь. Ветер пузырем надувал белую рубашку на спине у Сергея. Волосы Верочки, легкие и рассыпчатые, щекотали его лицо.

Вдруг он слегка наклонился вперед. Она не увидела, а скорее почувствовала его улыбку.

— Ах, с какой радостью, — сказал он полушепотом, — я увез бы так мою Психопатушку на край света, в тридевятое царство!

Ей показалось, что сердце на минуту совсем остановилось, потом враз забило, застучало.

Он услышал этот стук, но не проронил более ни слова.

Ее плечи касались Сережиной груди. Никулька, убаюканный скачкой, спал безмятежно на руках у сестры, крепко прижав к себе охапку вянущих цветов.

Что-то затемнелось впереди. Вороной насторожил уши. Вдруг табун кобылиц ринулся вскачь, прочь от дороги, развевая по ветру косматые черные гривы.

Тридевятое царство... Где оно? Там, за степью, откуда летит им

навстречу этот «светозарный бог», озаряя ночь зеленоватым светом?..

Когда он проснулся на другой день, серый, чуть видный рассвет еще слабо сочился сквозь темные чащи сада за окном. Счастье стучалось в его сердце, и этот стук, буйный, неукротимый, звучал в полумраке спальни, отгоняя сон. Комната полна была музыки. Наконец-то! Зажмурив глаза, он видел перед собой партитуру своего долгожданного «анданте» до последнего нотного знака так ясно, словно оно было уже записано. Но не только музыка, было еще что-то другое, новое, неизъяснимое, огромное, что немислимо было записать ни в каком ключе. Этой ночью он словно наново родился: стал чище, умнее, добрее, искреннее, чем был еще вчера. Но разве может быть два счастья зараз?.. Нет, не два! Он не знал, где кончается одно и начинается другое. В напеве скрипок и альтов, в звончатых колокольчиках рояля звучал ему нежный, застенчивый голос подруги, и, закрывая ладонями лицо, он тихо смеялся от радости. Но Скрыть ее от людей оказалось так же трудно, как и горе.

Верочка не «утаила от сестер того, что было у нее на душе, и встретила от них больше тепла и ласки, чем ожидала. Какими смешными миг стали все ее переживания, ее глупая ревность к Ундине Дмитриевне.

На людях Сергей нередко просто не замечал ее, иногда дразнил, как Володю или Соню. Позабыв безмолвный уговор, Верочка обижалась. Но, встретившись с глазу на глаз, они так волновались оба, что порой не знали, с чего начать разговор.

Иногда через окошко к нему в комнату воровским движением протягивалась тонкая рука с чернильным пятнышком на мизинце и пригоршней крупной садовой земляники.

Сергей вскакивал, ронял на пол карандаш и начинал кланяться причитая:

— Спасибо вам, Беленькая! Не забыли, уважили старика. Вы хорошая, добрая...

За окном раздавался смешок, и шершавые ягоды сыпались ему на ладонь.

Луна пошла на ущерб. Вечера сделались темнее. В этом тоже была своя прелесть. В густеющем сумраке слабо белели звезды табака, сонно булькая, что-то бормотал фонтан, и рука Верочки, тихая и покорная, лежала на ладони у Сергея.

Но недаром Тата говорила, что у Веры Павловны глаза, как у кошки, видят в потемках. Подглядела-таки и с нескрываемым злорадством доложила матери.

Гроза казалась неминуемой. Но на другое утро неожиданно, по пути с кавказских вод, приехал генерал Дмитрий Антонович Скалон.

Был он невысок ростом, немногословен, с небольшой светлой бородкой и спокойными усталыми глазами.

Жена в первый же час выложила ему свои серьезные опасения. Нужно принять меры!

Выслушав до конца, генерал улыбнулся.

— Все это вздор, душа моя. Ты, что ль, не была молода?..

Сереньким утром судьба свела две души на дорожке молодого парка. Пошли куда глаза глядят, раскачивая взад и вперед переплетенные пальцами руки.

Без умолку свистала иволга.

— Кукушки больше нет, — вздохнула Верочка и, повысив голос, добавила: — А ты, милая желтая птица, скажи: сколько лет еще мне жить на свете. Только гляди — не соври!..

Иволга свистала, не переводя дыхания, но вдруг умолкла.

— Двадцать, — сосчитала Верочка и со вздохом добавила: — Как долго!

Сергей рассердился.

— Вы будете жить, покуда не умру я, — твердо заявил он. — Иволга дура! А я намерен прожить сто один год.

Слушая игру Сергея, Верочка думала: почему он совсем другой за фортепьяно? Играет всегда, не поднимая глаз. От опущенных ресниц бегут изменчивые тени. Бледность просвечивает даже сквозь загар. А какой скрытный! Что таит? О чем думает?..

Большая, щедрая душа, отзывчивая к чужому горю, болезненно уязвима, не выносит холода и малейшего небрежения. Совсем недавно на прогулке в поле с Сергея ветром сорвало фуражку. Пока он искал ее во ржи, Сашок с озорным свистом ударил по лошади и ускакал. Все засмеялись, но лицо у Сергея в эту минуту сделалось детское и совсем несчастное.

А вот сейчас — фантазия Шумана, властные, могучие октавы...

В покосившемся книжном шкафу он нашел растрепанный томик Фета. Перелистывая сперва рассеянно, он мало-помалу забыл окружающее.

Какие ноктюрны!.. Вот... Он невольно улыбнулся.

...Подкрался, быть может, и смотрит в окно,

Увидит мать — догадается.

Нет, верно, у старого клена давно

Стоит в тени, дожидается...

Он положил закладку — кленовый листок. А вот еще... «В молчаньи ночи тайной». Как мог он забыть! Романс написан еще прошлым летом.

Написан? Вздор! Разве мог он написать его до того, как встретил Брикушу!

В саду было темно. Веранда светилась, как широкий фонарь, роняя отблеск на цветы. Из окон кабинета лился мерно колышущийся напев «Фингаловой пещеры». Светили звезды.

Елизавета Александровна под руку с мужем проследовала в дом. Через минуту из дальних комнат раздался веселый раскатистый голос тетушки Варвары.

Сергей не расслышал ни шороха, ни скрипа. Чья-то ладонь легла ему на плечо, теплые губы на мгновение коснулись его виска. Он услышал запах ее волос, и все пропало. Протянутые руки встретили пустоту.

«Спокойной ночи!» — прошелестело из мрака.

«Спокойной?..» О нет! Пришел его час до рассвета бродить по саду, допьяна напоенному степною росой.

...Шептать и поправлять былые выраженья
Речей моих с тобой, исполненных смущенья,
И в опьянении, наперекор уму,
Заветным именем будить ночную тьму.

В начале августа прокатились степные грозы. После них опять настала сушь, но уже совсем иная.

Острее запахло горьковатыми флоксами и вербеной. Вечерами над степью матовой рекой серебрился Млечный Путь.

Возле пруда стоял огромный омет прошлогодней соломы. Взобраться на него было мудрено. Солома скользила и проваливалась под коленями. Но зато сверху озеро казалось широкой вогнутой чашей. В небе ряли ласточки. Кругами плыл вечерний звон.

Было и весело и грустно перед разлукой. Через неделю Сергей уезжал в Москву. Каждый знал, что это лето, эта встреча в Ивановке не на один

год. Надолго переплелись их руки!

— Будете писать, Сережа? — допытывалась Тата.

— Буду, конечно! — И тут же припомнил нечаянно подслушанный накануне разговор у балкона: «Запомни себе, Вера, раз и навсегда: никаких писем и записочек! Поняла? Чтобы я не слышала ни о чем подобном».

Вечером девочка со слезами рассказала о своем горе Тате.

— Полно, девочка! — утешала ее сестра. — А мы-то с Лелей у тебя на что? Мне-то уж никто не запретит писать, кому захочу. Ну же, засмейся, глупыш!

Допоздна в тот вечер два музыканта ходили взад и вперед в темноте по площадке мимо фонтана, толкуя о консерваторских делах.

Зилоти был озадачен. В письмах, полученных утром, шла речь о каких-то еще непонятных интригах, о закулисной возне вокруг нового директора Сафонова. В темноте светился круглый фарфоровый абажур на веранде. Сестры что-то читали, склонясь над столом.

На рассвете Сергею показалось, что кто-то у его изголовья еле слышно напел тему главной партии его концерта. Но едва он протянул за ней руки, как она исчезла. Подумав немного, он оделся и вышел в гостиную.

В доме царил серо-зеленый полусвет. Полный месяц, склонясь к закату, посеребрил спинки кресел, покрытых чехлами. Закурив, он медленно пошел через парк к пруду. Не дается ему это аллегро! Так и суждено уехать, не найдя его! Оно кажется темным ночным полем, где бродит таинственный и неуловимый месячный свет.

Серебристый пар струится по воде нетронутой рябью. Чу! Засвиристела ранняя пичуга. Далеко позади скрипнула дверь конюшни.

Вдруг Сергей насторожился, повернул голову к ветру. Опять... Не то песня, не то стон. Кажется, стонет сама земля под бременем непосильной ноши.

Митя говорил ему однажды, что на Тамбовщине поденщицы в поле, не кончив урока, работают ночами при месяце и поют. Холод прошел по спине Сергея. Вдруг ему пришло в голову, что Ивановка, где они жили, смеялись, дурачились и любили, только крохотный зеленый островок в бескрайнем море, которое ни обнять, ни смерить оком. Оно живет совсем иной, своей неведомой жизнью...

С утра шел небольшой дождь. В Ивановке во всех углах и верандах писали письма. Варвара Аркадьевна обещала послать на станцию к вечернему поезду Петрушку. Но после обеда Сергей сам вызвался поехать.

Заложили беговые дрожки. Хозяин дома «для шика» дал еще пристяжную.

Когда солнце село, на горизонте силуэтом показалась станция Ржакса. Сергей пустил лошадей шагом. До поезда больше сорока минут.

Но вот маяком в степи забелела водокачка. Расступились станционные, из желтого кирпича, постройки, чахлые акации. Против крыльца на мощенной булыжником площадке у коновязей рассыпана солома, кого-то дожидаются подводы. Мужики в рваных коричневых армяках курят махорку.

На платформе ни души. На запасном пути два порожних вагона. Гудят унизанные ласточками провода.

Прошло еще полчаса, прежде чем разлился по степи глухой рокочущий шум, замигал вдалеке огонек поезда.

А когда Сергей проводил его глазами, луна поднялась выше и в поле запели сверчки.

Выехав на перекресток, придержал лошадей. Через Выселки чуть подальше... Э, да полно, ночь-то какая! И тронул по большаку. Большак бежал сперва вдоль полотна, огороженного низким ельничком.

Скоро впереди при лунном свете забелела путевая будка. Над крышей нависла темная купа деревьев. Журавль шлагбаума был опущен. В окнах темно. Черная тень от лопухов падала на дорогу. Сергей крикнул. Немного погодя на крыльцо выглянула девочка в длинном сарафане. Через минуту вышла черноволосая женщина.

Поглядела, потом не спеша подняла один журавль, пошла к другому. Девочка, семена, последовала за матерью и прильнула к ней.

Сергей тронул шагом. Обод колеса стукнул о рельсы. Поравнявшись, остановил лошадей.

— Спасибо... — начал он и вдруг осекся.

Луна светила ей прямо в лицо, в глаза, горячие, допытливые и почти грозные. Тяжелые косы под небрежно накинутым цветным платком. Ярко-белые рукава вышитой сорочки.

«Наверное, казачка из хохлов», — подумал Сергей и вдруг, что-то вспомнив, невольно вздрогнул.

Она заметила и, разглядев Сергея, улыбнулась медленной улыбкой.

— Что смотришь-то... барин? — спросила она с запинкой. (Барчуком назвать совестно: больно долгий!)

Сергей смутился ужасно, но не подал виду.

— Смотрю, — сказал он, осторожно переводя дыхание. — Может, раз в жизни увидишь такое... Что же ты, одна живешь тут, в степи?

— Одна, — ответила она низким певучим голосом. — Вот с дочкой. —

И, помолчав, добавила: — Житье наше известное!.. Солдатка я.

«А дочка белоголовая», — подумал Сергей.

— Дай руку, — сказал он девочке и высыпал на темную ладонь горсть леденцов, которые Верочка сунула ему в карман на дорогу.

Солдатка тихо засмеялась.

— Может, передохнуть охота? Самоварчик поставлю...

— Нет, спасибо. Поздно уже, — пробормотал он, все более смущаясь.

— Час добрый! — спокойно сказала она.

Дрожки покатались.

Отъехав немного, Сергей не утерпел, оглянулся. Женщина неподвижно стояла подле журавля, глядя ему вслед.

— Чур меня, чур! — прошептал он, засмеялся и на минуту зажмурил глаза.

Ветер свистал в ушах. Ночь словно пробудилась. Невнятный шелест пробежал по полю. Когда он доехал до косяковской березовой рощи, вдруг впервые за все лето главная тема сонатного аллегро зазвучала в полный голос лунной ночной степью, необъятной далью, дыханием земли, глазами казачки.

Повеяло в лицо что-то давно знакомое, близкое, родное...

Хотелось, закрыв глаза, протянуть ему руки, и пусть ведет, куда захочет!

Глава пятая «НОЧЕВАЛА ТУЧКА ЗОЛОТАЯ»

1

«Давно порываюсь написать Вам, хорошие, дорогие генеральши, и откладываю за неимением времени.

Почему-то мне кажется, что Вы стали ко мне гораздо холоднее, что Ваши петербургские бароны начинают вытеснять из Вашей памяти воспоминания о бедном странствующем музыканте...

Сергей Рахманинов.

Москва, декабрь 1890 года»

Жили сестры с родителями в Петербурге в одном из величавых и, наверно, чопорных корпусов конногвардейских казарм. Отсюда и прозвище «Конная гвардия», придуманное сестрам музыкантом.

Едва ли не с первой же встречи они совсем по-сестрински приняли Сережу таким, каков он был. За что-то они полюбили его, и не на шутку, мимоходом, а как будто бы на всю жизнь.

Только он и по сей день еще не решался поверить этой любви до конца, искал в письмах затаенного между строк пренебрежения к дальнему и бедному родственнику, признаков сердечной «остуды».

Как ни странно, теперь на своем чердачке у Сатиных Сергей был душевно более одинок, чем когда-то у Зверева.

Весь день трудился, вечерами же чаще уходил.

Сами собой почему-то кончились веселые «посиделки» у фортепьяно. Из числа домашних только трое его навещали: горничная Сатиных Марина — по долгу службы, его кузина Наташа Сатина, худенькая смуглая пятнадцатилетняя гимназистка — тайком от матери, которой эти посещения не очень нравились, и толстый, очень вежливый, но двуличный кот Ерофеич — «в рассуждении чего-нибудь съестного».

Комната давным-давно вымерена шагами хозяина вдоль и поперек — пять в ширину и семь в длину. Прокатное фортепьяно, в углу — тощий фикус, на стене картина, до того почерневшая, что, по словам Сергея, трудно было понять, что на ней: извержение Везувия или же боярская свадьба.

Смеркается. Полукруглое окошко подернуто инеем. Все же видно, как ветер качает голые ветки. Вокруг кладбищенской колокольни с криками носится воронье.

Слышно, как внизу, в столовой, Наташа твердит упрямо один и тот же хроматический этюд Черни.

«В последнем своем письме Вера Дмитриевна мне пишет, что Вы едете 26-го на «Пиковую даму». Не говорю наверно, но все-таки очень может быть, что я на этом представлении буду; а если буду, то значит рискну войти в ложу к генеральшам Скалон, чтобы напомнить о своем существовании... Вы только не огорчайтесь, дорогая Тата-ба! Успокойтесь! Больше пяти минут сидеть у Вас не буду, потому что очень хорошо знаю, что надоедать неприлично...»

Сергей поморщился. Он может юродствовать и притворяться перед кем угодно, но только не перед сестрами.

Как же закончить письмо?..

На фортепьяно лежали рукописные ноты «Ночь — песня разочарованного» на слова Ратгауза. Перебросив страничку, он прочитал:

О, как я жить хочу,
Как сердце просит света,
Возврата пылких грез,
Несбывшейся мечты!
Скажи, как возвратить
Умчавшееся лето,
Скажи, как оживить
Увядшие цветы?..
Скажи...

«Скажи...» Но зачем он написал про «Пиковую даму»? Ведь это утопия!

Стипендию давным-давно поглотили непредвиденные траты. Друзья консерваторские, такие, как Миша Слонов, вели рассеянный образ жизни и близкое знакомство с ссудными кассами. О том же, чтобы обратиться к своим, он не мог и подумать.

За окошком на дереве появилась растрепанная старая ворона. Балансируя на кривом суку, она вертела хвостом и таращила на Сережу любопытные желтые глаза.

— Ну как же! — пробормотал Сергей, сунув руки в карманы.

— Ка-ак же! — передразнила ворона, издевательски ныряя головой и злорадно каркая во все горло.

— Ты черт! — сказал он и повернулся к окошку спиной.

В эту минуту скрипнула лестница. Дробным стуком застучала Марина.

— К вам, Сережа!

И через порог переступила жалкая фигура, какую можно вообразить себе в роли рождественского волхва. Плюгавый человечиска в красной фуражке посыльного, повязанный рваным башлыком.

Шмыгая озябшим носом, он вручил Сереже штемпельный конверт с грифом издательства Гутхейль. Заведующий конторой просил зайти завтра не позже девяти утра по делу, не терпящему отлагательства.

Получив на чай, волхв откланялся, оставив на коврике мокрые следы обтаявших башмаков.

Наутро, ежась от холода в подбитом ветром пальтишке, Сергей пошел на Кузнецкий.

А в полдень, как хмельной, еще не веря своему счастью, шагал по улице у Китайгородской стены. В кармане у него шелестел

пятидесятирублевый казначейский билет — гонорар за четыре романа. Он ждал его никак не раньше конца января.

Он едет, едет! Сегодня же!..

Ворона, ты соврала!

Солнце глядело сквозь туман. Вдоль по Ильинке колыхалась, чернела толпа. Над зубцами белых приземистых башен тучами, заслоняя свет, взлетали галки.

В воздухе зажигались и гасли снежные искры. Сухая изморозь белила ресницы.

Шел бойкий предпраздничный торг. В окнах лавок горели разукрашенные елки. От гомона, трещоток, писка раскрашенных надувных пузырей, криков лоточников и морозного скрипа шагов кружилась голова. Из дверей чайных валил пар, вырывался гнусавый, с присвистом рев трактирной машины — органа. С гиканьем «Эй, поберегись!», бряцая сбруей и заносая на ухабах, пролетали расписные купеческие сани.

Москва встречала святки.

Шло двадцать третье декабря.

2

Поезд уходил в семь.

Однако еще в пятом часу Сергей под благовидным предлогом собрался на вокзал. За этим скрывалось желание поскорее оторваться от Москвы.

Выряжали в дорогу Сережу только Марина и, конечно, кот Ерофеич.

Марина довольно придирчиво пересмотрела его гардероб, даже подштопала что-то, на ходу перекусив нитку крепкими белыми зубами. Потом, бросив на плечи цветной платок, вышла вслед за ним, притопывая каблуками, на скрипучее от мороза крыльцо.

К вечеру нахмурилось. Небо над крышами висело глухое, черное. Гудели телеграфные провода. Срывался мелкий снег.

А в зале первого класса было людно, тепло. Говор, звон посуды, скрип тяжелых стульев, передвигаемых по шахматному изразцовому полу, хлопанье пробок. В дальнем углу он нашел свободное место. За столиком одиноко сидела девушка в черном.

За соседним столом два пассажира вели между собой негромкий разговор.

Старик, в дорогой шубе, с кудрявой седеющей бородой, щурил на собеседника колючие умные глаза из-под косматых бровей.

Его попутчик, намного моложе, мог быть учителем или земским врачом. Сергей словно видел уже когда-то это простое русское лицо со следами южного загара, чистый широкий лоб, синие смеющиеся глаза, слышал ровный глуховатый голос.

Немного погодя к проезжим подошел толстый усатый носильщик в белом переднике, подобострастно наклонясь, прошептал что-то на ухо старику и взял стоявшие рядом чемоданы.

Пассажиры засмеялись. Старик поманил официанта, расплатился и бросил щедрый «на чай». Они встали и не спеша направились вслед за носильщиком.

Тут Сергей впервые взглянул на девушку. Затаив дыхание она глядела вслед уходящим. Глаза у нее были необыкновенно черные. Маленькая шапочка с поднятой вуалеткой, такая же муфта на шнурке. Встретясь глазами с Сергеем, девушка немного смутилась и опустила ресницы.

«Вот она, эта черноглазая путешественница, наверняка знает, кто это был! Но разве у нее спросишь так, вдруг?..»

Сергей вышел на платформу. Сквозной ветер жег лицо. По каменным плитам ползла и струилась поземка.

Кондуктора в долгополых тулупах ходили вдоль вагонов с фонарями. А в вагонах было людно и очень жарко от чугунной печки, раскаленной березовыми дровами.

Осторожно обходя чьи-то пожитки, он направился в конец вагона, подальше от печки и единственного фонаря с криво поставленной толстой свечой, и, к своей радости, нашел свободное местечко в густой тени подле окошка.

И вдруг словно его осенило. Да ведь это же Чехов был... Чехов!.. Сергей даже засмеялся от радости. Чехов. Перед глазами мелькнули газетные строчки о поездке писателя на Сахалин. Объехав чуть ли не полмира, он в начале декабря вернулся в Москву. Чехов...

Кто-то, проходя, задел его холодной шубой. Подняв глаза, он увидел старого кондуктора.

— Вот разве что только тут, барышня... — сказал он, приняв со скамьи напротив железный сундучок.

Поблагодарив кондуктора, она села, не проронив ни слова, и поставила дорожный саквояж на край скамейки.

Еще очень не скоро в голове поезда простуженным голосом закричал паровоз. Вагоны долго скрипели, прежде чем тронуться в долгий путь. Свет газового рожка медленно, играя лучами, прошел за окошком, озарив на минуту лицо девушки и глаза ее, широко раскрытые в темноту.

Попутчица у музыканта оказалась несловоохотливой. И к лучшему! Он недолюбливал докучливые дорожные разговоры. Прислонясь головой к висящему на крюке пальто, Сергей закрыл глаза.

Совсем недавно в пожелтелом номере «Нового времени» он нашел уже давнишний чеховский рассказ «На пути» с эпиграфом из Лермонтова:

Ночевала тучка золотая
На груди утеса-великана...

В рассказе не было отчетливо выраженного сюжета, но было нечто неизмеримо большее: музыка, глубокий сердечный напев.

Отдельные строчки так врезались в память, что Сергей часто твердил их наизусть.

Прошел час, другой. Огни Москвы давно пропали в потемках. Сквозь мерный, неторопливый «в три счета» стук колес было слышно, как шуршал сухой снег по крыше.

Чарующая, величавая музыка ширилась, росла; и минутами Сергею казалось, что он уже не в вагоне, а бог знает где — в каких-то Рогачах, в проезжей грязноватого трактира, куда загнала ночная непогода бездомного горького неудачника Лихарева и богатую, избалованную жизнью барышню Иловайскую. В ночном разговоре у камелька раскрылась ей красота пропащей, но все еще живой русской души, испытавшей и нищету, и горький суд совести, и подвиг любви, и мученичество, и всепрощение...

Какова была она, эта барышня Иловайская?

Может быть, такая, как эта юная полуночица, что сидит напротив без сна, глядя в потемки своими «непроглядными» глазами.

О чем она думает?

Перебирая в памяти пряжу чеховского рассказа, Сергей видел, что в нем все есть: мелодия, тональность, гармония и даже оркестровка.

Нужно суметь «взять» ее...

В начале двенадцатого приехали в Тверь. Духота сделалась нестерпимой. Сережа оделся и вышел из вагона. На резком морозном ветру закружилась голова.

Высокие окна вокзала бросали полосы света на платформу. Поравнявшись с вагоном первого класса, Сергей услышал знакомый уже

горловой сипловатый голос. Пассажир в дорогой шубе поманил проходившего мимо кондуктора.

— Вот что, сдай-ка, братец, эту телеграмму. Потом зайдешь ко мне в вагон. Понял? Спросишь Су Б эрина.

— Слушаю-с! — приложив рукавицу к козырьку, кондуктор почтительно принял заказ и зашагал по платформе.

— Пойдемте, Антон Павлович! — сказал пассажир, взяв под руку спутника.

Смутившись, Сергей быстро прошел мимо.

Неожиданно грубый окрик «Сторонись!» заставил его отшатнуться.

У подножки тюремного вагона шагал взад и вперед повязанный башлыком конвойный солдат. Тяжелая шашка на ходу била его по ногам.

Поодаль старик в ветхой, облезлой шубе задыхающейся скороговоркой просил о чем-то щеголеватого жандармского офицера в сдвинутой на лоб круглой барашковой шапке.

Офицер слушал его, опустив глаза. Потом сунул за обшлаг шинели какую-то бумагу и медленно пошел в сторону вокзала.

— Ваше высокородие!.. — воскликнул старик в отчаянии, семеня вслед за ним по скользкой платформе. Голос его сорвался. Ветер ерошил жидкие волосы.

У Сергея вдруг глухо и тяжело забило сердце. Он повернулся и без цели пошел против ветра в дальний конец платформы.

В голове поезда мерно пыхтел приземистый паровоз с широкой трубой.

Черный человек со смоляным факелом возился подле больших с алыми спицами колес. Керосиновый фонарь шагов на двадцать освещал расчищенные от снега рельсы. Дальше среди сугробов глядели подслеповатые глаза стрелок. А там, за ними, — непроглядная снежная ночь. Россия...

Шевельнулась еще неясная мысль о том, что у них отныне одна судьба и одна дорога. И если он хочет стать художником, он не сможет, не посмеет дальше жить только своим.

Вьюга заметает тропы, в потемках от страха звонят колокола, в отчаянных снежных полях крутится ветер, вагоны с решетчатыми окнами катятся из ночи в ночь, а Лихаревы бродят без угла и пристанища, и негде им голову приклонить.

Свеча в фонаре оплыла и грозила погаснуть. Только в открытой печурке еще рдел березовый жар. Мужик в рваном тулупе и сдвинутой на лоб шапке неподвижными злыми глазами глядел на огонь. В пустой

темноте шла какая-то возня, слышался сиплый плач ребенка и убаюкивающие причитания матери. Порой разгорался огонек самокрутки, освещал чей-то толстый нос и лохматые усы. Здесь и там звучал грубый смех и хриплый, надтреснутый кашель.

Девушка неподвижно сидела в своем углу.

Он скорее почувствовал, чем увидел ее блеснувшие в темноте глаза.

Давеча, у Китайгородской стены, он совсем по-мальчишески радовался неожиданной удаче, близкому празднику. Мир казался простым, ясным, праздничным. И вот сейчас он вдруг начал оборачиваться к Сергею какой-то новой, незнакомой стороной. Между всем тем, что он видел, слышал и передумал за последние часы в дороге, была какая-то тайная, внутренняя связь. Он еще не понимал ее, и это его мучило.

Но вот опять застучали колеса. Музыка вернулась в душный, насквозь прокуренный вагон, набитый измученными людьми.

И вдруг он понял, что «мелодией» чеховского «На пути» была бесконечная жалость к человеку в его одиночестве, беззащитности и горькой нищете.

Сквозь непобедимую дремоту он с болью слышал горький детский плач и не знал, где это было: «там» или наяву.

Сергей вздрогнул и широко открыл глаза. Светало. В вагоне сделалось холодно. Все тело сводила ломота. Скамейка напротив была пуста.

Вошел старый, весь заметенный снегом кондуктор и, вздыхая, начал заправлять закопченный фонарь. Свеча замигала розовым светом, и еще ярче показалось окошко, налитое густой синевой зимнего утра. В вагоне было тихо.

«Ушла», — подумал Сергей, оглянувшись.

Поезд стоял на маленькой станции среди старых елей в зимнем уборе. За стенкой вагона глухо перекликались голоса невыспавшихся людей.

Вот еле слышно, тонко прозвонил третий звонок. Поезд нехотя тронулся.

Тут в последний раз он увидел девушку в черном. Она стояла на платформе, провожая глазами бегущие вагоны. Потом повернулась и пошла через калитку возле станционной водопроводной трубы по тропинке, прорытой среди глубоких сугробов.

«Ночевала тучка золотая...» — вспомнил Сережа и улыбнулся ей вслед.

Его никто не встречал. Да и встречать было некому. Никто ведь не знал ни дня, ни часа его приезда.

От крика ли извозчиков, от вагонной духоты или от резкого, пахнущего дымком колючего морозного полдня немного кружилась голова.

Ночь, глухая и беспокойная, похожая на сон, не осталась там, в душном прокуренном вагоне, все еще следовала за ним по пятам, и, стоило на минуту сомкнуться усталым глазам, она вновь овладевала его душой. Тогда все, что он видел вокруг в тонком голубом дыму — вереницы зданий, дворцовых решеток, одетых в серебро скверов, казалось ему только волшебной праздничной декорацией, за которой прячется совсем иное.

Вот и Казанская, и знакомый подъезд, и лестничные перила, по которым в былые годы Сергей привык съезжать, лихо закинув на плечи полы пальтишка.

У Трубниковых его ждала шумная встреча. Впрочем, дома он застал только маленькую Нюсю и няньку Теофилу.

Нюся тотчас же доложила, что папа с Олей уехали к бабушке в Знаменское, а мама в городе и вскоре вернется.

На столе вмиг появилась золотисто-смуглая копченая рыба, пироги с вязигой, маринованные рыжики и графинчик не то со святой, не то с грешной водой.

В прихожей зазвенел колокольчик. Раскрасневшаяся с морозу Мария Аркадьевна, подняв вуалетку, только всплеснула руками. А нянька уже тащила в гостиную ворох подушек: «Чай, с поезда этого, бог с ним совсем, в голове ревет...»

— Ревет, нянечка, ревет, — поддакивал Сергей, разглядывая смеющуюся тетю Машу.

В гостиной, как и прежде, блестел навощенный паркет, морозная парча на окнах искрилась серебряным остролистым узором. В углу стояла кудрявая, еще не убранная елка. От нее пахло смолой и талым снежком.

Он слышал каждый шорох в доме: далекий скрип кухонной двери, и голосок Нюси, и шутиливую перебранку Марии Аркадьевны с глуховатой нянькой Теофилой, ленивый стук маятника в прихожей и треск уголька, выскочившего из печи.

Он подумал о том, что тут совсем рукой подать «Конная гвардия», и сердце забилось, перегоняя сонную стукотню маятника.

Но вот сильнее запахло еловой хвоей, над ухом, лукаво зазывая, запел

английский рожок, из угла, из-за елки, откликнулась виолончель. Сухой снег зашелестел по крыше вагона. В темноте рядом разгорелся огонек папиросы.

— Так-то вот, сударь мой, — негромким басом, покашливая, заговорил доктор Антон Павлович. — Если вы, как художник, и дальше останетесь жить в вашей раковине, вам нечего будет рассказать людям. Нужно оглянуться по сторонам и подумать, вот хотя бы... о ней...

Он покосился на девушку, которая, сжав переплетенные пальцы, глядела в окошко.

— Хотя бы о ней, — понизив голос, повторил доктор, — чем она жива, о чем молчит и думает бессонными ночами...

— Но кто же, кто она? — взволновался Сережа и вдруг открыл глаза.

Розовый отблеск зимнего солнца лежал на обоях.

Ах, какой вздор!.. Он не проспал и четверти часа... Еще только начало третьего.

И впоследствии он никогда не мог понять, что в нем, человеке застенчивом и довольно нелюдимом, с такой неотразимой силой притягивало детские сердца. С минуты его приезда Нюся не сводила с него очарованных глаз. Девочка была веселое и ласковое, но ужасно настойчивое дитя.

Уже в четвертом часу, когда была убрана елка, Сережа выпросил Нюсю у матери на один час с клятвенным обещанием вернуться к ужину до первой звезды.

Дойдя до ближайшего перекрестка, они наняли белобородого лихача на восьмом десятке. Жеребцу неопределенной масти было чуть поменьше.

Солнце уже не светило. Разом с сумерками садился густой морозный туман. В тумане огромные здания как бы теряли свою весомость, словно дворцы Снежной королевы. Все было призрачное и седое — ветви деревьев, столбы и решетки оград, шапки и бороды прохожих, ротонды и муфты дам. Фонари, окна витрин, разукрашенные елки светились в густеющих сумерках волшебным опаловым светом.

Нюся своими вопросами поминутно ставила музыканта в тупик. К счастью, он припомнил со слов Зилоти либретто сказки-балета, над которым работал Чайковский, и очень хитро повел речь о девочке Маше и прекрасном принце, которого злая фея обратила в зубастого уродца — щелкуна.

На углу Садовой Сергей и Нюся буквально «наехали» на витрину игрушечной лавки.

— Вот он! — вдруг закричала Нюся тонким отчаянным голосом.



Любовь Петровна Рахманинова (в девичестве — Бутакова).

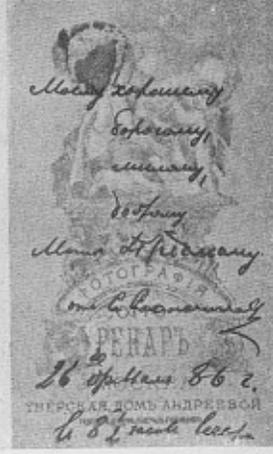


Василий Аркадьевич Рахманинов.



Бабушка — Бутакова
Софья Александровна.

С. В. Рахманинов,
1885—1886 гг. Фото-
графия с дарственной
надписью М. Л. Прес-
ману.





Рахманинов в группе со Зверевым, Пресманом, Максимовым.

*Елена Васильевна
Рахманинова,
старшая сестра.*



*Рахманинов и
Анна Трубникова,
1894 г.*



Диплом
С. В.
Рахманинова.



С. В. Рахманинов,
1899 г.



Окна глядели в снежные сумерки. Всеми цветами радуги переливались сверкающие елки. Падал тихий снежок и, попадая в лучи света, снежинки зажигались и гасли, как звезды, голубые, фиолетовые, зеленые и алые.

Сергей ничего не разглядел в витрине, но понял, что нужно вылезать из саней.

В дремучем лесу разодетых в атлас кукол, среди зайцев, чертей, арлекинов, верблюдов, китайцев, попугаев, цветных шаров, снегурочек, медведей и раскрашенных бумажных фонарей с помощью веселой продавщицы они нашли того, кого искали. Его красное пучеглазое лицо выражало непреклонную решимость перещелкать все орехи, которые попадутся ему на зуб.

Зимняя ночь с оглядкой выходила из темных, одетых инеем переулков.

Глухо гудела колокольная медь.

Подъезжая к дому, Сергей увидел одинокую женскую фигуру, остановившуюся на тротуаре.

Разумеется, он обознался. А все-таки жаль, что ее нет здесь, его попутчицы. Кто она, эта замкнутая в себе девушка? Что таит она в своем молчании? Ему захотелось увести ее в теплый праздничный дом, увидеть в ее темных не улыбочивых глазах золотые огоньки елочных свечей. Может быть, от их тепла и света оттает ее скованная душа!

Дома застали Любовь Петровну, высокую, очень бледную, в черном платье.

Увидев мать, Сергей почему-то смутился. С мучительной жалостью он взглянул на ее волосы, стриженные осенью после тифа, заглянул в темные и почему-то влажные глаза. Она же, немного покраснев, поцеловала его в висок, задала два-три незначущих вопроса и ушла в себя. Ее молчаливая отчужденность никого не удивляла. Казалось, жизнь ее как бы остановилась в то утро, когда они уехали из Онега. Она, по существу, и не любила его, но ведь после Онега и совсем ничего не было!

Елочные свечи, отгорев, погасли в темной игольчатой гущине. Нюся уходилась от смеха, беготни и треска хлопушек. Покинутый щелкун лежал на спине среди рассыпанной золоченой скорлупы, тараща глаза на погашенную елку. Все устали.

Только лукавый и нежный напев песни Шуберта все еще бродил по комнатам трубниковской квартиры.

Сергей тихонько опустил крышку фортепьяно.

Мария Аркадьевна задумалась. Откуда у этого мальчика, сутулящегося над клавиатурой, такая львиная хватка, такая манера «вводить» в клавиши осторожные белые пальцы!..

Когда Сергей, проводив мать, вернулся, в доме уже спали.

В гостиной пахло елкой и свечным нагаром. Через открытую форточку влетали снежинки. Одна Мария Аркадьевна все еще сидела в кресле, закутавшись до глаз в белый оренбургский платок.

Взглянув на ее легкие волосы, высоко поднятые со лба, на тонкие брови и добрые, всегда озабоченные глаза, Сергей подумал, что из всей большой семьи после бабушки она была, пожалуй, единственным близким ему человеком. Он присел рядом на скамеечку, обитую штофом.

— Скажи мне, только правду... — немного подумав, сказала она. — Как тебе живется там, у Сатиных?

Он ответил не сразу.

— Пожалуй, неплохо. Главное — никто не мешает заниматься, и я как

будто бы никому...

— Только-то! — усмехнулась Мария Аркадьевна. — А я вот думаю, что у нас тебе, пожалуй, было бы теплее...

— Знаю, — тихо проговорил он. — Но... может быть, и не надо, чтобы было очень тепло!..

Тетя Маша тихонько вздохнула.

— Тебе виднее... Ложись, милый! Измаялся...

4

На первый день рождества он не пошел к Скалонам. Желание появиться в театре сюрпризом было слишком велико.

Почти весь день он провел у матери на Фонтанке» в ее крохотной комнатке, заставленной реликвиями Онега, где трудно было повернуться.

День хмурился. А в ушах с неотвязной настойчивостью звучал пушкинский эпиграф: «Пиковая дама означает тайную недоброжелательность...»

Когда он вошел в зал, рампа была освещена.

Поздно!» — подумал он. Понести сейчас владевший им «трепет тайный» в ложу Скалон, где будут посторонние, растерять, растратить его в праздных учтивостях, в пустых разговорах...

Здесь все было не так, как в Москве.

Прежде всего царящий во всем холодноватый гон морской волны, расшитые серебром ливреи седовласых капельдинеров, блеск императорских орлов и радужный свет электрических люстр.

Зал был полон и казался окутанным голубоватой дымкой. По ярусам и галереям тихо веял тот особый, волнующий «театральный» ветерок сложным ароматом духов, старого лака и еще чего-то, чему не придумано название.

Гул оркестра — растревоженного улья — кружил голову, сея в толпе чувство радостной жути.

Просто и неторопливо начал кларнет свой таинственный рассказ о трех картах, о любви и роке.

Что-то грозное неотвратимо тяжелой поступью вошло в нарядный зал.

Еще летом, в Ивановке, Сергей внимательно, глазами музыканта, прочитал партитуру. Но летом ветер из сада лился в широко открытые окна. По комнатам кружился, летал тополевыи пух. И голос подруги звучал ему каждый день и каждый час.

Здесь же со сцены кто-то бросил в лицо Сергею горькие обжигающие слова;

О нет, увы! Она знатна
И мне принадлежать не может.

Германа пел Николай Николаевич Фигнер. И с первой минуты судьба этого подвижного маленького человека в черной венгерке и серебряном парике начала томить и мучить.

Пусть баллада Томского о трех «верных» картах таила иронический смысл. Она блеснула, как молния в тени озаренного солнцем сада, и привела в движение тайные пружины трагедии Германа и графини.

Он шел очень медленно по фойе, держа в руках нераскрытый портсигар. Он не знал, куда он идет, и почти никого не видел, покуда не столкнулся лицом к лицу с длинноногим молодым человеком в вечернем костюме, тоже с портсигаром в руке и застывшим выражением землисто-бледного лица.

Он не сразу даже узнал себя в огромном, до полу зеркале.

«Хорош!» — усмехнулся он и пошел искать семнадцатую ложу бенуара.

Первой, кого он встретил в аванложе, была Тата.

Все колкие и язвительные слова, приготовленные ею для этой встречи, вдруг куда-то пропали. Ну как не простить ему все за одну только его добрую и немного виноватую улыбку!

В ложе, кроме хозяев, было еще трое незнакомых, двое из них — гвардейские офицеры. Старшего, близорукого шатена, отрекомендовали как барона Тимме. («Начинается!» — подумал Сережа.)

Третьим был молодой, среднего роста, белокурый господин в визитке, очень вежливый, любезный, но малоразговорчивый. В нем Сережа без труда признал пресловутого Сергея Петровича Толбузина. В этот вечер он подчеркнуто держался на заднем плане и после третьего акта неожиданно откланялся.

Едва переступив порог, Сергей нашел глазами Верочку. В сиреновом платье с отделкой из дымчатого тюля и длинных, выше локтя, светло-серых лайковых перчатках она была просто неузнаваема.

Легкие волосы взбиты и приподняты на висках, чистый открытый лоб и высокие стрельчатые брови. На тонкой, совсем еще детской шее дрожала и искрилась аметистовая звездочка.

Но глаза, вскинутые на Сережу, потемнели и от радости и от ребяческого гнева.

Поджав губы, тоненьким и очень «светским» голосом она заметила, что Сергей Васильевич по рассеянности, наверное, попал вместо Мариинского в Александринский.

А Сережа, как заколдованный, только глядел на эти прелестные ямочки у нее на щеках, улыбался им, ямочкам, и не знал, что ответить.

Тут его забросали вопросами. Он отвечал невпопад.

Усатый капельдинер принес добавочное кресло.

В зале еще потемнело, и узкая, в тонкой перчатке рука на мгновение коснулась ладони Сережи. Нежным, дурманящим теплом повеяло на него.

А Верочка не сводила глаз с разгорающейся рампы, словно там занималась заря ее краткой жизни.

Когда всемогущий директор императорских театров Всеволожский сам предложил этот странный и несколько зловещий анекдот, рассказанный Пушкиным, в качестве сюжета для новой оперы, он усматривал в нем прежде всего ряд эффектных сценических положений. Он рассчитывал поразить столицу еще неслыханным блеском и роскошью постановки и заодно заслужить похвалу своего августейшего патрона. Едва ли он предполагал, что из этого может получиться...

Ни громы полонеза, ни ослепительный блеск атласных роб, камзолов и париков, ни хоровод увенчанных розами жеманниц, притопывающих красными каблучками, ни сияние екатерининских орлов, ни сладостная кантилена князя не смогли заслонить истинный смысл этого праздника.

В пестром водовороте масок, в буре конфетти незримый и неуловимый кружится призрак трех карт, нашептывая и завлекая. Ни уйти, ни защититься от него Герман уже не в силах.

В картине «Спальня графини» трагедия достигает своего апогея. Все отчаяние, весь напрасный ясар опустошающей страсти вложены Германом — Фигнером в исторгнутые мукой слова: Откройте мне вашу тайну...

И в гневных раскатах медных труб Сергею впервые блеснуло странное сродство темы трех карт с темой Германа, его любви и рока.

Когда зажгли свет, Верочка отвернула заплаканное лицо. Сергею захотелось курить. Он погрузился в толпу, гудящую, как растревоженный

пчельник. Кое-где в этом гудении звучали раздраженные нотки.

— Помилуйте! — кипятился старичок меломан с острой бородкой, протирая очки. — Разве это опера? Где же кантилена, где сладость, колоратура! Сплошное бормотание и истошный крик...

Имя Фигнера было у всех на устах.

— А знаете, — сказал кто-то в толпе, — Фигнер Вера Николаевна, говорят, его родная сестра...

Да, Сережа знал об этом, но сегодня ни разу не вспомнил. И сейчас на звук имени загадочной узницы Шлиссельбурга почему-то откликнулся случайный образ той девушки, что покинула его на рассвете зимнего дня. А впрочем, может быть, эта «загадочная» встреча имеет обыденный и даже прозаический смысл?

Но... когда же и помечтать, как не в семнадцать лет!

Так он шел, занятый своим, совсем позабыв о том, что ему хочется курить.

Как просто было бы видеть в Германе только алчущего безумца! Но разве это ключ от загадки? Сереже вспомнилось странное греческое слово «катарсис» — очищение в страдании и смерти. Он слышал его от Сергея Ивановича и не понял тогда. Может быть, этот страшный, неведомый рок живет не где-то вовне, в надмирном пространстве, а в душе, в жизни, в характере каждого из нас.

И вот он, Чайковский, бесстрашно, не склонив головы, прошел сквозь этот ад.

Хватит ли у него, Сережи, мужества стать таким, как он? Не гнаться, не дать увести себя на окольные пути и твердо? обеими ногами стоять на земле, которая его вспоила.

Ему много дано. Уже явно ощутимым стало движение могучего таланта. Он одарен железной, совсем не юношеской волей к труду. И рядом с этим уживаются редкие, но мучительные пароксизмы отчаяния, преступного неверия в себя и свои силы.

Все равно... Теперь он не сможет остановиться.

Там, вдали, сверкают лебединые крылья еще не написанных песен, которые он понесет людям, России.

Подумать только: всего три дня прошло, как он выехал из Москвы, и как все переменилось и вокруг него и в нем самом! Какой долгий и уже трудный для него путь! Все переплелось; сон с явью, правда с вымыслом, музыка с биением сердца.

Будет ли его, Сережина, жизнь, которая только еще началась, долгой,

как зимняя ночь у окошка, повестью о несбывшихся надеждах и невознагражденных утратах? Или он, подобно Герману, в этом мире, где верна одна только смерть, станет игрушкой жестоких и грозных сил?

(Ах, кто из нас не был Германом на восемнадцатом году!) Ему казалось, что каждый, кто был в этот вечер на «Пиковой даме», узнал о себе самом то, чего не знал раньше. Узнал и Сережа и в то же время что-то потерял безвозвратно.

...Желать и не иметь —
иметь и потерять...

Вот оно, бесценное сокровище, которым только поманила его жизнь; идет вниз по широкой мраморной лестнице» осторожно придерживая пышные оборки платья и низко опустив голову, отягченную затейливой «взрослой» прической. Потерять...

...Так две волны несутся дружной,
Согласной, вольною четой
В пустыне моря голубой.
Их вместе гонит ветер южный,
Но их разделит где-нибудь
Утеса каменная грудь.

Под разъезд на площади повалил густой снег. Из белой мерцающей мглы подъезжали кареты и парные сани. Храп лошадей, скрип полозьев, выкрики кучеров.

В лучах уличных фонарей все роилось, сверкало. С подъезда швейцары и лакеи вызывали кареты знати.

Толстый, в рыжих подусниках городской, весь запорошенный снегом, кричал надрываясь:

— Барона Фя-тин-го-фа-ва-а-а!

«Господа бароны» и тут не давали проходу странствующему музыканту.

— Сережа, — позвала Елизавета Александровна, — завтра вы обедаете у нас. Приходите прямо с утра.

Подъехала карета с сугробом на крыше и снежной бабой в армяке вместо кучера на козлах.

Сквозь роящийся снег с горькой нежностью он глядел на Верочку. Он припомнил, как будила его она однажды поздним летом и переполошила весь дом.

Тонкая, совсем детская ручка вынырнула из беличьей пелеринки, и в глазах под тонкими стрелами бровей вспыхнули веселые и нежные огни Ивановой ночи.

— Жду, — шепнула она одним дыханьем.

Это слово прозвучало ему одному, как стук живого и теплого сердца в темноте, так неожиданно внятно, что жаркая краска залила его лицо.

Еще минута — и Верочки не стало.

Хлопнула дверь кареты, и густой искрящийся снег покрыл след от тяжелых колес.

Глава шестая ПОД СЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗДОЙ

1

С уходом Танеева с поста директора консерватории в классах и коридорах консерватории повеяло иным ветром.

Впрочем, перемена сказалась не сразу. На первых порах новый директор Сафонов осторожно присматривался к одаренным ученикам. К игре Сергея и других питомцев Зилоти он отнесся весьма сдержанно.

Напротив, творческие опыты Сергея, казалось, вызвали у него живейший интерес. Встретив Сергея в рекреационной, он взял его под руку, польстил самолюбию, намекнул на возможность для него досрочно окончить консерваторию по классу фортепьяно.

— Я знаю, что вас привлекает совсем другое! — добавил он.

Но в горячую пору подготовки к экзамену разыгрался давно назревавший конфликт между Сафоновым и Зилоти из-за одной талантливой ученицы, которую Сафонов против ее воли зачислил в свой класс.

После бурного объяснения Александр Ильич заявил о своем уходе из консерватории.

— И я тоже, — сгоряча решил Сергей.

— Не глупи, — сказал Зилоти.

Настали горячие дни. Сергей работал до изнеможения. До полуночи просиживал у рояля, но внешне казался спокойным. Зилоти, напротив, нервничал. Ему казалось, что Сережа «не в форме», что он под угрозой провала. Но в день концерта Сергей нашел в себе нерастраченный запас душевных сил. Обе сонаты Бетховена и Шопена, которые он играл, прозвучали свежо, полнозвучно, молодо. Однако поздравление Сафонова Сергей принял с холодной учтивостью.

В эту минуту их отношения сложились навсегда.

Летом в Ивановке после прошлогоднего, порой утомительного многолюдства Сергея встретило почти полное безлюдье. Сестры Скалон с матерью уехали за границу. Сатины жили в Падах, в огромном поместье Нарышкиных.

В первые дни Сергей томился, бродил без цели по комнатам и парку, искал на песке милых следов, не смытых ручьями талых вод и шумных весенних ливней, и нигде ничего не находил. Позднее приехали Зилоти. Началось с того, что Чайковский в пух и прах разобрал прошлогоднее Сережино переложение «Спящей красавицы». Музыкант пережил горькие часы. Но Александр Ильич с присущей ему горячностью пришел на выручку младшему кузену.

За две недели вдвоем они переработали переложение до основания. Петр Ильич остался доволен. И лишь тогда Сергей смог вернуться к своему первому фортепьянному концерту. Мало-помалу работа поглотила без остатка все его помыслы, чувства и желания. К концу августа концерт был завершен в партитуре.

В комнатах было душно. За окошком, раскрытым в мокрый сад, слышался шепот ночного дождя.

Сергей осторожно постучал в дверь кабинета.

— Ну как? — спросил Александр Ильич.

— Кончил.

— Садись к роялю.

— Но ведь спят все.

— Не время спать.

Сергей был измучен физически. Но когда громко на весь дом прозвучал повелительный трубный призыв вступления, что-то дрогнуло в душе, воспрянуло, затрепетало.

Полноводная река музыки, которую он создал с радостью и мучением, подняла и понесла его в ночь. Она катилась волнами в раскрытые окна,

бежала по мокрой траве сквозь почернелую чашу липового сада. И, может быть, еще до утра по полянам молодого парка кружило эхо умолкнувшей музыки, стряхивая каскады слез с березовых веток, пока не ушли на восток дождевые тучи и в небе перед зарею не зажглись первые задымленные звезды. Во втором часу ночи Сергей вернулся к себе. Взяв перо, он написал на заглавном листе партитуры: «Концерт для ф. п. с оркестром фа-диез минор. Сочинение № 1 посвящается А. И. Зилоти»

К осени 1891 года у Сергея созрело важное решение: уйти от Сатиных и поселиться вместе со Слоновым на холостяцкой квартире.

Внешних поводов к тому будто бы и не было. Но невольное при жизни в семье «нахлебничество» ранило уязвимое самолюбие музыканта.

В Москву и из Москвы полетели письма.

Однако буквально за несколько дней до конца каникул Сергей поехал в Знаменское к бабушке и сгоряча выкупался в ледяной Матыре. А по приезде в Москву слег.

Сатиных в Москве еще не было. Зилоти, вернувшись, немедля вызвал профессора Остроумова. Последний констатировал воспаление мозга.

Сергей казался ко всему безучастным. Сознание приходило и уходило. Дни сменялись ночами. А ночи были страшны. Над полями на крыльях туч летела огромная медно-красная луна. Ветер мел и крутил ковыли. Все вокруг шелестело, звенело. Неумолчно гудел колокольный звон.

Потом он лежал на нарах в незнакомой темной рубленой крестьянской избе. В углу, у божницы, теплился красный огонек, и лицо солдатки, обрамленное цветным платком, склонялось к его изголовью.

— Пропадающая душа!.. — шептала она, вздыхая с невеселой усмешкой, и качала головой.

Среди зимы, едва окрепнув после болезни, Сергей с головой окунулся в работу.

На 17 марта 1892 года назначили исполнение первой части концерта консерваторским оркестром. Творческая встреча с Сафоновым сулила мало радости музыканту.

Этот дуэт, скорее походивший на схватку, и правда оказался трудным для обоих.

Сафонов привык деспотически расправляться с партитурами учеников, кроить, крошить, вырезать по своему усмотрению. Так поступал он с Корещенко, Кенеманом, Морозовым и другими. Никто до сих пор еще не осмеливался ему перечить. И вдруг на первой же репетиции он наткнулся

на спокойное, несгибаемое упорство Рахманинова. Тот не только отказался принять самодержавный диктат Сафонова, но сам останавливал дирижера, указывая на погрешности в темпе и нюансах.

Их холодные взгляды скрещивались, как шпаги. Но Сафонов был достаточно умен, чтобы себя сдержать.

Сергей не поступился ни единой ноткой. Консерваторский оркестр стоя приветствовал дебютанта. Кто-то поставил перед ним первую корзину цветов.

На другой день появилась и первая рецензия. Некий А. Н. С. в статье «Ученический концерт в консерватории» отметил, что г. Рахманинов, сыгравший с увлечением фортепьянный концерт собственного сочинения, произвел приятное впечатление. В исполненной первой части его концерта, конечно, нет еще самостоятельности, но есть вкус, нервность, мелодия, и искренность, и несомненные знания».

Однажды на масляной, выйдя в прихожую, Сергей увидел коренастого мужчину в высокой смушковой шапке. Он только что переступил порог и остановился весь в снегу, выкатив на Сергея через запотевшее пенсне неподвижные голубые глаза.

— Папа! — вскричал вдруг Сергей, не узнав своего голоса.

Как оказалось, Василий Аркадьевич после долгих попыток получил, наконец, должность, достойную гродненского гусара, при управлении какого-то коннозаводского общества и уже снял квартиру возле Петровского парка.

Сергей переехал к отцу

В три часа дня в приемной директора консерватории, замирая от волнения, дожидались три дипломанта. По возрасту Сергей был младшим из троих.

Но и бородатый двадцатисемилетний Никита Морозов, и конфузливый светловолосый Левушка Конюс, и сам Сергей были одинаково бледны и встревожены. Они учились на разных курсах и у разных профессоров и, по существу, мало знали друг друга. За полчаса, проведенные в приемной, не обменялись почти ни словом. Но этот короткий срок связал их узами дружбы на всю жизнь.

Наконец медная ручка неторопливо повернулась, и, как всегда, сухая и

невозмутимая инспектриса консерватории Александра Ивановна Губерт пригласила господ студентов войти.

Все было обставлено весьма торжественно.

Плечистый царь в военном сюртуке, по-бычьи нагнув упрямую лысеющую голову, внушительно глядел на вошедших из огромной золотой рамы. (По слухам, он сам отнюдь не был лишен музыкального дарования и в часы досуга разыгрывал адажио из «Лебединого озера» на тромбоне.) За столом — члены совета: Танеев, директор Большого театра Альтани, огромный Пабст и чем-то озабоченный Аренский.

После краткого нравоучительного вступления Сафонов вручил каждому объемистый пакет и добавил:

— В этом конверте вы, господа, найдете сценариум будущей оперы и основные условия ее сочинения. Сегодня девятнадцатое марта. Срок для выполнения работы в партитуре назначен один месяц. Желаю вам успеха, господа!

Господа студенты столкнулись возле двери и не особенно чинно вылетели в приемную, сгорая от любопытства.

Сергей первым сорвал восковую печать.

«Алеко». Либретто Вл. Ив. Немировича-Данченко по мотивам поэмы Пушкина «Цыганы».

Он не знал, каково будет либретто, и пока что не хотел знать. Может быть, искушенный драматург пренебрег Пушкиным ради ярких, эффектных сценических положений. Но если даже сцена свяжет голоса, вокальные партии будущей оперы, то для музыки, музыки Рахманинова, для его оркестра нет преград.

Снег слепил глаза. Он ничего не слышал, повторял одними губами:

В шатре одном старик не спит,
Он перед углями сидит,
Согретый их последним жаром,
И в поле темное глядит,
Ночным подернутое паром...

Пересекая площадь, он вскинул глаза на силуэт Пушкина, чуть видный за мерцающей мглой, мысленно испросив благословения на труд, в котором замкнута его судьба.

Дверь Сергею отворил сияющий и возбужденный отец.

— Гости у нас! Наши тамбовские, коннозаводчики из-под Козлова... Да ты, Сергуша, весь мокрый. Поди переоденься. Сейчас будем обедать...

Сергей не выговорил ни слова, а только наклонил голову. Встряхнув мокрое пальто, он вошел в свою комнату, упал ничком на постель и разрыдался.

Поняв, в чем дело, Василий Аркадьевич выпроводил гостей так весело и бесцеремонно, как он один это умел. Коннозаводчики даже не догадались обидеться вовремя.

На Москве во всех сорока сороковах звонили великопостные колокола, но это было где-то далеко. Сергей слышал цикад, чувствовал на губах влагу степной росы, что ложится зарею на пожелтелую траву, слышал, как треплет ветер выгоревшую на солнце шаль цыганки.

Он знал и верил, что Алеко не злодей, а жертва роковых страстей, горького одиночества и среди людей и в пустыне, жертва напрасной тоски по воле, ненасытной жажды любви.

Но, лишь дойдя до каватины Алеко, он понял, как дорог, как близок ему этот человек, чьи руки обагрены еще не пролитой кровью. И тут неожиданно он нашел такие краски, каких еще никогда не было на его палитре.

Сергей писал с невероятной быстротой, вычеркивал, рвал, швырял в угол, и снова писал, и, не глядя, бросал Слонову, который тут же за большим столом, невозмутимо зажав в зубах длинный ореховый мундштук с папиросой, переписывал набело своим твердым каллиграфическим почерком.

Только третьего апреля впервые прозвучал лирный наигрыш вступления. Сергей знал, что этой же фразой будет и закончена опера. В нем зерно рассказа старика, зерно трагической развязки.

В ночь на шестое апреля он вовсе не ложился. Он знал, что последний хор «Прости! Да будет мир с тобой» напомнит слушателям последние строки «Пиковой дамы». Это созвучие не было случайным, как не случайным было органическое сродство тем Германа и Алеко.

Но последняя страница клавира довела его до отчаяния. Домысел автора либретто, подклеившего к «Цыганам» мелодраматическую концовку, с первого дня казался ему насквозь фальшивым. Все звуки вдруг пропали, и он с ужасом понял, что ему нечего написать на эти жалкие слова.

За окном над домами и куполами бесчисленных церквей он видел воздушные фиолетовые облака, подбитые нежно-розовым шелком утренней зари. А сам он, закрывая лицо, уходил все дальше в ночь, пропахнувшую

полынью.

В комнате посветлело. Он погасил лампу и, обессилив, склонился над Пушкиным, и тотчас же в глаза ему врезались строчки, которыми Владимир Иванович Немирович-Данченко пренебрег:

...Поднялся табор кочевой
С долины страшного ночлега.
И смолкло все в дали степной.
Сокрылось. Лишь одна телега,
Убогим крытая ковром,
Стояла в поле роковом.

На улице было так тихо, что Сергей слышал торопливые шаги одинокого прохожего на дощатой кладке.

На столе среди папиросных окурков грудой валялись черновые листки партитуры. Чистовые еще вечером Слонов унес к переплетчику.

Сергей сгреб их в кучу, упал на кровать и проспал двадцать шесть часов.

Антоний Степанович, в бухарском халате, с длинным мундштуком в зубах, смотрел, как Сергей бережно вынимает из папки толстый том в малиновом сафьяне с золотым тиснением. Глаза его расширились.

— Ну, ну... — проворчал он почти сердито и вдруг перешел на «ты». — Это что же у тебя такое? Уже весь клавишник?

— Нет, партитура.

Пожав плечами, Аренский недоверчиво перебрал несколько страниц. Потом посмотрел на Сергея. Глаза его смеялись.

— Недурно. Если будешь продолжать в том же духе, то за год напишешь, пожалуй, все двадцать четыре акта... Ну что ж, играй.

7 мая 1892 года на публичном выпускном экзамене Сергей играл последним. Зал был переполнен. Стояли в дверях, вытягивая шеи, чтобы все видеть и слышать. В толпе роился слух, что дирекция предпринимает закулисные ходы, чтобы лишить Сергея отличия. Но после краткого, чисто формального, совещания Сафонов должен был встать и объявить с принужденной улыбкой:

— Рахманинов Сергей Васильевич — Большая золотая медаль. Присвоить звание свободного художника с занесением имени на мраморную Доску почета.

От грома оваций зазвенели стекла.

Взволнованный и сконфуженный Сергей с трудом вырвался из дружеских объятий, попал в другие, был трижды подброшен на воздух. Наконец триумфант, красный, растрепанный, вылетел в пустой коридор. И тут чья-то высокая фигура преградила ему путь. Он вскинул глаза — и обмер. Зверев...

Пристально взгляделся Николай Сергеевич в своего выросшего сына. Неожиданно подбородок у него задрожал, и он порывисто прижал Сергея к своей груди. Обрадованный и смущенный Сергей не мог выговорить ни слова.

— Все забыто, Сережа! — дрогнувшим голосом проговорил Зверев. — Я... горжусь тобой, Сё. Вот...

Он поспешно снял с цепочки массивные золотые часы и, сунув их в карман Сергея, шумно высморкался и пошел прочь.

Но был еще высший судья, чьего приговора Сергей ждал с трепетом, — Чайковский. Ни успех, ни даже сама медаль не могли рассеять его сомнений в себе и в ценности того, что он создал. Не случайно в письмах к Татуше он именовал «Алеко» не иначе как опереткой, а себя опереточным композитором. За шуткой скрывалась непотухающая тревога. Когда ему намекнули на то, что нотоиздатель Карл Гутхейль окольными путями осведомлялся о возможности покупки «Алеко» и о его, Сергея, условиях, он решительно заявил, что преждевременно об этом даже думать.

За ужином у Зверева Петр Ильич выглядел помолодевшим на десять лет.

— Какой вы счастливец, Сережа, — говорил он. — Вы и правда родились под счастливой звездой. Я был постарше вас, когда впервые нашел издателя. Я был счастлив, что мне самому не пришлось доплатить за честь напечатания моей кантаты. Если Гутхейль не только предлагает вам гонорар, но даже просит назначить ему ваши условия, о чем же тут думать! Мой совет вам: завтра же пойдите к нему и попросите, чтобы он сам назначил вам свои условия. Не медлите. Куйте железо!

За столом Зверев шепнул Сергею, что его оперой заинтересовалась дирекция императорских театров.

Но прошел еще без малого год, прежде чем проявленный интерес принял осязаемые формы. Предварительное решение о постановке «Алеко» в Большом театре весной 93-го года было принято, правда, еще в июне. Но практически тогда же оно было заморожено — понадобился настойчивый нажим со стороны Чайковского на директора театров Всеволожского, чтобы этот лед оттаял.

Чайковский был перегружен срочной работой, однако, отбросив все,

приехал в Москву к началу репетиций.

Однажды он и Рахманинов сидели рядом в полутемном зале.

Альтани ломаным языком переругивался с контрабасистами. Сергей досадливо морщился.

— Вам нравится этот темп? — неожиданно спросил Чайковский.

— Нет.

— Тогда почему же вы молчите?

— Я боюсь.

Во время паузы Петр Ильич прокашлялся и, привстав с кресла, сказал во весь голос:

— Сергей Васильевич считает, что в этом месте темп следует взять немного быстрее.

Настало 27 апреля 1893 года.

Небо нахмурилось. Гривастые кони на фронтоне Большого театра выглядели совсем черными. Куда-то эта выдавшая виды запряжка вывезет нынче странствующего музыканта?..

За кулисами стук молотков, бестолочь, суета, как перед нашествием неприятеля. Сновали во множестве появившиеся чиновники в вицмундирах театрального ведомства. Мелькали раскрашенные под цыганок лоснящиеся лица хористок. Среди этой кутерьмы Сергей почувствовал себя лишним. «Сбежать бы!» — подумал он.

Но едва осветилась рампа, его нашли и потащили в директорскую ложу.

По настояниям Чайковского на премьеру прибыл сам камергер Всеволожский. Петр Ильич представил Сергея. Камергер прищурился через пенсне, пошевелил кошачьими усами и, процедив сквозь зубы стереотипную любезность, подал автору три пальца.

«Много! — с удивлением отметил стоявший рядом правитель канцелярии. — Иван Александрович даже прославленным артистам, как правило, подает только два...»

Несмотря на пышные декорации и огромный хор, многое приводило Рахманинова в отчаяние и прежде всего несуразная фигура Корсова, певшего Алеко. На нем был невообразимый чехо-венгерский костюм. Плоская шапочка, надетая набекрень, плащ Чайльд Гарольда и щегольские лакированные сапоги. Он внушительно постукивал посохом в виде срубленного сука, рычал и злодейски вращал глазами.

Вся глубокая человечность образа была погублена безвозвратно.

Немногим лучше был и молодой цыган, наряженный почему-то

неаполитанским рыбаком.

Только Земфира — Дейша Сионицкая — была хороша.

Москва в этот вечер была настроена благодушно. Гремели овации. (Впрочем, показанный после оперы «Разнохарактерный дивертисмент» имел еще более шумный успех.) Откуда-то вынырнул помолодевший, сияющий и прифранченный отец. Бабушка Варвара Васильевна всплакнула украдкой в директорской ложе. Сергея вытолкнули на сцену. Впервые в жизни довелось ему через освещенную рампу заглянуть в эту темную орущую бездну.

Неловко кланяясь, он увидел Чайковского. Перегнувшись через барьер ложи, Петр Ильич хлопал что было сил. Ему, мальчику, ведь нужно, нужно это!

Но наутро, когда рассеялся угар, наступила реакция.

Накануне Зилоти дал ему на просмотр клавир «Иоланты». Проиграв оперу до конца, Сергей вместе со своей «опереткой» показался себе просто ничтожным. Рецензия, опубликованная в утренней газете, была каплей, переполнившей чашу.

«Как опера 18-летнего студента «Алеко» — выше всех похвал. Но как опера для сцены Большого театра она оставляет желать много... Она написана по старомодному итальянскому образцу, которому издавна привыкли следовать русские композиторы».

Позолоченная стрелка, направленная верной и не очень дружелюбной рукой, попала в самую уязвимую точку.

«Неужели, — думал Сергей в смятении, — сердцем Петра Ильича руководила одна только жалость?»

Осенью в концерте на электрической выставке в Москве впервые была исполнена Прелюдия Рахманинова до-диез минор.

Наверно, еще никто из русских музыкантов не пытался уложить столь грандиозный замысел в рамки небольшой фортепьянной пьесы, записанной на четырех страничках. На опоре из трех властных октав он воздвиг величавое здание звуков. За ним как бы вставали воплощенные в музыке образы фресок Микеланджело.

Так начала свой долгий путь одна из самых прославленных пьес в мире. Она принесла ее автору славу и деньги, горечь и разочарования. Но все это было еще впереди.

На другой день после петербургской премьеры «Щелкунчика» и «Иоланты» кто-то позвонил у подъезда на Малой Морской.

Петр Ильич, в халате, с папиросой в руке, отодвинул недопитую чашку чаю. За год совсем поседел. Едва заметная судорога временами пробегала

по щеке. Усталость от жизни, разочарование, временами тоска, но не та, в глубине которой предвидение нового прилива, а нечто «безнадежное, финальное и даже, как это свойственно финалам, банальное».

— Господин Протопопов из «Петербургской газеты», — доложил слуга.

Чайковский поморщился. В облаках фимиама, воскуряемого ему печатью, все чаще поблескивают ядовитые жала!

После учтвого разговора о погоде Протопопов заикнулся о планах Чайковского на ближайшие годы.

— Я боюсь только одного, — сказал Петр Ильич, — не почувствовать момента, когда начну выдыхаться... Все-таки лет пять еще хотелось бы протянуть, а потом кончить... Теперь мне пятьдесят два. До пятидесяти семи можно работать.

— Мне кажется, что вам эта опасность еще никаким образом не угрожает.

— Кто знает!.. Прямо в глаза нам этого никто не скажет... Разве Антону Григорьевичу кто-нибудь решится сказать, что ему теперь уже пора бросить писать? Конечно, никто не решится, а он все пишет и пишет... Нет, надо давать дорогу молодым силам!..

— О ком вы говорите?

— У нас в России в настоящее время много молодых талантливых композиторов. Здесь в Петербурге — Глазунов, в Москве — Аренский, Рахманинов, написавший прекрасную оперу на сюжет пушкинских «Цыган». Ему, — закончил Чайковский, немного помолчав, — я предсказываю великое будущее.

Раньше срока настала непрошенная осень. Ветер мел по бульварам побурелые листья по площадям — гнилую солому, мокрый снег.

Сергей жил в ту зиму за Тверской заставой у консерваторского товарища Юрия Сахновского, стараясь сохранить внешнюю видимость скромного благополучия. Это было нелегко. Кроме трех пятирублевых уроков, в ту пору у музыканта ничего не было. Но если ему не всякий день случалось пообедать, о том не знал и Сахновский.

Бродя под холодным дождем в подбитом ветром пальтишке, музыкант иногда забредал в извозчичью чайную погреть ладони возле пузатого белого чайника, глядя, как плывут крупные капли по мутным запотелым стеклам.

Вечера, если не было концертов, он чаще всего проводил у Лодыженских в Замоскворечье.

С Анной Александровной Лодыженской его познакомил Слонов

минувшей осенью в Большом театре. Многие находили, что ее портит рот, крупные алые губы. Но при всем том было в ней что-то необыкновенно привлекательное. Горячие цыганские глаза в густых ресницах, чудесный голос переменчивого тембра, то матовый, то серебрянозвонкий, красивый московский говор и, быть может, больше всего — подкупающая простота, против которой невозможно было устоять.

Лодыженской шел двадцать пятый год. Она умела одеваться просто и со вкусом, без тени традиционной цыганской пестроты. Сергей называл ее «Родная». Сперва в шутку. Потом это имя незаметно для обоих обрело совершенно иной смысл.

Среди зимы ударил лютой холод. Навсегда врезался в память музыканту страшный день восемнадцатого декабря.

Когда Сергей уходил, Родная едва ли не со слезами уговорила его надеть под летнее пальто старую меховую безрукавку.

Возле Манежа он сел в обледенелую конку, но, не выдержав, выскочил и побежал домой.

На площадях горели костры. Он не помнил, как он дошел до заставы. Все окоченело: руки, ноги и, казалось, сама душа.

В жарко вытопленной комнате он стал шарить по столу в поисках спичек. Но пальцы не повиновались ему. Наконец спичка вспыхнула. На кушетке лежал большой пакет, перевязанный тесьмой. Сверху была приколата карточка: «С. В. Рахманинову» — и ни слова больше.

В пакете — теплое зимнее пальто на шелковой подкладке. С минуту Сергей стоял как оглушенный.

Почерк на карточке был знаком.

Да, сестры Скалон, собрав свои скромные сбережения, пришли среди этой страшной зимы на помощь странствующему музыканту.

Вздорное самолюбие воспрянуло было на дыбы. Но вдруг он весь поник и опустился на стул.

Лето 93-го года Рахманинов провел в Харьковской губернии, в заштатном городке Лебедине, тонушем в вишневых садах. В дом купцов Лысыковых Сергея ввел тот же Слонов. И с первых часов он почувствовал на себе такую искреннюю и смущающую доброту, такую нежную заботу, каких не знал с новгородских дней у бабушки Бутаковой, и душа юного художника горячо откликнулась на ласку.

«...Дом чудный, редкий, — писал он Татуше Скалон, — и нужно сюда кого-нибудь получше, чем я...»

Он работал над сюитой для двух фортепьяно, заранее посвященной

Чайковскому.

Четырем частям были предпосланы эпитафии из Лермонтова («Баркарола»), Байрона («И ночь и любовь»), Тютчева («Слезы») и Хомякова («Светлый праздник»).

Едва ли многие догадывались о том, что в основу третьей части сюиты — «Слезы» были положены четыре заветных тона колоколов новгородской Софии.

В сюите юный композитор сумел найти и сказать свое новое, неповторимо рахманиновское слово. Мелодии свежие, чистые плыли по глади ильменских вод, растекаясь серебряной звончатой рябью, эхом кружили в чащах соловьиного сада, лились, «как льются струи дождевые», и ликовали в огнях и колокольных каскадах «Светлого праздника».

А в августе под впечатлением перечитанных повестей Чехова он разыскал в папке пожелтевшие эскизы и вернулся к замыслу симфонической фантазии «Утес».

Когда осенним вечером под морозящим дождем Сергей шел к Сергею Ивановичу, сердце у него колотилось.

Так уже повелось среди старых консерваторских товарищей Рахманинова по классу Танеева. Каждый с трепетом, волнением и безграничной верой нес на суд учителю созданное им за лето.

Отворила нянюшка Сергея Ивановича Пелагея Васильевна, всю жизнь ходившая за ним, как за малым ребенком.

За дверью кабинета слышались голоса.

— Свои, свои! — шепнула нянюшка. — Иди, милый! Не бойся!

Петр Ильич у рояля перелистывал ноты правой рукой, а левую с улыбкой протянул вошедшему Сергею.

— Смотрите, Сережа, — погрозил он пальцем, — вы уже начали шедевры сочинять. Знаю, не отнекивайтесь! Читал вчера про ваши фортепьянные пьесы... Помилуй, Сергей Иванович, — повернулся он к Танееву. — Я все лето трудился как вол и написал всего-навсего одну симфонию. А он, извольте радоваться: и поэму, и сюиту, и концерт духовный, и скрипичные пьесы, и романсы, и, наверно, еще что-то скрывает...

Симфония, о которой говорил Чайковский, была шестая — Патетическая. Прослушав «Утес», Петр Ильич долго молча перелистывал партитуру.

— Вот что, Сережа, — сказал он, — в январе в Петербурге у меня два симфонических. Если вы доверите мне «Утес»...

— Доверю ли я... — Сергей встал. — Петр Ильич!..

— Тише, тише! Не бог весть какой я капельмейстер...

В ночь на первое октября 1893 года неожиданно скончался Николай Сергеевич Зверев. Только старый повар Матвей и экономка были при нем.

— Прощай, брат! Я тю-тю! — сказал он зашедшему Кенеману.

За пять минут до смерти кричал на весь дом прежним, еще грозным голосом, чтобы открыли шторы, окна, двери. За окнами была непроглядная осенняя ночь.

3

Весь день шестого октября в Клину дул ветер, качал пожелтевшие липы, гнал пыль и сухие листья по площади вокруг собора.

С дороги был хорошо виден серый двухэтажный дом, обшитый тесом, стоявший среди сада возле заставы.

В доме были гости.

В стороне от крыльца и пестрых клумб на полянке, словно подружки, взявшись за руки, стояли три кудрявые березы.

Они так же шумели на студеном ветру, как и все другие, и все же до них долетали звуки музыки там, внутри, за настывшими с холоду стеклами. Пела виолончель, бормотал рояль, потом слышны были спорящие голоса и чей-то громкий раскатистый смех.

В одиннадцатом часу ветер угомонился. И вдруг пошел снег — тихий, мелкий, безостановочный. Он неслышно ложился на кровлю, на землю, на мокрые цветы и на заросшие травой берега темной и холодной речки Сестры.

Музыка смолкла. Свет заходил по окнам. Засветились два окошка на верхнем этаже, косой переплет зимней веранды. Потом кто-то поднес лампу с круглым фарфоровым колпаком к самому окошку, протер ладонью пар на стекле, и вдруг стало видно лицо совершенно седого человека. Его темные глаза, не мигая, глядели во мрак за окном, словно искали чего-то. Снежинки вспыхивали в лучах света, белым ковриком оседали на оконном карнизе.

Проводив гостя наверх, Петр Ильич вернулся в гостиную.

Как это с ним нередко теперь бывало, весь день его преследовала мысль, что он не сделал чего-то очень важного. Сияясь припомнить, что это было, он стал ходить по гостиной. Порой останавливался, положив ладонь на полированную черную крышку рояля. Прислушался. Чу! Слабая,

едва уловимая дрожь, отдаваемая арфой фортепьянных струн. Он взглянул на часы. Так и есть: скорый поезд!

Зачем-то он подошел с лампой к окошку, словно можно было за деревьями увидеть огни.

А увидел совсем другое — снег. Больно рано!

Дунув на ламповое стекло, прошел в спальню, разделся при слабом свете ночника и лег на спину, подложив под голову руку с непогасшей папиросой. Стал дремать и, неожиданно вздрогнув, открыл глаза в непроглядной темноте.

В тишине зазвучали аккорды чистые, чуть дрожащие. Звону латунной пружины отвечало веселое треньканье стеклянных колокольцев, и басовитый отзвук медной струны вошел в сереброгласное пение курантов.

Это играли на камине старинные часы, привезенные Петром Ильичом из Праги.

Странная полуночная музыка еще долго бродила по комнатам спящего дома.

И когда она, наконец, смолкла, потух и огонек папиросы.

У окошка, занавешенного полосатыми лиловыми портьерами, стоял совсем простой ореховый столик. На нем была написана Шестая симфония. И по сей день лежат на нем черновая рукопись партитуры, пенсне в золотой оправе, любимая дорожная чернильница.

Отсюда, из этой комнаты, симфония начала свой долгий путь, которому не будет конца.

Никогда с тех пор, как звучит музыка, еще ни один художник так прямо, с, таким бесстрашием не глядел в глаза жизни и смерти.

В этих скромных комнатах одинокого дома подле Клинской заставы, предваряя публичное исполнение, она уже прозвучала. Эти стены в глубине своей затаили эхо умолкнувшей музыки.

Во мраке среди лугов и перелесков струилась, бежала река Сестра. И сестры-березы шептались в ночи, глядели с тревогой и жалостью в то заветное окошко, откуда чуть слышно звучали медленные перезвоны пражских курантов.

За три дня до отъезда в Киев Сергея окликнул на улице знакомый голос. Он увидел Петра Ильича.

В светло-сером пальто и шляпе, с зонтиком в руке, он вышел из магазина и направился к поджидавшему извозчику, веселый, живой, радостный.

Давно Сергей не видел его таким.

Сев в экипаж, Чайковский спросил:

— А вы, Сережа, не приедете в Петербург к шестнадцатому?

Сергей рассказал о своем приглашении на киевскую премьеру «Алеко».

— Ну, вот видите, Сережа! Мы с вами теперь уже знаменитые композиторы! Всюду нас зовут дирижировать: вас в Киев — оперой, а меня — симфонией — в Петербург...

Смеясь, он помахал рукой.

Сергей стоял улыбаясь. Он ничего не видел и не слышал вокруг, лошадь и пролетка скрылись за углом.

В день отъезда из Киева он узнал из газет о внезапной болезни Чайковского. Подробности не сообщались, но столбцы пестрели пугающими вестями о холере.

По приезде в Москву в начале десятого утра он побежал в консерваторию повидать переплетчика, у которого застрял «Утес».

Было холодно. Деревья совсем обнажились. Тарахтели пролетки. Дворники сметали в кучи опавшие за ночь листья. Еще от ворот воронцовского дома он увидел кучки встревоженных студентов. Они читали газету, вырывая ее друг у друга.

— Чайковский... — услышал он, и что-то оборвалось в душе.

Он не мог бы впоследствии связно рассказать о том, как прошел для него этот день.

Позднее он ехал по Мясницкой, мимо Красных ворот в трясучей трезвонящей конке, среди будничного, равнодушного гомона проезжих.

Гвоздем сидела одна и та же назойливая мысль: «Скорей, скорей! Прочь отсюда, вон из Москвы куда глаза глядят — в лес, в поле! Прочь от этих лабазников, попов, квартальных, чиновных крыс, надутых барынь и судариков в гороховых котелках!»

Он сошел в Сокольниках и, не оглядываясь, зашагал по просеке.

День оставался безветренным и неясным, хотя здесь и там в сероголубой пряже облаков светили бледно-голубые оконца чистого неба. Под ногами шуршала листва, еще не успевшая побуреть. А по сторонам, задумавшись, стояли сосны. Кругом не было ни души.

Его жизнь, его присутствие среди нас было вечным и непреложным, как смена дня и ночи. И вдруг открылась огромная, ничем не заполнимая пустота. «Вы, Сережа, родились под счастливой звездой!» — сказал он. «Где же она, Петр Ильич? — с болью допытывался Сергей. — Вы сами были этой звездой для меня, и ее не стало».

Нерешительно выглянуло и снова спряталось солнце. Слабый ветер

прошел по вершинам.

И сосны зашумели, поскрипывая медлительно и важно.

И в их шуме Сергей впервые услышал предложение из трех повторяющихся нот.

«Жалеть прошлое, надеяться на будущее, никогда не удовлетворяясь настоящим: вот в чем проходит моя жизнь...», «Мое время впереди... до такой степени впереди, что я не дождусь его при жизни».

«Странный и несчастный у вас характер, дорогой Петр Ильич!» — отвечали ему.

Вот снова тот же напев!..

И вдруг он понял, что это звучит его новое Элегическое трио памяти великого художника, которое он начнет писать сегодня, сейчас.

Между стволами деревьев, поодаль от дороги, по которой шел Сергей, перелетала какая-то большая серая птица. Он стал следить за ней.

В лесу пахло грибами и осенней прелью.

Он шел. Птица выжидала среди подлеска и вдруг, взмахнув крыльями, обгоняла его снова и снова.

И ему казалось, что эти взлеты тоже имели какую-то связь с рождающейся музыкой, которая росла и ширилась в той же неотвратимой и неотвязной тональности реминок.

С этого дня на полтора месяца жизнь его как бы остановилась.

Все его силы, мысли, чувства принадлежали ей одной, этой песне об ушедшем друге. Он мучился, вычеркивал иногда все написанное и снова писал...

Да, «время его впереди».

То, что случилось тогда ночью, не конец земного пути художника, но только его начало. Всегда и везде Чайковский будет среди нас, живой и близкий. Не смерть, не «пакостная дыра», страшившая его, но жизнь, но бессмертие.

Сергей даже не заметил, как наступила зима.

А она все же пришла и посеребрила инеем лавровый венок, цветы и крылья мраморного ангела у надгробья в ограде Александро-Невской лавры.

Глава седьмая ПТИЦА ВЕЩАЯ

Москва. Воздвиженка. Меблированные комнаты «Америка».

Глубокая осень 1893 года.

Темноватый, насквозь пропахнувший дрянной кухмистерской коридор, нечесаный лакей Петр, пятка на обоях, застоявшаяся желтая вода в графине. Такова без прикрас обстановка, в которой суждено было жить и творить осиротелому музыканту.

Пока он писал свое Элегическое трио, он не видел вокруг ничего. Очнувшись, стал искать себе опоры в жалком подобии жизни, которая его окружала.

Он не пил и не кутил, но был молод и любил щегольнуть хотя бы парой новых перчаток. И когда он появлялся в общем коридоре, высокий, очень стройный, необыкновенно бледный, всегда старательно выбритый, он казался встречавшим его пришельцем из другого мира, неким Серафимом, которого только злая шутка или гнев небес могли занести в эту жалкую, промозглую «Америку».

Никто не знал, какую ценой доставалось «Серафиму» его показное благополучие. Никто не видел его в четырех стенах, сутулящимся в продавленном кресле.

Приходило ли в голову любезному Карлу Гутхейлю, что скромный аванс, выписанный им молодому музыканту, тотчас же пойдет на выкупку из ломбарда часов Зверева?

Сергей знал, что в его власти в любую минуту покончить с этим прозябанием. Переехав к Сатиным, он будет сыт, согрет, обласкан в семье. Но он упорствовал, зная, что вести двойную жизнь среди своих будет во сто крат тяжелее. Одна лишь Тата Скалон, наверно, догадывалась о многом, читая письма Сергея между строк.

В середине ноября он послал ей романс с посвящением, на слова Гейне, не написав при этом ни слова.

И у меня был край родной,
Прекрасен он,
Там ель склонялась надо мной,
Но то был сон!
Семья друзей была жива.
Со всех сторон
Звучали мне любви слова,
Но то был сон!

И единой опорой в жизни музыканта среди злой и суровой зимы оказалась Родная.

Личная жизнь у Лодыженской не удалась. Муж ее Петр Викторович был человек одаренный, добрый, великодушный, но неисправимый дилетант во всем. Перепробовав множество профессий, он остался беспутным гулякой.

В думах своих, заботах и невзгодах была Анна Александровна очень одинока. Она безропотно приняла свой жребий, знала, что никакие силы не заставят ее покинуть человека, с которым навсегда связана ее судьба. Не в ее натуре, робкой и несколько инертной, было пытаться что-то ломать. Еще в юности для нее этот злой и «насмешливый рок все дороги к блаженству закрыл».

И все же, когда случай свел ее с Сергеем, она потянулась к нему вся, безотчетным порывом одинокой горячей души. Едва ли не с первого взгляда она поняла, что Сергей тоже одинок, бесприютен и недосмотрен, что она нужна ему сегодня, сейчас, хотя наперед знала, что в конце концов эта близость ни к чему не поведет. И этот порыв был взаимным. Прошло совсем немного времени, и Сергей вдруг почувствовал, что просто жить не может без ее угловой комнаты, без этих сумерек, без милого серебристого голоса, без ее старенького фортепьяно. Именно в эту пору Сергей и посвятил Лодыженской свой первый и единственный «жестокий» романс «О нет, молю не уходи». В ее заботах о Сергее почти всегда звучала материнская нота. Родная всегда помнила о том, что Сереже едва исполнилось двадцать, а ей пошел уже двадцать шестой.

Всем, чем могла, одарила Сергея Родная: теплом, лаской, горячим сочувствием, искренней, неподкупной дружбой. Не было в их сумеречных речах одного: надежды.

Она безошибочно угадывала, что у него на душе, когда он устал и не на что ему пообедать. В этом она была истой цыганкой. Она всегда находила, чем его подкормить. И никакие увертки с его стороны не помогали.

В трудные минуты Родную нередко выручала ее сестра Надежда Александрова, известная в те годы цыганская певица. В семье ее почему-то звали Нонной. Нонна появлялась у Лодыженских нечасто, но всегда шумно и неожиданно, была моложе и гораздо красивее сестры, веселая, порывистая и недалекая. Нашумев, Нонна исчезала, и зимние сумерки вновь заглядывали в просторную угловую комнату, где мигал красноватый отблеск из печи, звучал негромкий разговор, изредка — приглушенные

звуки фортепьяно.

Так продолжалось уже третий год.

Элегическое трио памяти великого художника было окончено в середине декабря. Но только на святках Гольденвейзеру удалось выпросить рукопись у автора для просмотра. В тот же вечер стали разучивать с виолончелистом Букиником и скрипачом Сараджевым. Трио оказалось трудным для исполнения. Но не трудности, а жестокое волнение подчас не давало музыкантам продолжать.

На третью репетицию пришел Рахманинов и молча сел в дальнем углу. Гольденвейзер попросил сыграть с ними, чтобы выяснить темпы. Музыканты были озадачены. Там, где в музыке им слышался трагический надрыв, автор был до предела сдержанным, едва ли не холодным. Он как бы подчеркивал свое нежелание обнажать перед слушающими глубокую душевную боль, бывшую движущим началом созданной им музыки.

И это было всю его жизнь.

Трио было исполнено позднее в авторском концерте при другом составе исполнителей. Едва ли он состоялся бы, не вмешайся Анатолий Андреевич Брандуков. Он переговорил с Пабстом и сам поехал к известной певице Лавровской, недавно покинувшей Большой театр.

Скорбная песнь вошла в зал, и чувство совсем еще свежей утраты вновь охватило присутствующих. О том, кто страстно любил жизнь и столь же страстно ненавидел смерть, пел могучий смычок Брандукова.

Во втором отделении автор аккомпанировал певице и виолончелисту.

Голос у Лавровской шел на убыль. Но, слушая ее, хотелось не проронить ни единого слова, ни одной интонации.

Полюбила я на печаль свою
Сиротинушку бесталанного... —

начала она очень тихо, вкладывая душу в каждое горькое слово.

...И солдаткою одинокою,
Знать, в чужой избе и состареюсь...

На какой-то миг исчез нарядный зал, и Сергей со страшной ясностью увидел старые липы на залитом лунным светом степном переезде, и в упор, без улыбки, глянули на него допытливые глаза казачки в стрелчатых черных ресницах.

Случилось однажды в конце зимы, что, придя на Пятницкую, он не застал Родную дома. За много месяцев это случилось впервые, и Сергей на минуту даже растерялся.

На улице шумела злая метель. Куда же теперь? К Сатиным? К Танееву? К Брандукову? Никому он не нужен... Значит, домой в «Америку». Никогда еще почему-то так не страшила его эта комната в тупике затхлого коридора.

В десятом часу, ничего не решив, он все еще пытался отогреть холодные пальцы возле остывшего самовара.

Вдруг за дверью шаги, шушуканье.

— Не велено их беспокоить! — возвысил голос коридорный.

Кто-то отрывисто постучался, и дверь распахнулась настежь. Глазам Сергея предстала невысокая женская фигура в серебристой беличьей пелеринке со стоячим воротником и шляпке, обшитой мехом. Под вуалеткой, осыпанной белыми мушками, искрились и кипели смолой дерзкие смеющиеся глаза.

За спиной у непрошеной гостьи он увидел двух телохранителей — Слонова и Лодыженского.

Кто же? Ну, конечно, Нонна!

Комната наполнилась говором и смехом. От Нонны пахло талым снежком и дорогими духами.

— Ну, собирайся живенько. Сидишь тут, как сыч...

— Куда?..

— Видно будет. Одевайся-ка! Я погляжу в окно.

Сергей не нашел в себе сил для отпора и молча повиновался.

— Ну, хорош! — сказала Нонна, затянув бантик галстука. И добавила сердито: — Ох, лица на тебе нет! Досидишься ты, сокол, в этой своей конуре... Гаси, Петя, лампу.

У подъезда бряцала сбруей тройка. Возле широких саней ожидал незнакомый Сергею высокий военный в очках и с круглой рыжеватой бородкой. Нонна назвала его князем.

В роящемся снегу мелькали огни. Пролетели мост.

Ямщик, привстав, крикнул, и тройка понеслась по Якиманке. Пристяжная, выгнув голову, храпя, кидала подковами мякнущий снег.

Калужская, узнал Сергей. Он узнал в снежных потемках угловую башню Донского монастыря, за ней глухой переулочек, низкий дом с закрытыми ставнями в глубине двора. На стук Нонны отворили тотчас же. В прихожей пахло шубами. Женщина в черном платке, заслонив ладонью пламя свечи, толкнула широкую двухстворчатую дверь.

Комната, показавшаяся Сергею огромной, была почти пуста. Возле внутренней стенки стоял старомодный диван, перед ним овальный стол с двумя канделябрами. Среди комнаты полукругом два ряда стульев. На окнах темнели фикусы. В углу большой почерневший образ, озаренный светом малиновой лампы.

Из дальней двери навстречу гостям вышел высокий широкоплечий мужчина в сапогах, шелковой рубахе и черной поддевке. В густой кудрявой темной бороде серебрились нити седины. Поклонившись гостям, он подошел к Нонне.

Сергей уже узнал Николая Шишкина, вспомнил, как позапрошлой весной в довольно шумной консерваторской компании «вспрыскивали» в «Стрельне» первый гонорар за «Алеко».

Нонна подняла вуалетку и, стаскивая с пальцев лайковые перчатки, озиралась блестящими глазами.

Сели подле стола, поглядывая на дверь.

Через минуту вышли два цыгана в бархатных жилетках с гитарами в руках, за ними, одна за другой, бесшумной семенящей походкой пошли цыганки, все в очень скромных черных платьях, только с цветными бахромчатыми платками на плечах.

Нонна встала, и они вдруг зашептали, заулыбались, кланяясь гостям. Важно и неторопливо рассаживались на стульях, расправляя шелестящие складки.

Зазвенели, запели подтягиваемые струны гитар и смолкли. Шишкин повел бровью, и цыгане запели традиционную «встречную»:

Что может быть прелестней,
Когда, любовь тая,
Гостей встречает песней
Цыганская семья...

И мало-помалу все перестало существовать: снежная ночь, и Москва,

и тройка. Тягучая горькая отравка песни обволакивала душу, сковывала дыхание, каждый удар сердца болью отзывался в груди.

На столе перед гостями только ради приличия стоял большой поднос, на нем были тарелки с орехами, пастилой, блестели бокалы и две бутылки белого вина. Они остались неоткупоренными. Кто же, если любит взаправду, станет мешать вино с песней!

Потом время и вовсе остановилось. Желтое мигающее пламя покорило гитарному звону. Князь сидел у края стола, подперев лицо руками. Он был бледен.

Сергей с жадностью вслушивался в знакомый сумрачный напев. Нонна с хором пела старинную таборную песню.

В наступившем молчании раздался низкий, заглушенный двойными окнами удар большого монастырского колокола. Цыганки встали и, крестясь на образ, стали собираться к ранней обедне.

Дорожку от крыльца запорошило снегом.

— Ну что? — с гордостью спросила Нонна, взяв под руку Сергея.

Тройка уже брэнчала бубенцами возле калитки. Над головами, белея в инее, никли плакучие березы.

— Я пойду пешком, — сказал Сергей.

— Не дури, — нахмурилась Нонна, но, взглянув, поняла. — А впрочем, как знаешь. Ступай только вдоль стены. Отвезем князя и скоро догоним.

Светлело тихое снежное утро. Гудела колокольная медь. Но когда он миновал угловую башню, началось совсем другое.

Потянулись фабричные дворы и задворки, ломаные заборы, заметенные снегом дровяные склады, вереницы покосившихся лачуг и барачков. Даже под снегом они были черны. Белело только окоченелое жалкое тряпье на веревках. Подле обмерзших колодцев толпились женщины в рваных платках, с темными от жирной копоти лицами. Они не бранились, и не судачили, и молча провожали Сергея недобрыми глазами.

В снежном полусвете дымили черные трубы. Светились решетчатые окна фабричных корпусов. Навстречу Сергею шагали люди. С непонятной тяжестью на сердце он всматривался в их лица, в глаза, не чающие ничего от нового дня.

На углу, подле кирпичного забора с шипами на гребне, прогуливался взад и вперед околоточный в туго перепоясанной светло-серой шинели. Шашка била его по ногам. Разминувшись, Сергей почувствовал у себя на спине его колючие глаза.

И вдруг над миром фабричных пустырей прокатился низкий, басистый

рев парового гудка. Ему простуженной фистулой ответил другой, третий...

И скоро в этом мрачном многоголосом хоре пропал без следа утренний благовест монастырских колоколов.

Улица была пуста. Нет, вот еще один... Он взгляделся. Мелькнула студенческая шинель.

— Сашок, куда ты!.. — вскричал Сергей вне себя от удивления.

Встречный вздрогнул, порывисто оглянулся и, не ответив, пропал в засыпанном снегом переулке.

Сергей долго стоял неподвижно. Сердце у него билось. Спит он, что ли?..

На минуту, потеряв нить мыслей, он перестал понимать, где он и что с ним было.

Но вот позади, далеко в тумане, веселой бряцающей песней залились бубенцы не видимой еще тройки.

2

Лето 1894 года Сергей прожил «за урок» в костромском имении помещика Коновалова.

Когда он вернулся, его комната в тупике «американского» коридора оказалась занятой. Ему предложили другую. Громовой храп и пьяное бормотание его соседа, спившегося актера, за тонкой перегородкой доводили Сергея до отчаяния.

Месяц он упорствовал, но в октябре переехал к Сатиным на Арбат и сразу же стал работать над Цыганским каприччио для оркестра, задуманным прошлым летом.

Первая, медленная часть зазвучала в полный голос еще в незабываемую цыганскую ночь под стенами Донского монастыря. Со второй, танцевальной, пришлось помучиться.

Он подслушал ее в Ивановке в молодом саду. Пели три девушки, собиравшие падалицу-яблоки. Спрятавшись за деревом, он с улыбкой слушал легкий задорный напев. Заметив его, девушки убежали.

Песня в ушах у него мигом претворилась во что-то другое, только страшно похожее. Трепеща от радости, он слушал, как этот насмешливый девичий перепляс цветной ниткой вплетается, врастает в томный жестокий напев цыганской ночи.

День у Сатиных начинался рано.

Первыми девочки Наташа и Соня, в коричневых форменных платьях и

черных передниках, обжигаясь, пили чай из блюдец, поглядывая на окна. За окнами был туман. На ветках желтели, вздрагивая, неопавшие желтые листья.

Потом выходил Саша в расстегнутой серой студенческой тужурке. Глотая крепкий чай, он с жадностью прочитывал газету и, машинально сунув ее в карман, уходил в университет.

С Сашком происходила какая-то перемена. Вечерами, случалось, он по-прежнему балагурил, поминая своего любимца Бенердаки. Но в первый же день Сашок показался Сергею человеком, которого постоянно лихорадит. Едва ли только возбудителем этой лихорадки была юриспруденция, которую он изучал в университете. Он много и усердно занимался. Когда к нему входили, не постучавшись, он часто привычным движением захлопывал какую-то книгу. Однажды Сергей машинально прочитал заглавие — «Капитал», оттиснутое на крышке переплета.

«При чем тут «Капитал»?..» — подумал он и хотел спросить у Сашка, но, как водится, забыл.

Кроме книг, на столе лежали груды русских и немецких газет, исчерченных красным карандашом.

Осень принесла еще одну перемену в жизнь музыканта, Его пригласили занять должность штатного преподавателя в женском Мариинском училище. Материально эта «служба» давала Сергею около пятидесяти рублей в месяц. Но это был верный и, главное, постоянный заработок.

Вслед за Сергеем к Сатиным приехала на всю зиму Леля Скалон. Стала покашливать, и врачи выслали ее до весны из гнилого Петербурга. Когда Сергей играл в мезонине, Леля садилась подле окна с книгой или рукодельем, глядя на пропадающее в тумане море мокрых крыш, колоколен и облетевших садов. Кот Ерофеич благодушно мурлыкал у нее на коленях. Ему, очевидно, нравились гаммы.

Однажды постом среди дня у Сергея не было уроков. Он повел Лелю в Третьяковскую галерею. Часа два они провели у картины Крамского. Возвращаясь, не доходя моста, они услышали цокот подков по обнажившейся мостовой. Обгоняя их на сытых серых лошадях, проскакал наряд конных жандармов.

У входа на мост два полицейских надзирателя провожали прохожих внимательными глазами,

— Что это? — встревожилась Леля.

— Ничего. Сейчас узнаем.

Он обратился к стоявшему под фонарем рыжему человеку в холщовом

переднике и шапке пирожком.

— Кто это там?

На Знаменке чернела толпа.

— Кто?!. — пороссячи глазки лавочника злобно сверкнули. — Кто, господин хороший?.. Скуденты бунтуют, дебошируют... Кому же еще!

Снова топот, по доосту ехал казачий разъезд.

— Пойдем, — спокойно проговорил Сергей и, взяв Лелю под руку, увел ее в ближайший переулочок.

Сашок вернулся поздно веселый и злой. За чаем рассказал, как студенты явились к ректору, требуя отставки одного ретрограда из числа профессоров. Ректор, перетрусив, вызвал полицию. «Альма матер» загудела, как растревоженный улей. Кое-кого схватили, как обычно невпопад.

В середине мая 1895 года Сатины и Скалоны, а с ними и Сергей выехали на все лето в Ивановку.

Накануне отъезда Сергей вдруг почувствовал, что время искусства, разрозненных опытов для него миновало, настал его час расправить плечи и показать свое буйно раскрывшееся дарование во весь его рост.

Разнородные впечатления жизни, затаенные раздумья над судьбой человеческой начали сливаться во что-то единое, необъятно огромное. И он понял, что это она, наконец, — его Первая симфония.

Медленно прорастая движущуюся звуковую ткань, вырисовывались очертания главной — темы. Откуда она?

Может быть, она родилась из напева монашеской стихиры, которую Сергей слышал однажды зимой, зайдя еще до рассвета под гулкие своды Чудова монастыря? Едва ли! Всю свою жизнь Рахманинов избегал прямых заимствований из фольклора и из обрядовых мелодий. Он мог заимствовать лишь отдельные интонации, которые в сознании художника обретали совершенно новое звучание.

Преображенная в его сознании, в его памяти, тема обрела мало-помалу совсем новый смысл.

Он считал дни и часы, рвался к одиночеству, к фортепьяно, к бумаге. Но когда он нашел все это, то увидел, что перед ним не полет, не бури вдохновения, но труд огромный, медленный и кропотливый. Может быть, раньше чем творчески поднимать пласты больших философских обобщений, он должен попытаться глубже понять, осмыслить мир, в котором он живет.

Он с жадностью набросился на книги. Но это на первых порах повело к еще большему разладу.

Первым попался ему в руки чеховский «Черный монах». Этот странный рассказ взбудоражил его. Закрывая глаза, он видел огромный столб черной пыли, гонимой ветром по большаку. В шуме деревьев ему слышались льстивые речи монаха. А что, если он, Сергей, во власти ложных мечтаний, уводящих от жизни, если и он, как Коврин, поддавшись лукавым нашептываниям, возомнил себя избранником небес?..

Кое о чем Сергей нехотя проговорился Сашку. Сашок засмеялся.

— Нет, нет, — сказал он. — Не мучай себя понапрасну. Эта штука тебе никак не угрожает, и прежде всего потому, что ты всю свою жизнь будешь сомневаться в себе, в своей музыке, в своем даровании... Но это... как бы тебе сказать... только одна сторона вопроса. А вот «Палату № 6» ты читал?

Сергей мрачно кивнул головой и поежился, припомнив эту, быть может, самую страшную повесть в русской литературе.

— Неужели, — сказал он, — нельзя было рассказать об этом как-нибудь... иначе!

— Никак нельзя. — Саша покачал головой. — Еще резче надо, чтобы до нас с тобой дошло... История сама по себе, видишь ли, довольно банальная. Но от этого она в тысячу крат страшнее.

— Но что же делать тогда?..

— Драться, — сказал Сашок, ударив кулаком по ладони, и добавил мягче: — Каждому, разумеется, в меру его сил и способностей. Тебе много дано. Ты со своей музыкой можешь дойти до самого нутра человеческого. Нужно, чтобы каждый хоть на минуту почувствовал себя в этой палате номер шесть, черт бы ее подрал!.. Ведь мы живем в ней. Ну, а уж черную работу мы возьмем на себя!

— Кто это «вы»?

Сашок немного смутился, потом глянул на Сергея с необыкновенной нежностью.

— Эх, Сергуша!.. — сказал он, тряхнув его за плечо, и пошел прочь.

Еще в былые годы Сергей называл Наташу и Соню Сатиных своими детьми. В письме к сестрам Скалон жаловался, что дети «мало покоят его старость».

Наташу, худенькую и черноволосую, Сережа дразнил, тихонько и горестно причитая:

Худа, как палка,
Черна, как галка...

Соню, как и все, звал «Фофой».

Сергей и не заметил, как его сестренки выросли. Обе при чужих были очень застенчивы и молчаливы, но на том сходство между девушками и ограничивалось. Каждая жила своей жизнью. Наташа с годами стала неуловимо хорошееть, сделалась похожей на грузинку, страстно отдавалась игре на фортепьяно.

Светловолосая сероглазая Соня с юных лет всеми помыслами жила у входа в загадочный мир природы. Ни наряды, ни танцы не имели для нее никакой привлекательности. Жуки, бабочки, стрекозы, деревья, цветы и злаки — вот что занимало Фофу. Книжки и гербарий были ее друзьями и советчиками в жизни да еще музыка, которую она, как и старшая сестра, беззаветно любила.

Верочка сделалась усердной рукодельницей, много читала, сидя в огромном кресле у раскрытого в сад окна.

Издали улыбалась Сергею, была, как прежде, весела, с волнением слушала музыку. Но с глазу на глаз с Сергеем тотчас же замыкалась в себе. Только и был между ними за все лето один коротенький разговор, да и то довольно странный.

В начале июля Сергея неожиданно свалила малярия. Сестры нежно ухаживали за больным.

Раз под вечер Верочка, взглянув на рабочий стол Сергея, увидела стопу нотных листов.

— Что это?.. Сережа!.. Симфония реминор? — она шевельнула стрельчатой бровью. — «Посвящается...» Кому? Мне?..

Сергей немного смутился.

— Нет, — сказал он с запинкой. — Вам, Брикки, я напишу совсем другую...

— Другую... — разочарованно улыбнулась она. — Когда же ждать ее?.. Спешите, милый музыкант! Мой век недолог.

С начала августа жизненный распорядок был сломан до основания. Сергей начал работать с каким-то исступленным упорством по десять-двенадцать часов в день. Со времен создания «Алеко» в жизни у него не было ничего подобного.

Ночами лили дожди. А он лежал без сна, заложив под голову руки, и

слушал, как шумит сад.

Когда тридцатого августа симфония была закончена и в партитуре, он сказал себе: «Вот и я кончил!» Но в словах этих для него был иронический смысл, потому что он знал, что мучения его только начинаются, что самое трудное и страшное еще впереди.

Странной была судьба этого второго ивановского лета!

Занятый своим, Сергей словно не замечал его и спохватился, только когда оно миновало.

Холодным вечером в конце сентября, при лампе, под шум дождя, он писал письмо вслед уехавшим накануне сестрам Скалон:

«Сейчас перечитал Сонечкино письмо. По ее словам, и пусто здесь без вас, и тихо, и странно; не могла дрянная девчонка прямо сказать, что «скучно». Могу прямо так сказать, что мне без вас, дорогие кузины, ужасно, невозможно скучно. Тоска страшная! Никто здесь без вас никому не завидует... никто громко на все село не зевает, никто мило симпатично не свиристит. Вообще здесь заодно с погодой «пасмурно, сыро и холодно»...»

Вскоре по приезде в Москву к Сергею явился некий Г.Р. Лангевиц — ипрессарио концертов камерной музыки, город Варшава. (Так он буквально и отрекомендовался!)

Он предложил музыканту в ноябре и декабре дать ряд концертов в городах «Царства Польского» и прибалтийских губерний вместе с прославленной итальянской скрипачкой де Туа — всего двадцать два концерта.

На другой день в филармонии Сергей был представлен миниатюрной женщине лет тридцати, с волосами цвета воронова крыла. Она кокетливо щурила глаза, расточала улыбки и щебетала на невообразимом франко-итальянском жаргоне. Присутствовавший при встрече Лангевиц объявил музыканту, что перед ним графиня Мария Феличита (она же Терезина) де Туа-и-Франки-Верней де-ла-Валетта.

Столь длинное и цветистое имя его титулованной партнерши смутило Сергея и еще больше — ее манеры. Однако мосты были сожжены.

Условия контракта были многообещающими и сулили Сергею безбедное и беспечальное существование на всю зиму. В то же время имя Рахманинова должно было выйти, наконец, из треугольника Москва — Харьков — Киев на широкие просторы земли Русской.

Начало турне в Лодзи было весьма обнадеживающим. Сергей имел большой успех, но Терезина, разумеется, большой. Играла она, правда, не

особенно, техника из средних. Зато глазами и улыбками играла перед публикой просто замечательно. Артистка она была несерьезная, хотя, безусловно, талантливая. Ее сладких улыбок, обрываний на высоких нотах, ее фермат а ла Мазини Сергей без злости не мог переносить. Кстати, он узнал за ней еще одну черту: она была очень скупа. С Сергеем она была обворожительна, опасаясь, как видно, что он удерет. Как показало недалекое будущее, ее опасения отнюдь не лишены были оснований.

Все же финал предприятия был неожиданным для всех, не исключая и самого Сергея.

Путешествие в Могилев по тряской и размытой дороге было каплей, переполнившей чашу. После второго могилевского концерта, воспользовавшись неуплатой к сроку гонорара, Сергей, расторгнув контракт, уложил вещи и уехал в Москву.

По возвращении он выглядел сконфуженным. Жаль было Лангевица, которого он подвел, В то же время он, как мальчишка, радовался вновь обретенной свободе.

Вскоре все забылось, лишь один, будто бы ничтожный, случай изредка приходил на память музыканту. По дороге в Могилев в тряском рыдване Терезина, кутаясь в рысью шубу, дрожала от холода и страха.

— О мадонна! — крестясь, бормотала она.

Неожиданно справа от грязной дороги, за лесом, заколыхало зарево, отраженное на низких облаках.

— Что горит? — спросил Сергей у возницы.

— Экономия пана Мазуркевича, — отчеканил верзила в бараньем тулупе, сидевший на козлах.

И Сергей уловил выражение нескрываемого злорадного торжества, преобразившего на миг горбоносое лицо, заросшее рыжей щетиной.

Уже не впервые блеснула догадка, что, наверное, в подземельях Кощеева царства идет своя, иная жизнь, скрытая от неискушенного глаза, но имеющая глубокий и, может быть, грозный смысл.

Сергей Иванович Танеев долго молча ходил по комнате.

— Что ж вы не показали раньше, Сережа? Показать тут, конечно, есть что, но...

Вдруг он заговорил тонким плачущим голосом, словно жалуясь кому-то:

— Эти мелодии вялы, бескрасочны... Ничего с ними не поделаешь! Однако... это вовсе не значит, что вы вправе ее утаить! — почти сурово закончил он.

Сергей и сам знал: не все досказано до конца в его симфонии.

В марте у Саши Сатина неожиданно открылось кровохарканье, неожиданно только для близких. Сам он никогда не щадил себя и спокойно ждал своего часа. Лежа на спине в клинике Склифосовского, с лихорадочными пятнами на скулах, он пытался еще шепотом балагурить, чтобы подбодрить мать. Улыбаясь, глядел на букетик ярко-алых роз, который принесла ему молчаливая и очень застенчивая девушка курсистка в черной шапочке с вуалью. Один Сашок, по-видимому, знал, кто она. Но на вопросы близких промолчал.

И, как это ни странно, через месяц он встал. Розы сменились не один раз. Несмотря на воркотню врачей, он не позволял их убрать из палаты. В апреле по настоянию врачей Сашка увезли в Тироль.

4

По вскрывшейся раньше срока реке плыл лед. Стоял слабый туман. В тумане светило солнце, стояли отраженные в текущей воде красные башни Кремля.

Москва готовилась к коронации молодого царя.

Еще за две недели со всех концов России свезли и согнали по этапу толпы крестьян ради «единения царя с народом».

Улицы и площади поражали ярмарочной пестротой неописуемых костюмов, свиток, сарафанов, гудели гомоном невообразимых наречий. Запуганные и потерянные люди бродили по муравейнику огромного города, которому дворники и какие-то комендантские команды пытались придать видимость чистоты и порядка.

Сбившись с ног, мужики и бабы садились на землю на бульварах и скверах. («Все же травица, а не проклятуший камень!») Но их сейчас же, топя ногами и остервенело бранясь, гнала полиция.

Вконец затурканые царские гости бежали куда глаза глядят, в страхе крестились на Казанский вокзал и на Румянцевский музей, на торговые ряды и городскую думу.

Обычно Сергей сторонился толпы. Теперь же он часами бродил в пестрой многоязычной сутолоке, жадно слушая и глядя во все глаза. Не просто толпа! Это была Россия. Как на сельский праздник разодетые люди,

приехавшие не своей волей, принесли с собой запах ее бескрайних полей, лесных чащ, рек и озер, синеющих среди зеленых косогоров, запах сырой земли и степных цветов.

Но вот началось!

От пушечного грома загудела земля. С утра до ночи до обморочной одури звонили колокола во всех сорока сороковах первопрестольной столицы; тарахтели выкаченные на свет божий из Грановитой палаты золоченые кареты; багровея от рева и натуги, под сводами Архангельского собора гласили «многая лета» звероподобные дьяконы, бухали вразнобой военные оркестры, чадили на окнах и карнизах домов масляные плашки иллюминации, с треском рассыпаясь малиновым и зеленым огнем, лопались в небе ракеты, металась по городу ошалелая полиция.

Прошло два дня, и наступил третий.

На краю города на Ходынском поле все было готово для встречи царя с народом и для гуляния: стояли наскоро сколоченные из досок, перевитых трехцветными флагами, трибуны для народа, привезены с ночи бочки вина и пива, фуры царских подарков, эмалевых кружек с орлами, набитых сладостями.

С полудня ветер усилился. Солнце скрылось. Северный край неба над городом наливался темной, свинцовой, угрожающей синевой.

Весь день Сергея томила непонятная тревога. Работа валилась из рук, к фортепьяно тошно было прикоснуться.

В пятом часу низкий, глухой, громяющий гул прокатился за домами. Гром? Не только гром, что-то еще!..

Резким толчком он отворил окошко. Ветер рвал раму, гнал над городом желто-бурые тучи песку.

Они вздымались над кровлями все выше и выше, заслоняя глухую черноту надвинувшейся грозы. Издалека долетал какой-то невнятный гомон. С неистовым звоном по Арбату затарахтели пожарные бочки. «Сбор всех частей!» — крикнул кто-то на улице. За пожарными поскакал наряд конных городских, потом, бегом, с офицером во главе воинская команда. Глухая темнота наполняла комнаты.

Вдруг в прихожей чей-то плач, испуганные голоса. Марина вся в слезах, в сбитом на плечи платке.

— Боже мой! — причитала она, задыхаясь от рыданий. — Все пропали... Там, на Ходынском... Все повалилось... подавило и старых и малых.

Совсем поздно, когда на дворе шумел ливень, вернулся доктор Григорий Львович Грауэрман, бывший воспитатель Сашка, издавна

живший у Сатиных на правах члена семьи. Вода струилась с полей его черной шляпы.

— Кончено! — прокричал он тонким рыдающим голосом, подняв над головой мокрый свернутый зонтик. — Кончено! Доигрались в коронацию! Теперь все... Запомните мои слова: больше в России никаких коронаций не будет. Это последняя. Не будет!.. Я с ума сошел. Зачем я здесь?.. Я бегу... Еду в Обуховку. Там тысячи трупов, покалеченных, сотни подвод везут их... Вся Москва в крови. Эта кровь не забудется, не простится...

Он замолк и закрыл лицо руками. Зонтик покатился по полу.

— Саша! Саша! — пробормотал он. — Какое счастье, что его нет в Москве!..

Всю ночь по кровле мезонина барабанил дождь, шумел ветер. В шуме Сергею мерещился то грозный ропот толпы, то надрывающий сердце жалкий плач.

«Что это? — думал он, глядя широко раскрытыми глазами в потолок. — Глупость или злодейство?..»

Прошла неделя. Свезли обломки, зарыли братские могилы, засыпали желтым песком следы неповинной крови, оплакали, отпели. Уцелевших торопливо отправили по домам. Царь покинул Москву тайно, под покровом ночи.

И город, стряхнув с плеч, как страшный сон, память о кровавом торжестве, вернулся к будням.

...В конце мая, отозвавшись на приглашение Лысиковых, Сергей на неделю выехал в Лебедин.

И едва ли не с первым оборотом колес все в душе музыканта пришло в движение.

Ничто на свете не проходит даром!

Симфония, задуманная год назад и, как ему казалось, уже померкнувшая в его памяти, неожиданно как-то вспыхнула и вся озарилась небывалым светом.

Еще в дни первоначальных поисков и блужданий, когда сам автор видел в своем творении лишь попытку по-новому раскрыть тему векового спора человека с судьбой, он догадывался, что за этой темой стоит другая, более глубокая и важная.

Свыше полувека пытаются разгадать программу симфонии, проникнуть в существо ее замысла.

Вся она, ее посвящение «А. Л.» и эпитафия дают захватывающий материал для размышления и догадок.

Легко было бы поддасться искушению увидеть в суровом и грозном

«монастырском» напеве главной партии «тему божественной справедливости», а в хрупкой и печальной восточного склада мелодии — грациозный женственный портрет той, кому посвящено сочинение.

Многим казалось, что симфония — это всего лишь новый шаг по пути, указанному Чайковским, который в свое время в крупных своих сочинениях с непревзойденной глубиной и силой выразил порывы современного ему человека к свету и счастью. Однако такой вывод был бы лишь полуправдой. Корень трагического конфликта, раскрываемого в симфонии Рахманинова, думается, лежит гораздо глубже. В постепенно накаливающейся атмосфере эпохи на рубеже нового столетия загадка судьбы потребовала совершенно нового решения.

Тема судьбы человеческой оказалась тесно переплетенной с темой судеб родины и народа.

Не потому ли по своему коренному складу симфония Рахманинова глубоко эпична и перекликается с симфоническими полотнами Бородина? Вся первая часть идет и ширится, как степная гроза, как зарево, багрящее серебристые космы ковыля.

В музыке Первой симфонии раз и навсегда сложно и неразрывно переплелись обе главные линии развития русского музыкального искусства, нашедшие свое отражение в творчестве «кучкистов» и московской школы.

Еще в дни первых поисков и блужданий Сергею казалось, что главная тема симфонии сочетается в его воображении с какими-то словами. Он нашел их нечаянно, раскрыв наудачу заглавный лист «Анны Карениной». Сердце дрогнуло. Вот они:

«Мне отмщение и аз воздам».

Но загадка не была разгадана до конца.

За рядами нотных строк нередко сквозил ему чей-то строгий, величавый и до странности знакомый образ.

Ранней весной этого года, бродя по залам Третьяковской галереи, Сергей остановился перед картиной В. Васнецова «Гамаюн — птица вещая». Не одному музыканту пала на душу эта странная картина. Три года спустя ей посвятил взволнованные строки юный Александр Блок:

...Предвечным ужасом объят,
Прекрасный лик горит любовью,

Но вещей правдою звучат
Уста, запекшиеся кровью.

Вглядываясь в прекрасный, страдальческий облик Гамаюн-птицы, Рахманинов думал о том, что, наверное, всю жизнь ему повсюду сквозили ее изменчивые черты: на мокром озерном песке у Ильменя, и в душном, набитом людьми вагоне, и на задворках под стенами Донского монастыря. И тут же приходило на ум музыканту, что, может быть, ей, России, а не библейскому Иегове принадлежит по праву «отмщение» за море слез, за реки пролитой крови, и рано или поздно она воздаст по заслугам за сонмы неотмщенных обид.

В конце июля пришло отчаянное письмо из Тироля. Сашок томился, просил взять его домой. Шестого августа Варвара Аркадьевна с мужем выехали за ним. А через месяц мокрый, забрызганный грязью верховой привез со станции телеграмму на имя Наташи. В тот же день Наташа, Соня и Сергей выехали в Москву — и опоздали.

Сашок лежал в гробу спокойный, с затаенной улыбкой. Ответ на эту улыбку Сергей, переступив порог, увидел на лице у девушки в черном платье и шапочке, одиноко стоявшей у изголовья. Кроме нее, в эту минуту в комнате никого не было. Из-под длинных ресниц влажными глазами она глядела на Сашка. Сергей невольно замер возле порога. Услышав шаги, она молча положила цветы и пошла к двери. Встретившись глазами с Сергеем, она слегка наклонила голову и вышла.

Невозможно было поверить в то, что произошло. В комнатах, казалось, еще звучал его голос, неудержимый смех...

На другой день все выехали в Ивановку хоронить Сашка.

Ветер сдувал набок желтое пламя восковых свечей, почти невидимое при ярком солнце.

Сергей стоял без шапки, прижав к себе неутешно рыдающую Соню.

И «жизнь бесконечная», которую, бряцая кадиллом, срывающимся голосом возглашал сельский попик над свежей могилой Саши, засыпанной цветами, вместе с легким голубым дымом уходила в поля, унося с собой его страстный, неукротимый гнев, его надежды и веру в победу света над темнотой.

Под солнцем на юг с еле слышным кликом шли косяки журавлей.

Сергей провожал их жадным печальным взглядом, куда они не пропали вдали.

Еще летом Сергей Иванович затеял переписку с Беляевым о включении симфонии Рахманинова в программы «Русских симфонических концертов».

Митрофан Петрович Беляев в плеяде русских «меценатов» представлял собою фигуру весьма примечательную. Одаренный дилетант, в молодости он был покорен музыкой Глинки, потом сблизился с композиторами распавшейся «Могучей кучки» и учредил в Лейпциге русское нотоиздательство, в Петербурге — симфонические концерты!

Все свое огромное состояние он завещал «Попечительному совету для поощрения русских композиторов и музыкантов». В части отбора произведений он безгранично доверял художественному вкусу Глазунова.

Первая реакция из Питера на присланную партитуру была не слишком благоприятной.

Но Сергей Иванович был настойчив.

Он желал, чтобы комитет не отнесся слишком строго к тем «гармоническим вычурностям, которые встречаются в этом произведении, несомненно талантливом. Человек столь одаренный, как Рахманинов, скорее выйдет на свой истинный путь, если будет слышать свои сочинения. Встречающиеся в них недостатки вообще свойственны современной нам музыке, и увлечение ими понятно со стороны юного композитора».

Если ему, как он пишет, Рахманинов показался самонадеянным, то это может быть приписано сознанию им своего действительно выдающегося композиторского дарования. «Дарование это, если еще не вполне выказалось в теперешних его сочинениях, то, по моему глубокому убеждению, не замедлит сказаться в последующих. Вообще от Рахманинова я ожидаю очень много».

Зима 1896 года прошла в тревоге и материальной нужде.

Единой опорой в жизни музыканта было его инспекторство в Мариинском училище. При всей нелюбви к педагогическим занятиям он вскоре свыкся с работой и даже полюбил девочек-сироток, с трепетом и радостью ожидавших его прихода.

Сергей писал, что эта «постоянная нужда с одной стороны полезна, заставляет аккуратно работать», но с другой заставляет вкус музыканта быть менее разборчивым. С октября он написал шесть детских хоров, шесть фортепьянных пьес и двенадцать романсов.

Среди этих «денежных» романсов были подлинные жемчужины.

«Островок» на слова Шелли, разумеется, не случайно он посвятил Соне Сатиной. Чистый, задумчивый образ природы был сродни ее душе.

Совсем на ином ключе прозвучали «Весенние воды» на слова Тютчева. Этот романс, посвященный А. Орнатской, десять лет спустя сделался в России чуть ли не символом «общественного пробуждения».

По сей день остается загадкой, как среди сумрачной и тревожной зимы вдруг забил этот ключ вдохновения, буйной радости.

Весна идет! Весна идет!
Мы молодой весны гонцы,
Она нас выслала вперед...

Последним, двенадцатым романсом был «Пора!» на популярный в те годы текст Надсона. Сам по себе образ надсоновского «пророка», к которому взывает поэт, казался Сергею надуманным и театральным. Но в мелодии стиха он услышал мятежный напев скорби, гнева, возмущения.

Призыв «Пора!» прозвучал у него как набат.

Музыка звала, заклинала «всей силою печали, всей силою любви» проснуться, понять, почувствовать, что нельзя дальше спокойно жить в мире, где «сознание умирает, стыд гаснет, совесть спит...».

Поверхность лавы только кажется холодной. Здесь и там вспыхивают языки пламени, горят поместья панов Мазуркевичей, над черными пустырями фабричных дворов нависают тучи тяжелой ненависти. Она течет против воли тех, кто хочет направить ее по своему желанию, и тех, кто ничего не хочет ни видеть, ни слышать, ни замечать.

В одном прав был Сашок несомненно: художник не может, не смеет быть слепым и глухим к окружающему, жить в отрыве от своего времени, своего поколения.

Его сверстники, «девяностычники», чем-то не похожи на своих старших братьев — «восьмидесятников», живших под тяжелой железной пятой после первого марта. Не сторониться их надо, но идти вместе с ними, постараться понять их стремления, будить человеческое достоинство, будоражить их совесть.

Никогда музыка Сергея Рахманинова не звала в нереальный, сверхчувственный мир. Все, о чем она повествует, происходит на земле, на русской земле, в ее природе, в душе русского человека. И он верил, что

всегда будет так, покуда он жив.

В декабре по заранее сделанным наброскам он записал шесть «музыкальных моментов» для фортепьяно.

Целая пропасть отделяет «музыкальные моменты» от первых его юношеских циклов.

Словно приподняв завесу далекого будущего, со страниц «музыкальных моментов» уже зазвучали эти рокоты гнева, возмущения, борьбы, эта распевная, чисто рахманиновская мятежность, то, что позднее раскрылось во всю ширь в прелюдиях, этюдах и фортепьянных сонатах.

Наконец твердо обозначился день концерта. Симфония Рахманинова будет исполнена в Петербурге пятнадцатого марта. Чтобы успеть к началу репетиций, Сергей должен был выехать в Петербург не позднее восьмого.

К исходу февраля в воздухе запахло талым, мякнущим снегом. Прилетели грачи и суетливо, выживая галок, гнездились на деревьях подле Ивана Воина. С крыш сыпалась капель. И небо порой невзначай раскрывало из облачных складок и снова жмурило свои яркие голубые глаза.

Варвара Аркадьевна привыкла быть хозяйкой у себя в доме и в семье. Но когда однажды за вечерним чаем Наташа, сильно побледнев, сказала, что поедет вместе с Сергеем в Петербург, к Скалонам, она как-то не сумела этому противостоять. Подумав, махнула рукой:

— Делайте как хотите!

Когда вагон тронулся, Сергей заметил одинокую женскую фигуру, стоявшую поодаль в тени под навесом. Только когда она подняла руку, крестя украдкой, он догадался, что это Родная.

Стемнело. Усатый проводник зажег в фонарях толстые коптящие стеариновые свечи. В полутьме за окном над тающим снегом кружились стаи птиц.

Вдруг Наташа молча положила ладонь на его рукав. Он улыбнулся, поняв, что она видит его насквозь и теплой сестринской лаской хочет вернуть Сергею веру в себя самого в эти трудные для него часы. Но даже на миг не мелькнула мысль о том, что худенькая девочка с упрямыми темно-серыми глазами когда-то разделит с ним тревоги и тяготы долгого пути и эта тонкая еще рука подростка станет для него такой твердой опорой на всю жизнь.

Позднее она задремала, свернувшись калачиком на жестком коротком диване, обитом серым сукном.

А Сергей почти всю ночь курил у окошка, подернутого паром.

Да, все поставлено на карту!

Из разговоров в консерватории он понял, что на его симфонию в Москве возлагают большие надежды.

Мало того: за неделю до отъезда Гутхейль, встретив его на улице, сказал, что покупает симфонию, и распорядился конторе выдать ему пятьсот рублей. Это было, разумеется, кстати.

Но если...

Еще минувшей осенью, вернувшись из Петербурга, Брандуков рассказал Сергею о провале новой пьесы А. Чехова «Чайка», поставленной 17 октября на сцене Александринского театра. Сергея тогда очень взволновал рассказ друга-музыканта. Теперь мысль о гибели «Чайки» вновь пришла ему на память.

Он крепко зажмурил глаза.

Он понимал, что это очень глупо, и все-таки надеялся встретить в этих гулких вестибюлях, украшенных портретами царей, хотя бы тень праздничного подъема перед началом первой репетиции. Вместо этого он увидел серые, заспанные, равнодушные лица музыкантов-ремесленников, услышал запах застарелой сырости и истлевшей бумаги,

С трудом он разыскал Глазунова.

Александр Константинович, уже начинавший полнеть, был озабочен. Покручивая свой ханский ус, рассеянно отвечал на вопросы.

Первые же звуки оркестра — гулкий расстроенный унисон — просто ошеломили Сергея. Неужели он это написал?!

Неразученные партии, отсутствие ритма, скачки, неожиданные провалы... Все это казалось ему до того странным, что он сразу потерял нить и почти не смог ничего ответить на вопросы дирижера. Какие тут замечания! Все дико, все ужасно. В ушах у него стоял пустынный звон.

Вечером у Скалонов Сергей преображался, хохотал, рассказывал небылицы, импровизировал на рояле «брильянтовые» вариации на тему «Исаия, ликуй». Наташа присматривалась к нему недоверчивыми глазами. Нет ли в этом напускной рисовки, бравады перед неотвратимым боем?

Генеральную репетицию назначили на тринадцатое. В зале было сыро и темно. Только две люстры горели над эстрадой.

Глазунов, медлительный и равнодушный, весь поглощенный

партитурой, не глядя на оркестр, безучастно махал палочкой. Казалось, его не заботило, следует ли за этими взмахами вся масса струнных, духовых и ударных.

Во время коротких пауз Сергей, позабыв о «корифеях», глядящих на него из полутемного зала, несколько раз подходил к дирижеру.

— По-моему, оркестр просто не знает партий, Александр Константинович! — сдерживая гнев, говорил он.

— Я думаю, что все сойдет хорошо, — спокойно отвечал Глазунов.

И настал день.

Утром через слабый туман проглянуло солнце, позолотило купол Исаакия, зажгло Адмиралтейскую иглу. И по улицам, одетым в настывший за зиму гранит, побежала тень еще нерешительной улыбки. Над домами нежно заголубело небо. Это была весна, но какая-то словно не настоящая... Чего ей недоставало, трудно было понять. Она и улыбалась и роняла скупые слезы, а глядела в глаза людям холодно.

Он пришел к Скалонам обедать, как было условлено, был очень бледен, но внешне спокоен.

К вечеру повалил мокрый снег. Площадь у филармонического подъезда побелела. Крупные хлопья роились вокруг недавно установленных дуговых фонарей. Они светили ярким, чуть дрожащим, голубым светом.

Съезд был давно небывалый. Вереницами подъезжали и отъезжали сани и кареты.

Из-за колонны ему были видны передние ряды партера. Вот они, его судьи!

Уже поблескивают очки Римского-Корсакова, белеют бороды братьев Стасовых. Все толпятся вокруг Митрофана Беляева; вот Направник с качающейся на тонкой шее кудрявой головой. А этот, средних лет блондин с небольшой бородкой, в очках и форме полковника инженерных войск, наверно, Цезарь Антонович Кюи. Боже, зачем их столько!..

А вот совсем недалеко, в третьем ряду, генерал Скалон с тремя дочерьми. Брикуша сидит справа в новой белой меховой пелеринке, накинутой на худенькие плечи.

Зал быстро наполнялся. Шелка, меха, эполеты...

Весь цвет Петербурга! Только из задних рядов и с балкона здесь и там выглядывали позеленелые от времени, обшитые тесьмой сюртуки бородатых, ученого вида старичков и косоворотки под расстегнутыми студенческими тужурками.

В начале концерта впервые исполнялась Шестая симфония Глазунова.

Какой оркестр! Без тени зависти Сергей радовался чужому счастью, щедрой удаче. Если в этом еще не пробудившемся Кощеевом царстве, в царстве черствых, окостенелых душ нашелся человек, который услышал сам и подарил людям такую радость, за это ему все можно было простить.

В антракте Сергей подошел к сестрам. Подошли и Слонов с Юрием Сахновским. Сергей был спокоен, шутил.

Далеко в партере он заметил Танеева.

Зазвенел колокольчик. Верочка побледнела.

— Брикки-Врикуша, — ласково проговорил он, — ну стоит ли так волноваться! Как бы ни прошла симфония, но ведь она кончится! Значит, все будет хорошо.

Он вспомнил, что ему хочется курить, и быстро направился к выходу, оставив Слонова и Сахновского с барышнями.

Он шел навстречу людскому потоку, неторопливо возвращавшемуся в зал.

Прозвенел второй звонок, и Сергей, так и не раскрыв портсигара, вернулся в зал.

И вдруг...

Сергей даже не сразу понял, откуда этот ужасный лязг ржавого железа, эти тяжеловесные расстроенные октавы.

«Не может быть!» — пробормотал он. Все, что он слышал на репетициях, было во сто крат лучше этого кошмара. А темп... Но когда летящая тема сонатного аллегро была невпопад подхвачена оркестром, он понял, что его дело проиграно. Он не помнил сам, как очутился на витой чугунной лестнице, ведущей на хоры. Там, на ледяных ступенях, он просидел почти до конца, корчась от нестерпимой боли и порой зажимая себе уши ладонями, чтобы не слышать терзающей слух какофонии.

Но, к сожалению, он слышал все, даже невнятный гул, пробегавший по залу.

В третьей, медленной части ненадолго наступило прояснение. Но финал погубил все. Он вылился в чудовищный гротеск, а дикий скифский перепляс вызвал сдержанный смех в зале.

Два месяца спустя Сергей писал: «Я удивляюсь, как такой высокоталантливый человек, как Глазунов, может так плохо дирижировать! Я не говорю уже о дирижерской технике (ее у него и спрашивать нечего). Я говорю о его музыкальности. Он ничего не чувствует, когда дирижирует. Он как будто ничего не понимает...»

Но корень несчастья лежал, вероятно, гораздо глубже, чем ему

казалось. Сама природа музыкального мышления, мировоззрение и художественные принципы — все было чуждым Глазунову в этой партитуре.

Музыканты нервничали, листая ноты. Там не в лад загремит тромбон, там пробасит туба.

Наконец Глазунов с отчаянием в последний раз Взмахнул палочкой. В наступившей гробовой тишине ни к селу ни к городу загудел большой барабан.

В разных концах зала послышались жидкие хлопки.

Несколько человек, хлопая в ладоши, подошли к самой эстраде.

— Глазунов! — демонстративно крикнул один из них.

Глазунов оглянулся. Лицо его было все в красных пятнах. Мокрая прядь прилипла к широкому лбу. Неловко, боком, он поклонился и, не оборачиваясь, ушел.

Владимир Стасов, громогласно кашлянув, вытер платком лысеющую макушку.

— Это бог знает что! — пробасил он. — Впервые подобное слышу.

Цезарь Кюи, ухмыляясь в усы, мысленно уже складывал строки, написанные на другое утро. Стрела была отточена тонко. Признавая талант молодого москвича, он в то же время жаловался на «бедность тем и извращенность гармоний».

Но смертельное жало было припасено напоследок!

«Если бы в аду была консерватория, если бы одному из ее даровитых музыкантов было задано написать программную симфонию на тему «семи египетских казней» и если бы он написал симфонию вроде симфонии г. Рахманинова, то он блестяще выполнил бы свою задачу и привел бы в восторг обитателей ада».

Один Римский-Корсаков был невозмутим и непроницаем. В тот же вечер он записал в своей «Летописи» с характерным для этого произведения протокольным лаконизмом:

«15-го марта, шла в первый раз чудесная Шестая симфония Глазунова до-минор, симфония реминор Рахманинова».

Едва Глазунов покинул эстраду, Наташа, пробираясь через толпу, побежала к подножью чугунной лестницы. Она видела, как Сергей ушел туда в начале второго отделения. Но лестница была пуста.

Только когда они садились в карету, он неожиданно подошел.

— Все хорошо, — сказал он, предупреждая вопросы. — Я ночью у мамы.

И раньше чем кто-нибудь из сестер откликнулся, он кивнул головой и пропал в белом хлопьями падающем снегу...

Утром его ждали напрасно. В начале второго Наташа поехала на поиски: к Прибытковым, на Фонтанку, куда глаза глядят... Она не могла больше выносить неизвестности.

Только в четвертом часу он пришел к Скалонам.

В прихожей его встретила Верочка. Молча взяла за руки. Руки были холодны как лед. Он где-то потерял перчатки. Верочке хотелось заплакать от жалости. Но она пересилила себя.

— Я через два часа еду, — сказал он, сняв мокрую шапку.

— Куда?..

— В Новгород, к бабушке.

— А деньги на билет у вас есть?

Помедлив минуту, он отрицательно покачал головой.

Верочка всплеснула руками:

— Господи, ну как же!.. Пойдемте к нам через детскую... Вас никто не увидит. Татуша, Леля, я... Сейчас все устроим...

Вдруг, быстро глянув на дверь гостиной, она встала на цыпочки и поцеловала его в губы. В этом горячем и нежном поцелуе прощания растаяли все размолвки и отчуждения, все, что когда-либо их разделяло.

Лицо у Сергея — неподвижная серая маска — дрогнуло. Он покрыл поцелуями ее руки, когда-то в дни счастья, в незапамятные годы, приносившие ему землянику. Не находя новых слов, он только бормотал по привычке:

— Спасибо вам, Брикуша, Беленькая... Вы хорошая, добрая...

Выбежала Леля и только ахнула. Они стащили с него мокрое пальто и увели через детскую к себе.

Отогревшись немного, он совладал с собой и, видя, как они мучаются, начал улыбаться.

— Сережа, родной, — волнуясь, говорила Тата, — через полтора месяца, в первых числах мая, мы увезем вас в Игнатово и никому не отдадим. Давайте слово сейчас. Да?..

— Да, — сказал он и по привычке добавил: — Есть воля ваша!

В Новгород весна не торопилась. Плакучие березы еще стояли в серебре. Шел седьмой час утра. Нехотя занималось седое хмуроватое утро.

Только-то и было весеннего, что грачи! Они уже копошились спозаранку на ветвях и, хлопая крыльями, стряхивали снег с деревьев на головы редких прохожих.

Все как было: те же дымы столбом, восходящие над скатами белых крыш к безветренному серому небу. Так же звонили к ранней обедне у Федора Стратилата. Те же девушки в коротких полушубках, пересмеиваясь, шли по воду к обмерзшему колодцу.

Вот одна, отделившись от подруг, пошла навстречу Сергею, качая на коромысле две бадьи. В бадьях тяжело плескалась студеная вода.

И легкая поступь, и жаркая краска ланит, и выброшенная на грудь из-под узорного платка тяжелая коса, все было в ней до того хорошо, что у Сергея по измученному бессонной ночью лицу прошла слабая улыбка.

Нет, нет, не конец еще, не «черная яма»! Ей, России, не будет и не может быть конца. И ради нее стоит перетерпеть все, что его впереди ожидало.

У ворот дома на Андреевской, бряцая сбруей, дожидались кого-то лошади. Высокий плечистый мужик в тулупе, стоя возле калитки, из-под руки вглядывался в подходившего Сергея. И вдруг, бросив оземь шапку и кнут, весь затрясся от смеха.

— Гаврила Олексич! — обрадовался, обняв его, Сергей. — А бабушка?..

— Ой, господи, — веселился Олексич. — Радость-то вот, смотри, пожалуйста!.. В Борисове она... Сейчас поедем. К вечеру ждали... А я думаю — подъеду про всяк час. Гости у нас. Владимир Васильевич с молодой... Тпр-ру, ты, черт косоглазый!.. Садись, Сергей Васильевич... Ну, радость!.. Сейчас супонь ослаблю.

Нельзя было без улыбки смотреть, как суетится этот большой, обычно медлительный человек. Ишь, борода поседела, а дуб все такой же!

Понеслись под гору. Ветер свистал в ушах, бренчали бубенчики, и серебряные березы важно качали вслед поникшими ветвями. Олексич все озирался, не веря глазам и словно побаиваясь: не потерять бы находку! Улыбался, поблескивая белыми зубами.

Заскрипели ворота в сугробах. Суматошливый Шарик, весь в снегу, визжа, прыгал на грудь Сергею.

Одна бабушка уже не спала и выбежала навстречу. Обнимая, он чувствовал, как дрожат ее плечи.

Она ни о чем не спросила, только гладила сухонькой рукой коротко стриженную голову внука. Но глаза ее, зоркие, всевидящие, без сомнения, что-то разглядели...

Владимир был для него совсем новый человек, словно они с братом повстречались впервые. От прежнего высокомерного задиры не осталось и помину. Высокий, сильный, спокойный, с добрыми и чуть насмешливыми глазами.

Сергея тронули и взволновали отношения Володи с женой. Совсем недавно еще женаты. Ему весело было смотреть на чужую теплоту, на чужое счастье, искреннее и нежное. Гляди, гляди на чужое, коль своего не дано!

О чем только не переговорили за долгий, но совсем еще зимний день! Только играть Сергею не захотелось. Сослался на больной палец. Так и не поднял крышки фортепьяно до самого отъезда.

В то же утро он сел писать сестрам.

А бабушка наказала на носках ходить в доме, чтобы не мешать ему!

Он писал, что от них поехал к Глазунову и содрогался от одной мысли о том, что, если бы не они, сестры, пожалуй, пришлось бы просить у него денег на дорогу.

Чтобы отважиться на этот неизбежный визит, Сергею пришлось собрать все свое мужество. Но Глазунов в первую же минуту обезоружил его своей простосердечной добротой и немного виноватой улыбкой.

Весь гнев и вся досада, принесенные музыкантом, мгновенно куда-то улетучились.

Много лет спустя в беседе с известным музыкантом и ученым Борисом Асафьевым Глазунов с большой теплотой отозвался о симфонии и посетовал на Рахманинова, навеки скрывшего ее от людей.

Он отрицал «категорический провал», о котором в свое время много говорилось и писалось.

«...Она была небрежно сыграна, потому что на беляевских концертах вошло в привычку недоучивать с оркестром, а тут трудности были изрядные, а музыка необычная, публика же досужая, в глубину не вникавшая. Рахманинов зря обиделся...»

Сергей уезжал в Москву вечером. Шумела, не унималась мартовская метель.

За ночь на станции Чудово, в ожидании поезда, он мысленно исходил все тропы в поисках для себя точки опоры.

И ничего не нашел, кроме любви бабушки и нежной сестринской привязанности к нему этих девочек, которых он нередко и незаслуженно обижал в своих письмах. Ему казалось, что теперь никакая ласка не способна утешить его рану. Насмерть ранено дорогое создание, никому

не причинившее зла.

А что, если не смерть это, а только сон? Может быть, только спит его симфония, как бородинская «княжна» в стеклянном гробу!

И никто не знает, скоро ль
Час настанет пробужденья...

Вздор какой-то идет на ум!

Он слишком хорошо знал себя самого, знал, что в его человеческой натуре есть и настойчивость и упорство в труде, но, увы, нет еще той воли к борьбе за себя, за свое искусство, веры в свою правоту, того страстного гнева, которым насыщены патетические страницы его клавиров и партитур.

«Странный и несчастный у вас характер, дорогой Сергей Васильевич!» — с горечью повторил он себе, перефразируя слова, сказанные кем-то Чайковскому. «А может быть, просто, ничтожный?..» — мерещился ему вкрадчивый шепот.

Вот пришел и его черед проститься с юностью. Что ж, пора! Со всяким это бывает.

А все-таки жаль.

Озираясь на прожитые годы, он думал о том, не слишком ли часто хмурился на жизнь, даже тогда, когда она ему улыбалась!

Счастье, нежное и молодое, прошло мимо него, но так близко, что он слышал его шаги. И не только слышал, но и рассказал о нем людям в своей музыке, в своих песнях.

А разве этого мало!

В юности, с которой он расстается сегодня, ничто не прошло напрасно: ни ее горечи, сомнения, падения, ни надежды и разочарования, ни ее драгоценные дары... Как это сказал Гоголь: «...Забирайте же с собой в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое ожесточенное мужество, забирайте с собой все человеческие движения, не оставляйте их на дороге: не подымете потом!»

Что, если юность была только прелюдией его славы?..

Ему показалось, что он видит и слышит, как проходят годы, как мучительно медленно, расправляя обожженные крылья, мужает душа, освобождается от пут холодного отчаяния, неверия в жизнь, в добро, в правду, в себя самого, освобождается от той душевной неподвижности,

которая страшнее, чем сама смерть.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ



Глава первая ЧАСТНАЯ ОПЕРА

1

Апрель в 97-м году выдался холодный. По целым дням Сергей лежал на кушетке, не реагируя ни на ласку, ни на робкие утешения, ни на уговоры взять себя в руки. Ломоты в суставах были ужасны, но глубокая, холодная,

ноющая боль в спине пугала его невыразимо.

— Почки, — сказал Григорий Львович, разведя руками.

Приглашенный профессор Остроумов подтвердил догадку.

— Увезите его куда-нибудь в деревню, и чем скорее, тем лучше.

Первого мая Сергей вместе с сестрами Скалон выехал в Нижний. У Наташи, Володи и Сони были экзамены. Однако провожать на вокзал прибежали все трое.

— Поручаю вам свое сокровище! — шепнула Наташа Леле. Губы у нее задрожали.

Лето было долгое — без малого четыре месяца. А прошло как один день.

Житье в Игнатове было раем. Тесовый дом стоял на высокой горе. Сергея поселили в просторной светлой комнате в мезонине. Наружная лестница вела на балкон. Глянешь с него ранним утром — дух занимается! Под горой большое озеро, старый дубовый лес, заливные луга.

Сестры ухаживали за ним, как за малым ребенком.

Но та внутренняя музыка, которую он привык слышать везде и во всем, замолкла, и эта душевная глухота мучила его невыразимо.

Только единственный раз что-то промелькнуло мимо него и тотчас же смолкло. Долго после того он не мог успокоиться.

Поздно вечером разразилась небывалая гроза. Сестры и Сергей выбежали на верхний балкон. Бесшумные вначале молнии, слепя непрестанно, освещали вскипевшее под ветром озеро внизу, темную чашу, и другое озеро вдали со стаей белых гусей. Странный мигающий свет будоражил, не давая перевести дыхание. И вдруг, покрыв гул ветра, прозвучал оглушающий залп небесной эскадры. Верочка вскрикнула и зажала уши.

Наутро он начал набрасывать эскизы оркестрового сочинения.

На исчерканных вдоль и поперек листах осталась ироническая надпись: «Наброски моей новой симфонии, которая, судя по началу, едва ли представит какой-нибудь интерес».

И еще одно мгновение сберегла ему память об этом последнем лете, проведенном с сестрами Скалон. Сохранилось оно и для нас — на пожелтевшей фотографии.

В тихий послеобеденный час сидели на большой веранде. Леля вышивала. Татуша читала вслух, а Верочка перелистывала книгу с картинками.

Сергей в просторном кресле, сдвинув на затылок белую фуражку и подперев ладонью висок, слушал рассеянно и украдкой следил за

Брикушей. Вот она выросла у него на глазах, а все как будто бы та же! Та же шелковая кофточка и косынка на худеньких плечах.

Тень от соломенной шляпки падает на лицо, а в тени бегут и струятся те же мысли, то изменчивые, то шаловливые, то докучливые, то печальные.

Сергею казалось, что это последнее лето, проведенное с милыми сестрами Скалон, без следа развеет тучи, омрачившие жизнь двадцатичетырехлетнего музыканта. Но вот оно кончилось.

В ком, в чьей любви и привязанности искать для себя опору странствующему музыканту?

Кто протянет ему руку?..

Его младшие сестренки Наташа и Соня? Он не заметил, как они выросли у него на глазах, и все еще по привычке считал их «своими детьми». Кто же еще?..

Родная... Звук ее имени щемящей нотой отдавался в душе.

Еще до его поездки в Петербург она вскользь упомянула однажды о том, что приходит время им расстаться. И когда по возвращении он встретил впервые взгляд ее глаз, огромных, глубоких, черных и словно в чем-то виноватых, он с горечью понял, что она была права, что дороги их пошли врозь. Он не мог постигнуть этого умом, но знал, что весь круг жизни, связанный для него с созданием симфонии и ее посвящением, замкнулся для него навсегда.

Родная... До последних дней ее Сергей Рахманинов думал о ней с нежностью, поддерживал ее материально и сберег в своей памяти образ искреннего и неподкупного друга.

В первый же день по приезде встал во весь рост неразрешимый вопрос. Вот он в Москве, дома. А дальше что? Кто он теперь? Композитор? Нет, с этим, видимо, покончено надолго.

Пианист? Но чтобы выступать в концертах, нужно играть самому по меньшей мере год.

На что же он собирается жить?..

Когда спустя неделю Слонов шепнул Сергею, что его особой заинтересовался сам Савва Мамонтов и будто бы метит его на пост второго дирижера Частной оперы, Сергей воспрянул ненадолго.

О Мамонтове ходили легенды: миллионер, строитель железных дорог, архитектор, талантливый художник, скульптор, драматург, певец, оперный антрепренер...

Все это вместе взятое звучало несколько фантастично и, пожалуй, несерьезно, но вместе с тем будоражило любопытство.

Еще в декабре прошлого года Рахманинов побывал в опере

Мамонтова, арендовавшего в ту пору театр Солодовникова.

Ставили «Фауста». Несмотря на неустойчивое звучание оркестра, очень плохой хор и дух импровизации, как показалось Сергею, царивший на сцене, спектакль ему понравился. Кое-что запомнилось надолго, и прежде всего фигура молодого Мефистофеля, его бесшумная, вкрадчивая поступь, необычная внешность (без красного плаща и фольги на ресницах), бархатистый и вместе с тем колючий, «с издевочкой» голос.

Нет, нет, отказываться от театра он, Сергей, не вправе, и не только потому, что театр решает одним взмахом все материальные вопросы, но и потому, что для него, как для музыканта, это дирижерство пока что единственный выбор.

Впрочем, отказываться было еще рано. Никто его покуда не звал и за ним не присылал.

Только в конце сентября, когда все надежды, казалось, были уже потеряны, ему вручили записку с просьбой явиться в театр для беседы с Саввой Ивановичем.

Глаза у Сергея заблестели.

— Но это просто ужасно! — негодовала Наташа. — Можно ли так разбрасываться!

Он улыбался немножко виновато, но видно было, что вопрос для него решен.

«Беседа» оказалась весьма краткой. Савва Иванович куда-то спешил. Лысеющая полутатарская голова с рыжеватой бородкой, звонкий, с хрипотцой голос, умные, веселые и пронзительные глаза, чувство необыкновенной силы и уверенности, которое излучало каждое слово, каждое движение Мамонтова, произвели на музыканта сильное впечатление.

Первый дирижер Эспозито, к сожалению, напротив, оказался более чем обыкновенным. Под его слащавыми улыбочками Рахманинов без труда разглядел настороженность и плохо скрытую неприязнь.

Мамонтов предложил Сергею для дебюта «Жизнь за царя». Рахманинов, не колеблясь, согласился. Он ли не знал партитуры Глинки!

Единственную пробу назначили на утро в день спектакля.

Так «с разбегу» он окунулся в новый для него мир, шумливый, ищущий, беспокойный. Тут не было ничего похожего на то, что он видел за кулисами Большого театра в дни репетиций «Алеко».

Попад в эту кутерьму, он остановился в нерешительности, сдержанно отвечая на приветствия незнакомых ему людей.

Вдруг прямо на него из толчеи зашагал с растопыренной пятерней

огромный, худой и нескладный парень в кургузом зеленом сюртучке. Весь он был белокурый — волосы, брови, ресницы, — размашистый, неукротимый. Ноздри раздувались, белые зубы сверкали улыбкой.

— Шаляпин, — назвал он себя, крепко стиснув руку Рахманинова.

Вся присущая Рахманинову сдержанность оказалась против этого великана бессильной. Ему невозможно было противостоять. Он взял Сергея под руку и, продолжая балагурить, повел по кругу знакомить с артистами и хористами. Он-то, очевидно, был тут как дома.

Церемония представления затянулась бы надолго, если бы не вмешательство Эспозито, пригласившего второго дирижера в оркестр.

Уже в последнюю минуту, взяв палочку в руку, Рахманинов вспомнил, что весь его дирижерский опыт ограничен тремя спектаклями «Алеко» в Киеве. Но пятиться было поздно. Первый такт вступления был очень страшен, почва ушла из-под ног.

Но через мгновение он снова почувствовал ее под собой.

Оркестр пошел. Он был у него в руках. Даже голова кружилась от радости. Мамонтов, стоя в проходе, одобрительно улыбался.

И вдруг все смешалось. Хор вступил на полтакта позднее, и воцарился хаос. Страшно бледный, Сергей остановил репетицию. Поправив пенсне, он глянул в партитуру, словно там была разгадка того, что произошло.

Десятки глаз вопросительно устремились на него из оркестра и со сцены.

— Разрешите!.. — раздался вкрадчивый голос.

Эспозито, затаив ехидную улыбку, стал на его место и уверенным взмахом повел за собой хор и оркестр.

Сергей постоял минуту, словно оглушенный, в боковом проходе, дрожащими пальцами комкая вынутую папиросу. Потом молча вышел.

Вот и все. Опять провал, на этот раз уже непоправимый.

Чья-то мягкая ладонь дружески обняла его за плечи.

— Ну, ну, Сережа... Полно! Носа не вешать! Оркестр у тебя, брат, звучит просто на диво!

И в интонациях этого чуткого, низкого, смеющегося голоса было столько неподдельного восторга, что Сергей не догадался даже освободиться от непрошенных объятий.

— Погоди, Федя, — перебил подошедший Мамонтов и, взяв Сергея под руку, повел его за кулисы, словно ничего не произошло. — Знаете, Сергей Васильевич, я передумал. Мы начали готовить «Самсона и Далилу». Я отдам ее вам. Первую пробу сделаем, скажем... в пятницу на будущей неделе, в десять утра... А нынче вечером... — он

многозначительно сжал руку Сергея, — ...обязательно приходите на спектакль. Поглядите, послушайте, и все будет отлично.

«Не пойду», — решил про себя дирижер, шагая по Никитской. В ушах у него стоял мучительный звон.

Но он пришел. Сел один в глубине директорской ложи. Оттуда ему были видны большая часть сцены и весь оркестр.

Как он рассказывал позже, он сидел, насторожив уши словно ищейка... следил за каждым движением в музыке и на сцене.

Внезапно он с шумом перевел дыхание и вытер платком вспотевший лоб. Все было ясно. Оказалось, что по неопытности, весь поглощенный оркестром, он не показал вступления хору.

2

Новая душевная встряска оказалась тяжелой. Однако на третий день он весь погрузился в партитуру «Самсона». И в пятницу в положенный час неведомая и неодолимая сила привела его к порогу «Парадиза», где ютилась Частная опера после пожара у Солодовникова.

«Самсон» пошел трудно, но безостановочно.

Первой заботой второго дирижера оказался все же оркестр. Став к пульту, он почувствовал, как сомкнулся на нем круг недоверчивых взглядов. Он видел решительно все: и подмигивания, и скользкие усмешечки, и почти откровенные шутовские гримасы. Он знал, что должен принять все это на свой счет.

Испытание «огнем» началось на исходе первого же получаса.

Заметив, как толстый фаготист, прищутив глаз на соседа, играет какую-то чушь, он резко остановил оркестр.

— Первый фагот! — ледяным тоном проговорил он. — Потрудитесь восемнадцатый номер соло.

В наступившем молчании неуверенно и меланхолично прогнусил фагот.

— Нет! Меня это не устраивает. Потрудитесь сначала.

В самом обращении «потрудитесь» было что-то неслыханно дерзкое.

«Ах он, мальчишка!» Фаготист стал алее мака. Усмешки исчезли.

Рахманинов замучил музыкантов и сам едва стоял на ногах. Но на третьей репетиции оркестр невозможно было узнать. Оркестрантов тоже. Они стали ему улыбаться — еще нерешительно, но дружелюбно. На генеральной репетиции седовласый концертмейстер, встав, поблагодарил

дирижера.

Мамонтов сиял: «Каково! Не говорил ли я!»

Эспозито стал мрачен. На вопросы неопределенно пожимал плечом: «Увидите дальше!..» Но ехидство его испарилось.

С певцами оказалось труднее. Они вступали вовремя, слушались указаний, но... хору пришлось услышать много горьких истин.

Главным же камнем преткновения была «дива» Мария Черненко в партии Далилы. Она была просто очарована собой. Все же дирижер был поистине счастлив в те минуты, когда ее не было на сцене.

«Самсон» имел шумный успех. Дирижера вызывали чаще, нежели певцов.

«Московские ведомости» опубликовали статью о богатых дирижерских возможностях г. Рахманинова, отметив особо неузнаваемое звучание оркестра.

Так был перейден рубикон.

Не за один день удалось Рахманинову разобраться в сумятице, царившей за кулисами мамонтовской оперы, в беспорядочном смешении несовместимых характеров, профессий, темпераментов, дарований и бездарностей, самолюбий и самодурства. «Республиканские порядки», царившие за сценой, давали простор исканиям и дерзаниям, но, нужно сознаться, порождали нередко ужасный беспорядок.

Не один, а десять хозяев заведовали сценой. Никто не знал, что будет не только послезавтра, но и завтра и даже сегодня.

В письме к Леле Скалон Сергей жаловался, что эти хозяева или не особенно умные люди, или не особенно честные. Из большой труппы певцов в тридцать человек примерно двадцать пять нужно выгнать за негодностью. Репертуар огромный, но почти все (кроме «Хованщины») идет скверно и неряшливо.

Хуже всего было то, что сам Мамонтов при всей своей кипучей энергии, уме, таланте и организаторском даровании нередко бывал нерешительным и поддавался чужому влиянию.

Несколько особая роль в труппе принадлежала Татьяне Спиридоновне Любатович.

Завсегдатаи театра за глаза величали ее не иначе, как примадонной, хотя она была уже немолода, голос ее увядал, не блистал ни свежестью, ни красотой. При всем том она была очень музыкальна, талантлива и умна. Среди разбушевавшихся страстей она одна умела сохранить насмешливое хладнокровие и с неповторимым тактом обратить закипающую ссору в шутку. Потому к ее посредничеству прибегали все, как к непогрешимому

суду.

Среди вокалистов резко выделялись Варвара Страхова, создавшая яркий образ Марфы-раскольницы, сдержанный до чопорности талантливый тенор Секар-Рожанский и тоненькая, очень бледная и мило застенчивая Надежда Ивановна Забела-Врубель.

В общей массе прочих певцов второй дирижер на первых порах ничего не заметил, кроме приверженности к сплетням, завистничества и вздорных амбиций.

И среди всей этой разношерстной и разнохарактерной массы враскачку шагал, гремя, бася, хохоча и жестикулируя, беловолосый великан в куцем, не по росту, сюртучке. Он всем мешал, но все его любили, хотя он оказался вовсе не таким уж кротким и послушным. Не проходило дня, чтобы у Феди Шаляпина не было стычки с хором, оркестром, парикмахерами, гардеробщиками. Только сам Мамонтов и Татьяна Любатович способны были мгновенно его утихомирить.

Очень важная, но не совсем понятная роль в театре принадлежала художникам. Иные из них пользовались у Мамонтова непререкаемым авторитетом даже в вопросах, с живописным искусством никак не связанных. К их числу принадлежали прежде всего братья Коровины, особенно Константин, добродушный брюнет с подстриженной клином бородкой.

Реже в ту пору появлялись худой, русобородый и немногословный Виктор Васнецов, Поленов, высокий, молчаливый, с горячими и печальными глазами бедуина Исаак Левитан.

Не без тайной робости Сергей разглядывал этих людей, чьи имена уже гремели по всей России.

Позднее он увидел Валентина Серова, которого почему-то все звали «Антоном» или «Антошей». Первоначально он показался суховатым и даже несколько неприятным, покуда Сергей не столкнулся с ним в тесном кругу и не угадал в нем зачинщика веселых выдумок и незлобивых каверз.

Евгений Доминикович Эспозито был прилежный музыкальный ремесленник. Большой практический опыт делал его присутствие за пультом пока неизбежным. Он добросовестно выполнял все, что от него требовал хозяин и что ему самому было совершенно чуждо. На второго дирижера он продолжал коситься: «Пожалуй, подставит ножку!..»

От жарких споров о русском искусстве, которые вели мамонтовцы, он стоял в стороне.

Но, несмотря на весь хаос, безначалие, дразги и скандалы, несмотря на нелюбовь Саввы Мамонтова к медленной, кропотливой. работе (он не

привык ждать и любил работать крупными смелыми мазками), несмотря на слабость его к итальянской опере, театр жил, творил, делал большое, нужное русское дело, прокладывая новые пути, которые в те годы были не под силу императорским театрам, погрязнувшим в чиновничьей рутине и раболепном преклонении перед Западом.

Второму дирижеру приходилось круто не только потому, что за четыре месяца ему предстояло «освоить» десять новых для него партитур (иной раз, случалось, по две новые постановки на неделе), хуже всего было то, что почти все оперы шли также и под управлением Эспозито.

При таких условиях попытки Рахманинова добиться от оркестра и хора своего решения были тщетны. Оркестр повиновался ему, но когда хотелось переделать кое-что на свой лад, начинались воркотня и жалобы.

Порой он приходил в отчаяние. Проведя двенадцать часов в театре, дома был молчалив и мрачен.

Каждый вечер он давал себе слово уйти. А наутро, вспомнив, что чего-то не доделал с оркестром, решал остаться.

Не последнюю роль, как это ни странно, играл в этом Федор Шаляпин. Когда Шаляпин выходил к рампе, Рахманинов не раз ловил себя на том, что на какое-то мгновение забывает и оркестр, и оперу, которую ведет, и самого себя. Сергей понимал, что перед ним не просто талантливый самородок, а некое чудо, еще небывалое в истории русской сцены, и чувствовал, что мимо этого парня в нелепом сюртучке и плоеной манишке из «Онегина» он не вправе пройти.

Со своей стороны, Федор Иванович раз и на всю жизнь уверовал в непогрешимость Рахманинова как музыканта.

В составе балетной труппы были две девушки итальянки, которых сманил к себе Мамонтов после минувшего сезона. Одна из них, Иола Торнаги, вне сцены выглядела трогательно-застенчивой и печальной. Возле танцовщиц постоянно кружился Шаляпин, оберегая их от воображаемых и действительных напастей, нежно о них заботился. Это не мешало ему их до полусмерти пугать своими шумными выходками и тарабарским языком.

Однажды на репетиции «Кармен», когда все не клеилось, Сергей поймал на себе чей-то взгляд со сцены.

Иола Торнаги плясала цыганский танец. Темные, южные, расширенные страхом глаза девушки глядели в холодное лицо второго

дирижера.

Рахманинов вдруг, постучав палочкой, остановил оркестр и через рампу обратился к ней по-французски: подходит ли мадемуазель предложенный темп?

Его улыбка совсем смутила Иолу неожиданной добротой (один он так умел улыбаться!).

В декабре у Рахманинова были «Орфей», «Рогнеда», «Миньона» и «Аскольдова могила».

Эспозито готовил «Садко», притом не по партитуре, а по клавираусугу. И хор и оркестр были вялы.

На третье представление приехал Римский-Корсаков.

Каждый на сцене и за кулисами старался блеснуть соразмерно способностям. Порой это приводило к неожиданным результатам.

В третьем действии с потрясающим грохотом оторвался борт корабля Садко, в следующем — перед глазами пораженных зрителей величаво проплыла одна из самых чудовищных рыб подводного царства, повернутая к публике обратной стороной, разукрашенная заплатами из холста и фанеры.

Буря веселья покрыла оркестр. Римский-Корсаков кипел сдержанным негодованием. Но разве могли эти веселые пустяки заслонить величавую, словно выкованную из бронзы фигуру Шаляпина — Варяжского гостя, заглушить эту музыку и пленительный голос Забелы — Волховы.

Зал стоя приветствовал спектакль и сконфуженно кланявшегося автора, которому на сцене были преподнесены венки.

Весь январь Рахманинов бился над «Майской ночью».

Голова — Шаляпин — был бесподобен. Все же спектакль в целом не удался. Хотя печать не поставила это в вину дирижеру и отметила все, что можно было отметить в его пользу.

Еще осенью в мамонтовской библиотеке Сергей нашел партитуру «Манфреда» Шумана. Он проиграл ее, потом принялся за поэму Байрона. И вдруг понял, что все это для него, для Шаляпина. Он будет читать под оркестр. Какое чудо из этого можно сделать!

Савва Иванович воспламенился идеей. Но, посоветовавшись с художником Коровиным, мгновенно остыл.

— Ну что вы, батенька! Ведь у нас же опера, поймите вы меня, а не литературно-художественный кружок!..

Постом 1898 года, когда не было спектаклей, вечерами собирались у Мамонтова на Садово-Спасской, а чаще — у Любатович.

В музицировании, песнях, шутках, импровизациях и жарких спорах

рождался облик будущего сезона.

Сердцем его был «Борис Годунов» Мусоргского с Шаляпиным.

— Я думаю, — сказал Савва Иванович, — отдать «Бориса» Сергею Васильевичу. Время ему расправить плечи!

От слов немедленно перешли к делу.

В эти мартовские вечера Рахманинов почерпнул в тысячу крат больше, чем в сутолочной и нередко истерической атмосфере, царившей в театре. Мысль о «Борисе» овладела им нераздельно.

На весь гигантский труд дано было мамонтовцам одно лето. По вопросу о том, где же работать, мнения разошлись. Савва Иванович настаивал на Абрамцеве. Любатович звала к себе в Путятино («И от Москвы подальше, и гостей поменьше!»). И поставила на своем.

4

Усадьба Путятино была в двух верстах от станции Арсаки по Ярославской дороге. Край был Владимирский.

Большой многокомнатный тесовый дом с флигелями, весь пропахнувший сосной, стоял среди огромного запущенного парка, переходившего в лес.

Татьяна Спиридоновна с присущим ей тактом отобрала гостей, не затронув ничьего самолюбия. В Путятине оказались одни «годуновцы», прямо или косвенно связанные со спектаклем.

Коровин в сарае писал эскизы декораций.

Вся черная работа с певцами легла на плечи Рахманинова.

Воспоминания Елены Винтер-Рожанской (племянницы Любатович) и самого Шаляпина рисуют нам Рахманинова как «веселого, компанейского» человека. Для нас это звучит немножко странно. Но, может быть, он и был таким в то удивительное «путятинское» лето!

Работать ему приходилось не только с Шаляпиным, но и с Секаром и другими. Помогала Анна Ивановна Страхова — отличная пианистка, только, по словам Рахманинова, ужасная «трусиска». Сестер Страховых, Аню и младшую, Варю, певицу, Сергей знал давно по консерватории, чуть ли не со зверевских времен.

Самым трудным из учеников был Шаляпин.

Шаляпин все схватывал на лету, но работал с большими отвлечениями, понятия не имел о режиме работы и, главное, любил поспать.

Вначале ничто не помогало, ни просьбы, ни убеждения. Но вскоре

дирижер-деспот нашел слабую струнку — самолюбие и начал жестоко при всеобщем смехе вышучивать нерадивого ученика-лентяя за столом.

Шаляпин сперва отшучивался, потом насупился и из-под сдвинутых белых бровей стал метать молнии на «издевателя».

Однако урок подействовал. Федор Иванович начал трудиться, горько вздыхая и морща лоб. Помимо «Годунова», он проходил с Рахманиновым краткий курс музыкальной теории.

До свадьбы Шаляпина они жили вдвоем в егерском домике среди берез, поодаль от большого дома. В одной комнате спали, в другой, где стояло пианино, работали.

Под окнами флигелька с утра до вечера свистали иволги — «подружки» Федора Ивановича. Он знал их едва ли не наперечет и с каждой по-разному разговаривал, безошибочно имитируя свистом самый нежный и затейливый «флажолет». Получив ответ от своей любимицы, весь сиял и радовался, как дитя.

Нередко чуть свет, покуда его сожитель спал, Сергей под теплым дождичком уходил в лес по грибы с Лелей Винтер. Леля весной только кончила гимназию, поэтому Рахманинов, дразня, всенародно величал ее «Элэной» Рудольфовной.

Кончив утренний урок, ученик с учителем наперегонки бежали купаться.

С непостижимым упорством Шаляпин вживался в образ, искал царственную походку Бориса. Рахманинов помирал со смеху, глядя, как Шаляпин, долговязый и неуклюжий, торжественно прогуливается в чем мать родила по мокрому песку.

— Ты бы, Федор Иваныч, хоть простыню на себя накинул!

— Ну, нет! — огрызался Шаляпин. — В простыне всякий дурак сумеет быть величавым. А я хочу, чтобы и голышом выходило!

В пятом часу труды дня подходили к концу, и начиналась вольная воля. Ходили на большой пруд удить рыбу, ездили на пикники в зубовский бор, играли в горелки, а порой в сумерках, рассевшись на скамьях и просто на траве под открытыми окнами, все дотемна слушали игру Сергея Васильевича.

С приездом Мамонтова обычно воцарялся ужасный шум. Страсти разгорались. Казалось, еще минута — и мамонтовцы передерутся. Но чья-нибудь (чаще всего Антоши Серова) короткая реплика — и столкновение крайних мнений разрешалось взрывом хохота.

Так шли дела до середины июля. Шаляпин нервничал, ждал писем и телеграмм от Иолы Торнаги. Порой нотка тоскующей жалобы прорывалась

в голосе «грешного царя Бориса».

Наконец дождался.

Торнаги, еще похорошевшая, смущенная, счастливая, привезла с собой нежно-оливковый итальянский загар. Через неделю сыграли свадьбу.

Венчаться ездили в деревянную церквушку села Гагина. Посаженым отцом был Савва Мамонтов, шаферами — Рахманинов, Коровин, тенор Сабанин и Семен Кругликов.

Сергей, державший венец над головой жениха, под конец не выдержал и надел корону боком на голову Шаляпина. Варя и Леля, подружки невесты, едва удерживались от смеха.

Под залихватский перезвон колоколов вышли на паперть. Обратный путь на тройках был похож на татарский наезд. Тучу пыли несло над вершинами сосен.

Съехалась едва ли не вся труппа.

Свадебный пир шумел с полудня и далеко за полночь. Вопреки обычаю не было ни праздничного стола, ни пышных яств. Пировали по-турецки, на огромном, во весь зал, бухарском ковре, усыпанном полевыми цветами.

Бушевало море веселья.

Сергей Васильевич играл танцы из «Щелкунчика», Коровин под гитару пел с фиоритурами арию Зибеля, Савва Мамонтов при всеобщем хохоте танцевал соло из «Жизели».

Поздно ночью кружили по аллеям, залитым месячным светом. Где-то ухала сова. Над головой качались развешанные художниками китайские бумажные фонари с елочными свечами. За лесом занималось зарево рассвета.

Но сон молодых на сеновале был недолог.

В шестом часу утра под слабым морозящим дождичком под стенами риги воцарился адский шум, крик, лязг, свист и грохот.

Федор Иванович спросонья высунул в оконце всклокоченную голову.

Толпа каких-то печенегов под командой Саввы Мамонтова исполняла утреннюю серенаду на ведрах, кастрюлях, печных заслонках и пронзительных свистульках.

— Какого черта дрыхнете! — кричал в ярости Мамонтов. — В деревне не место спать. Вставайте! Пошли в лес по грибы.

И снова засвистали, заорали, заколотили в заслонки.

А дирижировал всем этим содомом Сергей Васильевич Рахманинов.

Лето шло к исходу. На глазах у всех вырастал образ царя Бориса, могучий, грозный, страдальческий. Когда вечерами на полутемной веранде

раздавался леденящий душу крик: «Чур, чур меня!..», у самых искушенных по спине бегали мурашки.

Замыслы росли не по дням, а по часам.

В августе Забела-Врубель писала Римскому-Корсакову о домашнем исполнении оперы «Моцарт и Сальери». Моцарта пел Секар, Сальери — Шаляпин. У рояля — Сергей Рахманинов. И вот в эти дни, когда работа над «Борисом» подходила к концу, Рахманинов начал задумываться и вдруг объявил о своем уходе из театра. Решение созрело, разумеется, не за один день. Он уже давно испытывал знакомое чувство ожидания, всегда сочетавшегося с началом воплощения нового крупного замысла.

Его пугала перспектива возвращения в закулисную сутолоку, в руготню с хором, оркестром, в тайную войну с Эспозито, отнимающую без остатка время и душевные силы. Но когда он однажды за столом сказал о своем решении, это произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Мамонтов вмиг сделался мрачнее тучи и, не кончив обедать, ушел в сад. Сергей, подавленный и хмурый, курил на веранде папиросу за папиросой, ожидая его возвращения. Это продолжалось больше часа. И вдруг из березовой аллеи долетел до него прежний веселый голос, потом шаги.

— Что ж, молодой человек, — вздохнув, сказал Савва Иванович, — наверно, вы правы. Что вам, как художнику, даст в дальнейшем это дирижерство? «Ой, честь ли то молодцу да лен прясти, воеводе да по воду ходить!» Исполать вам за то, что вы для нас сделали! Дружба наша на этом не кончена. Но стать у вас поперек дороги мы, пожалуй, не вправе.

Начало сезона из-за ремонта здания затянулось до первого октября. И чтобы подчеркнуть незыблемость дружбы, Мамонтов предложил Сергею участвовать в концертной поездке по городам юга. Он хотел показать южанам таких артистов, как Шаляпин, Секар-Рожанский и Рахманинов.

Харьков — Киев — Одесса. Всюду был шумный успех. Из Одессы парохомом поехали в Ялту. Осень в Крыму стояла ослепительная.

Только перед самым концертом в ялтинском театре с Ай-Петри вдруг набежало облако. Дорожки под чинарами задымились от дождевых брызг.

В антракте публика хлынула на эстраду, окружила певца-великана. Он, а за ним и Рахманинов, с трудом протиснулись в артистическую.

Сергей присел в нише окна на мраморный подоконник. Мучительно хотелось курить.

Он заметил, как через толпу медленно, но настойчиво к нему пробирается немного сутулый, человек с небольшой темно-русой бородой, в пенсне и клетчатом пиджаке. Сердце у Сергея вдруг застучало. Ужасно смутившись, он встал и пожал протянутую ему очень теплую руку. Как во сне, прозвучал ему негромкий, застенчивый и глуховатый голос.

— Вы знаете, — смущенно покашливая, говорил он, — я нынче весь вечер смотрел на вас и думал, что вам, наверно, суждено стать большим человеком. У вас удивительное, необыкновенное лицо.

Сергей весь, как он один это умел, до ушей залился румянцем, бормоча бессвязные слова благодарности.

— А знаете... — продолжал доктор Чехов и, вдруг сняв пенсне, стал протирать платком стекла, вглядываясь в Сергея добрыми близорукими глазами. — Вот приезжайте на завтра к нам в Аутку с Федором Ивановичем завтракать.

В памяти Сергея молнией блеснула их первая встреча зимней ночью.

Много впоследствии он бывал у Антона Павловича совсем запросто, говорил, играл и с жадностью слушал хозяина Белой дачи. Но эти первые слова, как будто бы на Чехова совсем не похожие, он берег с гордостью и теплом, как величайшую святыню.

«Умирать буду — вспомню!» — говорил он.

Последний концерт состоялся в конце сентября в Алушке под звездами на залитой лунным светом террасе Воронцовского дворца. Дул слабый ветер, шелестели листья олеандра, внизу медленно дышало море.

Публика разместилась на перилах и ступеньках террасы. На рояле не зажигали свеч.

Шаляпин пел арию короля Ренэ, Рахманинов играл свою «Мелодию».

Для того чтобы вернуться к творчеству, ему нужно было ненарушимое уединение и возможность на год-два уйти от забот о куске хлеба насущного. Он знал, что и то и другое эфемерно и практически несовместимо.

Концертная поездка давала возможность лишь на короткое время уйти от нужды, пока он на что-то решится.

Но за два дня до отъезда на юг, когда Рахманинов вошел в прихожую Сатиных, высокая фигура шагнула ему навстречу.

— Наконец-то! — сказал Зилоти. — Я уж собрался уходить. Проводика меня!

Они пошли по Арбату. Сергей знал, что Александр Ильич едет концерттировать за границу на всю зиму.

Он начал с расспросов о театре.

— Хорошо, так и нужно, — одобрил он решение Сергея. — Но как же ты будешь жить?

— Еще не думал над этим, — был угрюмый ответ.

— Тогда позволь мне об этом подумать и решить эту проблему за тебя. Только, пожалуйста, прошу тебя, не дури. Не чужие же мы с тобой. Как-нибудь сочтемся...

— А если... — нахмурился Сергей.

— Ну, если... — Зилоти громко расхохотался и натянул модные желтые перчатки. — Если «если», что ж... Будешь три года даром пилить Вере Павловне дрова. Только и того!

Так второй, казавшийся неразрешимым вопрос был решен по меньшей мере на два года.

Остался первый: уединение.

По пути из Крыма в вагоне он разговорился с Татьяной Спиридоновной Любатович.

За окошком бежали степные сумерки, мелькали телеграфные столбы.

— Где же вы, милый друг, намерены зимовать?

Сергей пожал плечами.

— Еще не решил окончательно. Наверно, поеду в Саратовскую губернию к очень дальним родичам, в степь, в сугробы...

— Ах, какая чепуха! — возмутилась Любатович. — Ничего умнее не могли придумать! Да поезжайте вы ко мне в Путятино. Никто вас там тормозить не станет. Будете как медведь. Садовник Фома, повариха да Лушка, горничная... Ну, еще три мои собачки. Ну что вам еще? Москва под боком. Можете ездить каждый день, была бы охота! К «родичам»... — усмехнулась она. — А мы что же, не родичи! И совсем, по-моему, не дальние...

Глава вторая ПРОБУЖДЕНИЕ

1

Осень шла по лесным оврагам и буреломам заповедных зубовских боров, по звонким просекам одетых в золото и багрянец белоствольных березовых чащ. Желтые листья шуршали под ногами в продуваемых ветерком коридорах безлюдных аллей. Днем солнце зажигало развешанные

между сосен невидимые сети паутин. Вечерами в поднебесье кричали гуси. На рассвете ложился слабый утренник. Потом вставал туман и висел неподвижно среди деревьев, покуда уже поздно, в десятом часу, его нехотя просвечивало солнце. Возле балкона в тумане атели гроздь рябин. Влажный голубой дымок, пропахнувший грибной сыростью и горечью палого листа, проникал в легкие, и от него немного кружилась голова.

В безлюдных комнатах путятинского дома крепче, чем летом, был слышен запах соснового дерева. Стены тихонько поскрипывали, а среди ночи вдруг раздавался звонкий треск половицы.

В первые ночи Рахманинов вздрагивал во сне. Сердце колотилось в потемках. Но скоро привык ко всему в этой «лесной яме», куда забрался по доброй своей воле.

«Собачки» Татьяны Спиридоновны, три огромных сенбернара — Цезарь, Белана и Салтан, — не отходили от Сергея ни днем ни ночью. Спали они на ковре подле его кровати, шагали вслед за ним величавой кольшущейся походкой, сопровождали на прогулках.

С ними, не страшась заблудиться, он заходил в самые непроглядные, заросшие косматым мохом еловые чащобы. Эхо несло грозное басовитое рывканье Цезаря по лесным овражкам.

Домочадцы Путятинна были, по-видимому, рады неожиданному постояльцу.

Подавая Сергею Васильевичу обед, горничная Лушка обязательно напяливала белый передник и ухмылялась про себя каким-то своим лукавым мыслям. Когда музыкант играл или занимался, в доме царил гробовая тишина. Лушка ступала крадучись в войлочных постолах, сердито цыкала на махавшую хвостом Белану и вдруг, замороженная музыкой, садилась на краешек дивана. Порой, припомнив свое, потихоньку всхлипывала.

Сергею казалось, что еще никогда в жизни он не был так счастлив. Но было в этом лесном счастье единое темное пятнышко. Ему казалось: стоит только попасть в этот «скит», музыка придет к нему сама. Но она не приходила.

Мысли о новой симфонии он давно забросил. Еще с лета он думал только о втором фортепьянном концерте и даже пообещал его на осень Гольденвейзеру, но в конце августа пошел на попятный. Десятки раз он принимался набрасывать промелькнувшую мысль и рвал на клочки написанное. Не то, не то!

В Путятине были груды растрепанных книг и журналов. Он читал запоем, много играл, бродил по просекам. Душа жила и дышала, печалась и

радуясь золотой осени, но все еще была глуха...

Через день хромоногий почтарь со станции Арсаки приносил письма и газеты. Письма приходили чаще всего от Модеста Чайковского, реже от Глазунова. Последний выслал путятинскому отшельнику партитуру новой своей, Шестой, симфонии. Проиграв первую часть, Рахманинов задумался.

Салтан подошел, положил тяжелую голову ему на колени, глядя кроткими, темными, с синевой глазами.

— Ну вот видишь, собачка! — сказал Сергей. — Слышал небось! А у нас с тобой ничего не выходит...

Раз в неделю он ездил в Москву, не только затем, чтобы «себя показать», но главным образом ради уроков, которые давал в трех домах. Переночевав у Сатиных в мезонине, он ранним утренним поездом возвращался к себе в Пустынь.

Однажды утром, когда Лушка отворила ставни, он увидел лежащий на елках и на клумбах снег.

В середине ноября пришлось на месяц вернуться в Москву ради впрыскиваний мышьяка, на которых настаивал Остроумов, Возвращаясь в декабре, он чувствовал, что едет домой. В Арсаках были уже сугробы. Курносая Лушка сама выехала за ним в санях. «Собачки-крошки» обрушили на музыканта такой восторг, что, не устояв под их натиском, он со смехом повалился в снег.

На святках у Сатиных получилось письмо с английской маркой, надписанное рукой Зилоти, которое Леля Крейцер, ученица Рахманинова, немедленно перевела. В нем Лондонское филармоническое общество приглашало пианиста и дирижера С. В, Рахманинова к участию в концерте в «Зале королевы» 19 апреля н. ст. 1899 года.

Александр Ильич в письме сообщал, что Прелюдия до-диез минор в его, Зилоти, концертах в городах Европы имела ошеломляющий успех. Советовал, кроме Прелюдии, готовить также концерт и фантазию «Утес».

Не дождавшись конца святочных «каникул», Сергей Васильевич внезапно вернулся в Путятино.

На дворе стоял трескучий мороз. Березы и ели в серебре.

На стеклах радугой переливалась ледяная парча. В трубах, стреляя угольками, трещали поленья.

С утра до ночи в жарко натопленных комнатах звучал рояль. Сергей только играл, играл. Попытки разбудить умолкнувшую внутреннюю музыку по-прежнему были безуспешны.

Теперь письма подолгу лежали без ответа. Днем он носил их в

карманах, а на сон грядущий, ради угрызений совести, выкладывал на ночной столик.

Однажды что-то разбудило его перед рассветом. Привстав на локте, он стал слушать. Померещилось?.. Нет, его три товарища тоже подняли головы и глядят в неплотно прикрытую ставнем морозную ночь. Вот снова... Совсем близко, может быть на краю сада, низкий тоскующий вой.

Насторожив уши, Цезарь тихонько зарычал. Но, встретясь в полутьме глазами с Сергеем, постучал по коврику тяжелым хвостом.

«Не тревожься! — сказали его умные, с опущенными уголками глаза. — Мы с тобой».

2

Весь январь и февраль Рахманинов не покладая рук трудился, готовясь к первому заграничному концерту.

В марте с грустью покинул Путьтино и вернулся в Москву, а в апреле выехал в Лондон.

Он опомнился от трудов и забот только тогда, когда после двухдневной тряски в вагоне увидел себя в Кале, выброшенным на узенький, огражденный перилами мостик. Под сваями крутилась холодная серая вода. Ветер рвал, расстилая по волнам клочья бурого паровозного дыма. Отчаянно, как перед бедой, кричали чайки.

Филармонический оркестр в Лондоне оказался превосходным. О таком у себя дома Рахманинов в те годы не мог и мечтать. Пятитысячная толпа, заполнившая «Зал королевы», тоже немало озадачила московского музыканта. Самый шумный успех, как и следовало ожидать, выпал на долю Прелюдии. Сергей никогда не думал, что англичане способны так кричать.

На другой день приставленный к Рахманинову гид-импрессарио повел его в роскошный нотный магазин и показал на витрине его Прелюдию, изданную тремя крупнейшими издательствами.

Не веря глазам своим, он читал надписи на цветных обложках. На одной было начертано: «День гнева», на второй — «Пожар московский», а на третьей даже «Московский вальс»...

В конце мая из Лондона в Москву ему выслали вырезки из сорока двух английских газет. В критических оценках концертов царил неописуемый разнобой. «Утес» Лермонтова был признан просто нелепым.

«Ночевала тучка золотая...» Разве можно написать хорошую музыку на такие нелепые слова?

«...Как и следовало ожидать, принимая во внимание национальность автора, туман изображен в музыке как настоящее кораблекрушение, слезы покинутого Утеса переданы ужасным громом...»

Два критика вступили в яростную полемику, пытаясь, каждый по-своему, обосновать полет тучки законами физики.

Пианизм Рахманинова лондонские рецензенты в большинстве оценили как явление заурядное по сравнению с Гофманом и Розенталем.

Только хор похвал Прелюдии был единодушен.

Вернувшись в Москву, Сергей зашел к Любатович. Мамонтовцы (едва ли не в полном составе) устроили музыканту шумную овацию.

— Погодите! — сказала хозяйка дома. — Что же так шуметь-то впустую! У меня для Сергея Васильевича припасен подарок.

Она вышла и вернулась, ведя за ухо большущего черного леонберга. Только по глазам, глуповатым, веселым и немного суетливым, можно было догадаться, что это еще щенок, меньше десяти месяцев от роду. Так в жизнь музыканта на долгие годы вошел Левко, или, как его именовали ласкательно, Ленюшка.

С первого же дня хозяин стал учить громоздкого несмышленьша.

У Сатиных Левка полюбили. Один кот Ерофеич косился и рычал на пришельца.

Еще в апреле Аренский сообщил Сергею, что пушкинский юбилейный комитет включил в программу торжеств оперу «Алеко».

Композитор был одновременно и рад и раздосадован. Свою оперу он считал незрелой и начал уже запрещать ставить ее на сцене.

Но, увидав на подмостках Таврического дворца Шаляпина, он позабыл обо всем.

«Я, — рассказывал он позднее Слонову, — до сих пор слышу, как он рыдал в конце оперы. Так может рыдать только или великий артист на сцене, или человек, у которого в жизни такое же горе, как у Алеко».

Концерт, как казалось Рахманинову, уже стучался у ворот, а вопрос о том, где жить летом, еще висел в воздухе.

И в Путятине и в Ивановке предвиделось обычное многолюдство. И тут неожиданно отец ученицы Рахманинова Лели Крейцер Юлий Иванович предложил музыканту свое гостеприимство. В ту пору старик Крейцер управлял помещьем Раевских «Красненькое» на юге Воронежской губернии.

Там Сергей нашел ту трудовую обстановку, которая была ему сейчас

так нужна.

В «Красненьком» все работали не покладая рук — и старики, и сама Леля, и ее брат Макс, готовившийся к экзамену в Сельскохозяйственную академию.

Ровно в половине девятого Сергей выходил к завтраку. Левко с важным видом следовал за хозяином. В девять раздавалось привычное:

— Ну, Левко, теперь пошли работать!

Что греха таить, Леля Крейцер не раз из глубины сада прислушивалась к звукам, долетавшим из открытых окон. Но всякий раз слышала только тему «Судьбы» из Пятой симфонии Бетховена.

Загадка была решена лишь в середине лета, когда в «Красненькое» заехали Наташа, Володя и Соня Сатины. Это был, как оказалось, новый романс на текст Апухтина «Судьба». Время показало, что один Шаляпин умел его петь.

Вскоре после «Судьбы», чтобы подразнить барышень, Рахманинов написал полушуточный хор на текст Алексея Толстого «Пантелей-целитель».

Премьера состоялась на опушке Калиновского леса, на любимой поляне, заросшей ковриками ромашки. Лето в «Красненьком» стояло знойное. Все отлично читали ноты с листа. Наташа пела сопрано, Леля — альтом, Макс — тенором. Автор замыкал квартет.

Гармонизация хора была на манер старинных духовных стихов, которые поют слепцы на ярмарке.

Государь Пантелей ходит по полю,
И травы и цветов ему по пояс...

Макса Крейцера, как будущего агронома, особенно восхищал третий стих:

...Есть которые травы целебные,
Тем он песни слагает хвалебные.
А которые есть виноватые,
Тем он палкой грозит суковатую...

— Какая прелесть! — говорила Соня, разглаживая ладонью странички партитуры.

— Да, недурно, — соглашался автор, чтобы ее не огорчать.

Тут, поймав на слове, его заставили подписать «вексель», в котором он, Сергей Рахманинов, признавал и удостоверял, что хор про Пантелея, во всяком случае, не плох. Не прошло и недели, как «вексель» при всеобщем смехе был вручен автору, едва он заикнулся о том, что «Пантелей» все же просто дрянь.

Сергей прожил в «Красненьком» до конца сентября. Все на что-то надеялся...

Почти накануне отъезда Наташа в письме очень осторожно сообщила о замужестве Верочки Скалон.

За ужином Сергей был весел. Но позднее, когда в доме уснули, часа три шагал под деревьями по опавшим листьям. В потемках разгорался и гас огонек папиросы. Левко понуро бродил по пятам за хозяином.

Накануне свадьбы Вера Дмитриевна Скалон сожгла сто писем Сергея Рахманинова.

Однажды, вернувшись с урока, он услышал за дверью гостиной голос виолончели.

При всей его музыкальности это был, без сомнения, любительский смычок. Сергей приоткрыл дверь. Спиной к нему с виолончелью, низко наклонив голову, сидел незнакомый черноволосый мужчина лет сорока.

Григорий Львович, в глубоком кресле рядом, не скрывал удовольствия, которое ему доставляет «Лебедь» Сен-Санса и тут же, увидав Сергея, познакомил его с Николаем Владимировичем Далем.

Доктор Даль — в прошлом университетский товарищ Грауэрмана, а ныне выдающийся московский психиатр. Огромный груз работы, которую он нес, но мешал ему оставаться страстным любителем музыки и участником любительских камерных ансамблей.

Приход Сергея, казалось, не смутил его. Он только отпустил смычок и с быстрой улыбкой заметил, что время переменить программу.

Спокойный, серьезный человек, он был немногословен, но к словам его хотелось прислушаться, чтобы не упустить чего-то важного.

Пришла зима 1900 года. Но музыка вновь замолчала. И, казалось, на

этот раз не было силы на свете, способной пробить глухую стену молчания.

Раз в полдень у ворот училища Екатерины Рахманинов встретил княжну Ливен.

Александра Андреевна Ливен была очень богата, знатна и уже немолода. Личная жизнь у нее не удалась, и всю себя она отдала делам благотворительности. С Варварой Аркадьевной Сатиной она была близка по делам дамского тюремного комитета, который Ливен возглавляла. Влияние, которым она пользовалась в Москве, делало ее на этом посту неоценимой. Она запросто бывала у великой княгини и часто, не ведая, что творит, вступалась за тех, кого в Москве, по старой привычке, все еще называли нигилистами. Рахманинова и его музыку она боготворила. Он нередко играл на устраиваемых княжной благотворительных музыкальных вечерах.

Увидав Сергея, она ужаснулась: глаза пустые, желтый весь, потухший, и, конечно, ничего не пишет!..

— А знаете, — сказала вдруг она, — сведу-ка я вас к Льву Николаевичу. Он один, если в добрый час, словцо такое скажет, что всю жизнь вашу до дна озарит.

— А если не в «добрый»?..

— Это уж предоставьте мне!

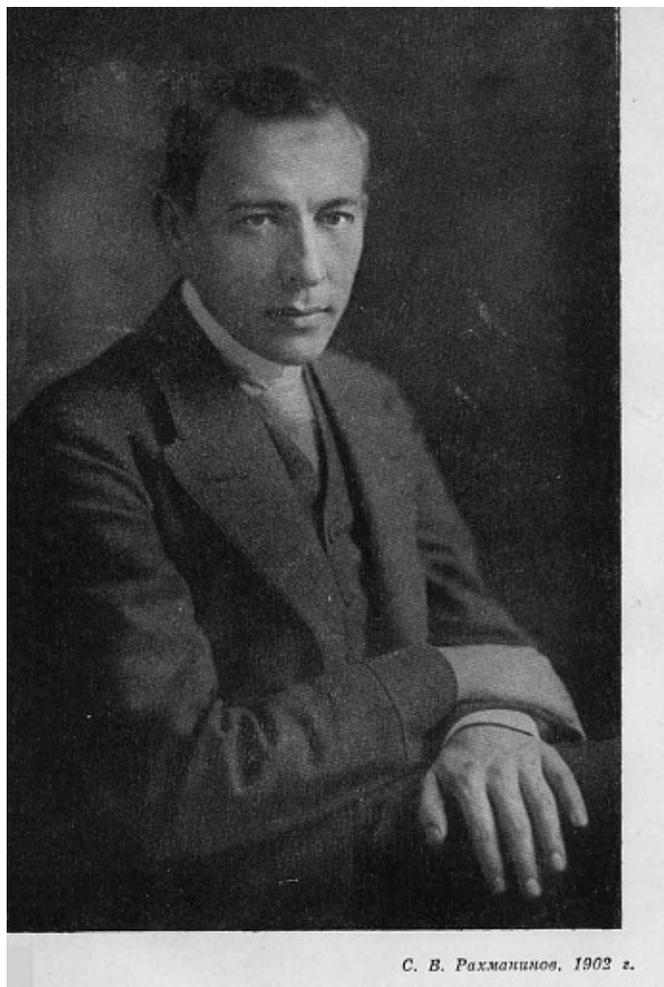
Разговор забылся. Но через месяц Рахманинову принесли записку. Ливен просила быть в Хамовниках первого февраля ровно в десять вечера.



Слева направо:
С. А. Сатина,
С. В. и Н. А. Рахмани-
новы и В. А. Сатин,
1902 г.



С. В. Рахманинов
с удочкой на реке
Хопер, 1901 г.



В снежный морозный вечер под высокой луной двухэтажный тесовый дом там, в глубине двора, показался ему особенно страшным. Только в двух окнах верхнего этажа через гардины сквозил красноватый свет. Точно два глаза глядели на одинокого гостя: «Попался, голубчик!»

Над снежной кровлей цветными лучами играли звезды. Искры вспыхивали и пропадали в голубом снегу.

Уже поднявшись на крыльцо, он почувствовал такой страх, что готов был бежать сломя голову куда глаза глядят. Поборов его, потянул за ручку звонка.

В прихожей пахло шубами. Пожилой слуга повел его по лестнице, устланной красным сукном. Где-то за дверью справа послышались молодые голоса, звон гитары. Перед ним отворилась другая. Собрав все мужество, он перешагнул порог.

Толстой играл в шахматы с Гольденвейзером.

Он знал, что не встретит исполина, каким выглядел Толстой на

большинстве портретов. Но при виде старичка в пледе, наброшенном на сутулые плечи, он растерялся. Из-под густых, с выпуклыми надбровьями косматых бровей блеснули на гостя маленькие колючие глаза.

Взяв Сергея за руку, которая была холодна как лед, он засмеялся и покачал головой.

— Ай-ай-ай! Ну что ж, пойдете...

В комнате было много незнакомых Сергею людей, как ни в чем не бывало продолжавших негромкий разговор. Усадив гостя на край дивана в глубине комнаты, Лев Николаевич погладил его по колену. Колено дрожало.

— Как же так... — заговорил он немного ворчливо. — Вы думаете, молодой человек, что в моей жизни все шло гладко! Что вера всегда была одинаково сильной? У всех случаются трудные минуты. На то жизнь! Лучшего времени, чем сейчас, у вас не будет. Счастья на свете нет, есть только его зарницы. Ловите их, живите ими. Иначе будет поздно... Поднимите выше голову и идите к намеченной цели. Главное — работайте. Я работаю каждый день.

Он говорил не спеша, с какой-то раздумчивой добротой, но так, словно повторял сказанное уже десятки раз другим. Сергей слушал с жадностью и все ждал того заветного словечка. Но оно не прозвучало. Он не мог прогнать навязчивую мысль, что день, назначенный ему, не был «добрым».

Вскоре под благовидным предлогом Сергей откланялся, пообещав в другой раз приехать вместе с Шаляпиным, который тоже был зван к Толстым.

Обещанный визит состоялся. По дороге в Хамовники Федор Иванович был весел, но, войдя в прихожую, совсем оробел. Софья Андреевна, заметив это, тотчас же попросила к роялю.

Шаляпин поставил на пюпитре «Судьбу».

— Не надо... — шепнул Рахманинов.

— Слушай меня, — приказал Шаляпин.

О, как он пел! Все тембры звучания: колокольная медь, и тяжкий звон железного молота, и дальний гром, и напев виолончели, и шелест ветра были подвластны ему, его голосу, завораживающему человеческую кровь.

Слушающие перестали дышать. Один Лев Николаевич был мрачен. Сергей наблюдал за ним краешком глаза. Нахохлясь в кресле, он морщился словно от боли.

...Но есть же счастье на земле!

Однажды, полный ожидания,

С восторгом юным на челе,
Пришел счастливец на свиданье.
Еще один он, все молчит,
Заря за рощей потухает,
И соловей уж затихает,
А сердце бьется и стучит —
Стук-стук-стук...

Готовая вырваться наружу буря общего восторга была подавлена молчанием Толстого, сидевшего поодаль.

В течение часа Рахманинов избегал его взгляда. Толстой играл в шахматы с Гольденвейзером. Неожиданно он встал и сам подошел к гостю.

— Я должен поговорить с вами, — начал он осторожно, взяв под руку музыканта. Но голос его казался раздраженным. — Вы знаете, — продолжал он, — все это мне ужасно не нравится. Вы думаете, эта музыка нужна кому-нибудь?.. — Понизив голос, он добавил с досадливой усмешкой: — Простите, но я не пойму: зачем тут Бетховен, судьба? Бетховен — вздор. Пушкин и Лермонтов — тоже...

Сергей почувствовал, что у него немеют ноги. В эту минуту Софья Андреевна, зорко наблюдавшая за всем, увлекла Толстого в общий разговор. Уходя, она успела шепнуть гостю:

— Не обращайтесь внимания и не противоречьте. Левушка не должен волноваться. Ему вредно.

Пытка длилась еще около часа. Когда стали прощаться, Толстой вдруг подошел, заглянул Сергею в глаза, виновато и как-то невесело улыбаясь.

— Извините меня, пожалуйста. Я старик. Поверьте: я не хотел обидеть вас.

Рахманинов был очень бледен. Пожимая протянутую руку, он низко наклонил голову.

— Что вы, Лев Николаевич!.. Если я не обиделся за Бетховена — вправе ли я обижаться за себя!

По дороге домой молчали.

Это началось на другой день.

Разговор в Хамовниках был последней каплей, переполнившей чашу. В ушах не смолкал вещий старческий голос. Он произнес приговор Сергею Рахманинову и его музыке. И правда: кому нужна она? Никому. Видно, она задевает в душе человеческой строй только мелких, поверхностных чувств. Вот она, пусть жестокая, но чистая правда! Где ему искать еще высшего судью, чем этот мудрец, прозорливец, кому открыты помыслы и деяния людей!..

На первых порах заботой Сергея было ничем не выдать того, что с ним происходит. Шаляпин у Сатиных не появлялся.

Сергею Васильевичу не хотелось никого видеть. Но по дороге домой он повстречал Слонова и Сахновского. Те повезли его в ресторан Тестова. Впервые за долгие годы он быстро, тяжело и мучительно опьянел. Он не вернулся домой, а послал записку с рассыльным. Не пришел и на другой день, а лишь на, третий к вечеру.

Он шел по Красной площади. В ушах звучал медленно нарастающий гул. Он невольно закрыл глаза, ожидая чего-то ужасного. Шум вырос до грохота лавины, в котором явно ощущалось могучее движение оркестровых групп. Он узнал неимоверно искаженный финал своей симфонии. С усилием разомкнул веки. Все смолкло.

Кликнув извозчика, он поехал домой. Ни на что не жаловался. Но к попыткам что-то выведать у него относился с каким-то враждебным упорством. Повернувшись к стене, сказал, что хочет уснуть, и лежал, глядя на обои широко раскрытыми глазами.

Григорий Львович, пощупав пульс, пожал плечами.

Всю ночь ему мерещилась та же черная рубленая изба. У изголовья звучал хорошо знакомый низкий причитающий голос.

«Отпевает!..» — подумал он. Но голос пропал в шуме ветра и вдруг обратился в протяжный вой на опушке зимнего парка.

— Цезарь! — позвал Сергей, вздрогнув всем телом, и широко раскрыл глаза. Но не Цезарь, Левко подошел, помахивая хвостом, и положил на край кровати свою тяжелую черную голову. Переведя дыхание, Сергей погрузил пальцы в густую теплую шерсть и внезапно уснул.

Наутро приехал Остроумов. Сергей слышал, как Варвара Аркадьевна проговорила за дверью дрогнувшим голосом (она никогда не умела шептать):

— Я боюсь за его рассудок...

Ответ Остроумова не дошел до Сергея.

Наташа, Соня и Марина посменно несли вахту возле больного

музыканта, а черный лохматый Левко — бесшумно.

На шестой день, к всеобщему удивлению, Сергей поднялся. Его трудно было узнать. Весь день он бродил по комнатам, а в начале сумерек неожиданно объявил, что идет пройтись.

Вдруг откуда ни возьмись вынырнул доктор Грауэрман и, увидав Сергея одетым, предложил себя в провожатые. Сергей нахмурился, но ничего не сказал.

Когда они вышли, земля вдруг ушла из-под ног, но он овладел собой. Поговорив о том, о сем, Григорий Львович как бы невзначай предложил зайти к Николаю Владимировичу Далю. «Хитри, хитри!» — подумал Рахманинов с досадой. Однако почему-то без пререканий согласился.

Доктор Даль, подняв усталые глаза от книги, глянул на гостей так просто и спокойно, словно ждал их прихода. Григорий Львович тотчас же исчез под благовидным предлогом навестить больного. Невинный обман, жертвой которого сделался Сергей, разгадать было совсем нетрудно.

В то же время у Сергея Васильевича не было ни малейшего желания уходить из комнаты, где все располагало к покою, где, казалось, было легче дышать. Неторопливые поскрипывающие шаги хозяина, казалось, несли гостю долгожданное освобождение из душевной тюрьмы.

Впоследствии Сергей сам не мог понять, как это случилось.

Неожиданно он разговорился о музыке, мало того — разоткровенничался. С кем?.. С дилетантом и вдобавок еще психиатром... Даль покорила музыканта прежде всего полным отсутствием профессионального волхования. Неторопливо и ненавязчиво, с особой ему свойственной приязнью он пытался войти как друг в душу друга, попавшего в беду.

Говорил он очень просто и совсем негромко, но, как власть имущий, о том, что Сергей не прав. Кругом не прав! Что его музыка — самое важное в жизни, ее дыхание, свет, счастье, что концерт не дается ему потому, что он, Рахманинов, душевно измучен, обессилен, не может найти в себе точки для приложения могучих и еще не тронутых сил. Смеет ли он не верить в себя, если в него так страстно верят другие! Она нужна им, нужна его музыка, что бы ни говорили мудрецы! Мир пришел в движение, полон грозных и радостных предчувствий, Они, простые, обыкновенные люди, встревожены. Они ждут чего-то и не знают, на что им надеяться, во что верить, что любить... Смеет ли он, взыскательный русский художник, молчать теперь, зная, какая власть ему дана над сердцами!..

Потом в комнате откуда-то появилась конфузливая девушка-консерваторка. Узнав гостя, она густо покраснела.

Сергея усадили в глубокое почтенное кресло предназначенное, по словам Даля, только для именитых гостей. По преданию, в нем при покойном прадеде частенько сиживал Пушкин.

— Сейчас мы будем вам играть, — сказал Даль, поймав испуганный взгляд сестры.

Кресло и впрямь было, как видно, «не простое». Сидя в нем, Сергей с удивлением, как новую, слушал нехитрую песню Мендельсона, она плыла под смычком у доктора Даля.

Осторожно, тонкими пальцами, песня проникала в ткань раненой души, выжимая по капле страдание. Потом та же песня сделалась как бы подголоском для другой, совсем незнакомой, могучей, исполненной света и торжества. Она шла к нему, сметая на пути все преграды. Он слушал, и скупая, суровая слеза из-под ресниц медленно катилась по впалой щеке.

Провожая его домой, Николай Владимирович говорил о том, что теперь им предстоит выиграть битву за сон. Ему только кажется, что он спит по ночам. На самом же деле идет непрестанная война и трата сил без малейшей компенсации.

Засыпая в этот вечер, Рахманинов вдруг засмеялся, подумав, что Даль совсем непохож на гипнотизера — мужчину с лохматой, всклокоченной шевелюрой и пронзительными черными, навывкате глазами. У него они голубые, не то рассеянные, не то печальные.

— Это просто невероятно, — вспоминал позднее Рахманинов, — но лечение и правда помогло мне!

Так продолжалось через день полтора месяца. Он заходил к Далю еще и тогда, когда на подоконнике комнаты в мезонине заголубели поставленные Мариной подснежники и тучи начали мало-помалу расступаться, открывая новое, неведомое лазоревое небо.

Княжну Ливен Сергей встретил в Художественном общедоступном театре, куда пришел с Наташей и Лелей Крейцер на «Потонувший колокол».

В этом театре, открывшемся года два тому назад, все было не так, как в других. Стены и половицы, обтянутые серым сукном, скрадывали шаги и голоса. А чайка на темном раздвижном занавесе будила ожидания чего-то необыкновенного. И они нередко сбывались.

Увидав княжну, Сергей смутился.

С минуту она молча разглядывала его, что-то обдумывая. Потом кивнула головой и с присущей ей прямолинейной добротой пригласила музыканта в Ялту к себе на дачу. Там есть флигелек, совсем отдельный в саду. Даже пианино Блютнера стоит на веранде. Никто ему докучать не станет. Антон Павлович тоже один теперь. Недавно про него спрашивал. Чего же нужно ему еще!

Поколебавшись минуту, Рахманинов сдался.

Весна в Крыму случилась поздняя. Перепадали дожди. На вершинах Яйлы еще лежал снег. Косматые тучи сползали по склонам до татарских садов и виноградников. Море днем и ночью било в гранитную набережную. Облака и смерчи белой рассыпчатой пены взлетали выше кровли таможни. В саду расцветала камелия. На взгорьях кое-где еще розовели кусты миндаля.

Он слушал: не обмануться бы и на этот раз!

Однажды очень рано, едва солнце позолотило верхние склоны горных пастбищ, он шел по тропе к притихнувшему за ночь морю. Вдруг теплый ветер вместе с запахом цветов донес до него светлый голос кларнета, настолько явственный, что Сергей даже оглянулся, не сразу поняв, в чем дело. Мелодия, опираясь на один «стоячий» тон, возвращалась к нему снова и была так свежа, чиста, так прекрасна, что Сергей всем существом как бы потянулся ей навстречу. Он мигом потерял ее, но по стуку сердца догадался, что вскоре услышит снова.

С доктором Чеховым он встретился нечаянно на почте на третий день по приезде.

Очень высокий, немного сутулый, в летнем пальто и черной шляпе, он мало переменялся. Только лицо пожелтело, голос стал поглуше, да нитки серебра завились кое-где в темно-русой бороде.

Он встретил Рахманинова приветливо, но так просто, словно они расстались только вчера. Многие эту простоту принимали за равнодушие.

Поглядев внимательно через стекла пенсне спокойными серыми глазами, побранил, почему глаз не кажет.

— Приходите-ка вечером, в шестом часу!

За оградой Сергей Васильевич увидел свежевскопаные грядки, персиковое деревцо в цвету. Все еще молодое, неокрепшее, но сколько труда в каждой пяди любовно, своими руками возделанной земли! Против крыльца гость загляделся на гиацинты. Их нежный, немного кладбищенский запах был слышен еще за оградой. Залаяла желтая низенькая кривоногая собачонка. Он уже знал, что ее зовут Каштанкой.

На крылечко вышла, улыбаясь, Мария Павловна и увела его в дом. В столовой предвечернее солнце косо освещало нижний угол знакомой картины Николая Чехова «Швея». Слева он увидел новое пианино. Дотемна засиделись на веранде.

Рахманинов рассказывал все, что знал про Москву, про театр, про «художников». Незадолго до отъезда он слышал, что театр едет в Ялту, везет Чехову «Чайку» и «Дядю Ваню». Порой умолкали оба. Тогда было слышно, как тикают «ходики» в комнате Евгении Яковлевны. На горах клубились тучи. Вдруг невидимый месяц посеребрил белеющий на гребне снежок. Антон Павлович не сводил с него глаз.

Выйдя на крыльцо проводить гостя, он сказал:

— Приходите же завтра!.. Вы знаете, здесь Калинин с женой. Зайдите-ка к ним. — И, помолчав, добавил: — Это нужно!

Почему «нужно», Рахманинов понял на другой день.

Он пошел и был до глубины души потрясен тем, что увидел. Тут болезнь уже, очевидно, шла к роковому исходу. Горячая рука с невыразимой благодарностью сжимала его пальцы. Страшным казалось землисто-желтое, обросшее редкой щетинистой бородой лицо и глаза, светло-голубые, измученные, сияющие и жаждущие жить.

У жены Калинникова, Софьи Николаевны, глаза были черные. Они спрашивали и говорили. Все было в них: упорство, вера и отчаяние. Сама же она была молчалива, только застенчиво улыбалась и, провожая гостя, благодарила за игру. Подобной они с Василием Сергеевичем давно уже не слышали.

В тот же вечер Рахманинов написал Юргенсону. И вскоре ему удалось продвинуть в печать симфонии и романсы Калинникова, которые автор, отчаявшись, хотел уже отдать даром.

Только раз Антон Павлович зашел на дачу Ливен. Говорили возле рояля. Рахманинов много играл гостю на «Блютнере», который и правда был необыкновенно хорош. Чехов следил за движениями длинных пальцев музыканта. В глазах мелькало не то удивление, не то усилие что-то припомнить. Он ничего не сказал. Лишь на прощание удержал его руку в своей, И даже простившись, они еще долго бродили по набережной. Солнце садилось за гребнем Ай-Петри. Море оделось в гладь и молочную бирюзу. На горизонте темнели паруса турецких фелюг. В разговоре Антон Павлович упомянул, что в Гаспре скоро ждут Толстого.

Тут неожиданно для себя Рахманинов, волнуясь, рассказал обо всем, что случилось в Хамовниках. Чехов искоса, чуть лукаво глянул на

собеседника, постучал тростью о камешек и кивнул головой.

— Наверно, в этот день он страдал от желудочных колик, — серьезно сказал он, — и потому не в состоянии был работать. В такие дни он обычно склонен говорить глупости. Не стоит обращать на это внимания.

Но вот однажды, в неурочный час, в море басовито загудел севастопольский пароход. И все, кто только мог ходить, кинулись на набережную. С этой минуты на десяток с лишком дней жизнь вышла из берегов. В Ялту приехал на гастроли Московский Художественный театр.

В сыроватом, не топленном всю зиму городском театре зазвонил ручной колокольчик. Было холодно, дуло из окон, но пахло морем и цветами.

Помимо воли Рахманинов был увлечен людским водоворотом. Он вглядывался в лица, столь не схожие между собой. Его покорила их неукротимая молодость, их вера в то, что они делают и несут людям.

Глубже всего затронул Рахманинова спектакль «Дядя Ваня». Каждая строчка, каждый «такт» этой пьесы были для него до предела насыщены музыкой. Как все ново у них, неожиданно и вместе с тем просто!..

Каждый день на даче в Аутке в саду завтракала едва ли не вся труппа. Под старой ветвистой чинарой качались подаренные Чехову качели из «Дяди Вани». Вечерами теплый ветер с горных лугов колыхал пламя свечей и пахучие грозди глициний. Внизу шумело море. И небо было в алмазах.

Как на праздник, понаехали писатели Куприн, Станюкович, Мамин-Сибиряк, Бунин. Впервые в эти дни Рахманинов встретился с Горьким. Его поразила высокая фигура в подпоясанной ремешком белой косоворотке, брошенный на сутулые плечи чекмень, растрепанные, свисающие на рот усы и удивительные зоркие глаза степного сокола.

Накануне отъезда «художников» город устроил в честь театра и писателей торжественный ужин на террасе гостиницы «Россия».

Рядом с Рахманиновым оказался Иван Алексеевич Бунин. Из всех, кого Сергей Васильевич встречал на даче в Аутке, пожалуй, меньше других ему нравился именно Бунин. Антон Павлович называл его почему-то «депутатом Букишоном». Отточенное остроумие, явно ощутимый для малознакомых холодок и это подчеркнутое щегольство в одежде — все это при первой встрече мало располагало. Но за ужином, обильно уснащенным пенистыми струями «Абрау-Дюрсо», они незаметно разговорились. И, к своему удивлению, Рахманинов разглядел в этом маленьком щеголе с остроконечной бородкой совсем другого человека. Оба они были молоды и с полуслова понимали друг друга.

Речь зашла о падении прозы и поэзии на пороге нового столетия.

На веранде, занавешенной полосатыми шторами, было душно. Они вышли сперва на нижнюю террасу, потом спустились во двор гостиницы и, увлеченные разговором, ушли далеко на мол, где не было ни души и лишь тускло светили фонари. Сели на свернутый, пропахнувший дегтем корабельный канат, дышали той свежестью, которая присуща одной только черноморской воде.

Они говорили все горячее и радостнее о том чудесном, что вспомнилось из Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Фета, Майкова. Тут Рахманинов взволнованно, переводя дыхание, стал читать стихи Майкова, найденные в эти дни на даче Ливен.

В этих строчках был новый мир, открывшийся ему после долгого блуждания в темноте. Это был зов. И он знал, что теперь ждать остается уже совсем недолго.

Я в гроте ждал тебя в урочный час.
Но день померк; главой качая сонной,
Заснули тополи, умолкли гальционы:
Напрасно!.. Месяц встал, серебрился и угас.
Редела ночь; любовница Кефала,
Облокотясь на рдяные врата
Младого дня, из кос своих роняла
Златые зерна перлов и опала
На синие долины и леса.

Вспоминая позднее эту пору своей жизни, Рахманинов начал понимать, что страшные для него, как для художника, годы неподвижности и молчания не пропали даром. Под гнетом неверия и отчаяния зрели новые силы.

Не случайно из прошлого, «с того берега», долетали до него в дни ожидания интонации романса «Весенние воды», написанного почти в канун катастрофы:

Весна идет! Весна идет!
Мы молодой весны гонцы,
Она нас выслала вперед.
И тихих теплых майских дней
Румяный светлый хоровод
Толпится весело за ней.

Да, вскоре вслед за концертом, настигая друг друга, пришли: и Сюита для двух роялей, и Кантата на текст некрасовского «Зеленого шума», и, наконец, изумительная Виолончельная соната. Но все это было еще впереди.

Пока он жил в непрестанной тревоге. Ему казалось, что он не вправе засиживаться на месте, должен двигаться, искать.

Еще в апреле, до приезда в Ялту театра, созрел молниеносный план поездки за границу. Путешествие было задумано «на широкую ногу» — пароходом через Константинополь, Пирей и Афины в Геную.

На эту тему он разговорился с Чеховым. Антон Павлович посмотрел на него, что-то обдумывая. Потом сказал:

— А знаете, я, пожалуй, поеду с вами.

В мае Чехова стало лихорадить. А другой кандидат в попутчики, Федор Шаляпин, отказался едва ли не в день отъезда из-за болезни ребят.

Путь на Стамбул преградил чумной карантин. И почти неожиданно для себя Рахманинов очутился в одиночестве неподалеку от Генуи на Адриатическом взморье.

В безветренном воздухе висел обморочный зной. Только под вечер Рахманинов опускался к морю. Волны катились вереницами на плоский берег широкой лагуны. В их безостановочном шуме и движении была какая-то не сразу различимая полифоническая закономерность. Они бежали с неодинаковой скоростью и силой, настигали, перегоняя одна другую, вскипая на мокром песке снежной пеной. Как и в Ялте, над берегом летали чайки. Но кричали они как-то «не по-нашему».

Незадолго до отъезда в Италию в Москве он встретил на Моховой Веру Дмитриевну Толбузину. В первую минуту оба немного растерялись. Он поднес ее руку к губам. На пальце сквозь тонкую кружевную перчатку блеснуло золотое колечко. Слабая краска выступила на ее щеках. Вся она как-то посветлела: и волосы и даже глаза. Сквозь их бирюзовую дымку он не мог разглядеть, что у нее на душе. Она показалась очень спокойной,

только поминутно отворачивала от ветра лицо. Под серой шляпкой трепетала тонкая золотая прядь. Говорили сбивчиво обо всем и ни о чем. Расстались, тая про себя свои чувства.

Но здесь, в одиночестве, на далеком чужом берегу, он с непонятным упорством тревожил память о недавней встрече, бередя глубоко скрытую боль.

В начале июля он вернулся в «Красненькое». Концерт начался с финала. Наконец-то прорвав плотину, могучая, полноводная река понесла его к иным берегам. К исходу лета десятки листов нотной бумаги покрылись бисерно-мелким кружевом неразборчивых точек, крючков и закавычек.

Владевшее Сергеем лихорадочное возбуждение непроизвольно передавалось его близким. Больше всех кипятился Александр Ильич Зилоти. Он безотчетно верил в Сережин концерт, ждал его и буквально замучил окружающих. В начале августа по его настояниям в «Красненькое» поехала Наташа.

Долгое время попытки что-то выведать у автора были тщетными. Лишь зимой 1900 года Зилоти настоял на своем. Две части концерта были исполнены на симфоническом вечере в Москве второго декабря.

Однако концерт все же был не окончен, или, вернее, не начат. А каково будет это начало, никто не знал и меньше всех сам автор.

Все эти месяцы Рахманинова продолжало лихорадить. Впрочем, его ли одного! Многим казалось в ту пору, что лихорадило всю Москву, всю Россию, весь мир... Девятнадцатый век, подаривший людям неисчислимые сокровища, шел к закату. Но сделал ли он людей счастливее?.. Едва ли!

Тяжелые тучи застилали горизонт. Здесь и там пылали и тлели очаги пожаров — в Трансваале, в Китае, в Малой Азии, на Балканах... Картина мира дала одному французскому журналисту повод для довольно мрачной шутки. Он сравнил последнее десятилетие уходящего века с непомерно затянувшимся балом. «...Все устали. Танцевать больше не могут и с досады начинают выделять эксцентрические скачки и сальто-мортале...»

Неспокойно стало в Москве. Ветер, словно шаль
ной пес, кидался из-за угла, сбивал шапки с прохожих, сыпал колючим снегом в глаза, ломился в окна и двери, без толку бил по ночам в колокола. Из подворотен и закоулков ползли неясные и нередко вздорные слухи.

Пьяные драки на Хитровом и на Трубе выливались порой во что-то совсем иное, давно не виданное. Всюду, где собиралась толпа, шныряли сыщики, нервически к месту и не к месту свистали городовые. На фабричных дворах чернели молчаливые толпы мастеровых.

В самой гуще знакомой мелкой обыденщины в душах подымалось то «великое томление, ищущее выхода», о котором писал Станиславский.

Снова, как пять лет тому, загудели университетские коридоры. Сходка второго февраля 1901 года превзошла все бывшие до сих пор. Будто бы и впрямь на Россию надвигалась та «громада», приближение которой слышало чуткое ухо доктора Чехова.

Часто Рахманинову в те дни мерещился в сумерках знакомый глуховатый голос, покашливанье. Однажды еще в мае не то в шутку, не то всерьез Чехов предложил Сергею написать оперу на сюжет «Черного монаха». Сергей так и не понял, зачем это было сказано, и долго в тот вечер не мог уснуть.

Недавно от Станиславского он узнал, что еще в декабре умирающий от грудной жабы Левитан ездил в Ялту через Байдары проститься со старым другом. После его отъезда в нише камина в чеховском кабинете осталась картина, написанная маслом за два часа: «Лунная ночь. Стога».

Теперь Антон Павлович снова один.

«Одинокому везде пустыня!» Эти слова Сергей однажды машинально прочитал на печатке, лежавшей у Чехова на столе в Аутке. Он слышал от моряков, что поздним вечером при подходе к Ялте в бинокль можно увидеть свет зеленой лампы ц окошке чеховского кабинета. Он смотрит в темноту на далеком краю русской земли. Но светит не одним морякам, но любому из нас, в ком поколеблены мужество и вера в человека.

Еще в первые месяцы жизни в Ялте Чехов писал сестре из недостроенной дачи:

«В Ялте тоже воют собаки, гудят самовары и трубы в печах... но как бы ни вели себя собаки и самовары, все равно после лета должна быть зима, после молодости старость, за счастьем — несчастье, и наоборот; человек не может всю жизнь быть здоров и весел, его всегда ожидают потери, он не может уберечься от смерти... Надо только по мере сил исполнять свой долг — и больше ничего».

Однажды у Гольденвейзера после просмотра сюиты Рахманинов вышел в прихожую и вынул из кармана пальто сверток нотной бумаги.

— Я написал наконец первую часть концерта, — сказал он.

Гольденвейзер был захвачен поражающей красотой музыки и уговорил Рахманинова повторить сыгранное в тот же вечер при собравшихся у него

музыкантах. Но последние приняли первую часть концерта весьма сдержанно.

Концерт был окончен весной и исполнен осенью 1901 года. Но ни шумный успех, ни похвалы печати не могли до конца убедить автора в том, что лед душевного оцепенения, наконец, треснул, раздался вширь, что дорога в будущее, к еще небывалым высотам для него открыта. Всего за несколько дней до премьеры он весь был во власти сомнений. В письме к Никита Морозову от 22 октября слышны нотки неподдельного отчаяния.

И прошло еще полгода без малого, прежде чем он уверовал, наконец, в свою судьбу, в свое воскресение. Тогда вслед за до-минорным концертом зазвучали его младшие сестры — Виолончельная соната и кантата «Весна».

8

Идет-гудет Зеленый шум,
Зеленый шум, весенний шум...

Внутреннюю музыку некрасовского стиха Рахманинов расслышал еще в ранней юности. Еще мальчиком с каждой новой весной он безошибочно узнавал интонацию «Зеленого шума» и с улыбкой, как старому другу, протягивал ей навстречу руки.

Играючи расходится
Вдруг ветер верховой,
Качнет кусты ольховые,
Поднимет пыль цветочную,
Как облако. Все зелено —
И воздух и вода.

Но, как видно, для всего свое время. И, наверно, не случайно на этот раз оно пришло к музыканту еще в самом начале лютых январских вьюг. С утра до вечера глядели в глаза слепые, одетые инеем стекла. Проснувшись в полутьме жарко вытопленной комнаты, он слушал, как «зима косматая

ревет и день и ночь», как воеет в трубе, сотрясает оконные рамы и шарит костлявыми пальцами по крыше. И когда однажды среди затихающего шабаша и воя ранним утром, с первой оттепелью вдруг запели ему могучие и нежные голоса виолончелей, он весь затрепетал. Наверно, впервые с такой безоглядной щедростью отдавала себя истомившаяся в темнице душа странствующего музыканта, торжествуя победу дня над ночью, любви над злобой, весны над зимой.

Меньше чем за два месяца он создал в партитуре большую кантату «Весна» для хора, солиста и симфонического оркестра.

Обычно записанная музыка тотчас же переставала для него звучать. На этот раз случилось иначе. Он все еще бродил как пьяный.

Утром в воскресенье, чтобы отвлечься, он пошел с Наташей в Третьяковскую галерею. Часы недолгого зимнего дня они молча провели в зале Левитана. Он умер в июле позапрошлого года. Но в тихой просторной комнате, освещенной неярко через потолочные стекла, все говорило, шептало, смеялось и плакало: река несла вечерний звон, журчала вода на запруде у омута, скрипели под ветром снасти на расписных волжских беланах, шептались о чем-то чахлые березы над вечным покоем, звенела мартовская капель, шумел, гудел Зеленый шум.

Русь... Каждый знал, что никогда под этими сводами не замолкнет голос ее певца, не померкнут дары, которые он нам оставил. И, может быть, здесь впервые у Рахманинова блеснула мысль, показавшаяся кощунственной, что ему, в его музыке, может быть, как никому другому суждено рассказать о русской природе то, чего не успели поведать Чехов и Левитан.

Уходя, остановились против небольшого холста. Изгородь у околицы. Через открытые покосившиеся ворота дорога уводит в поле, в лес, озаренный вечерним светом. И у каждого будто бы был уже точно такой же вечер, но где и когда — не припомнишь!

На дворе слабый морозец. Москва приделась инеем.

Сергей искоса глянул на Наташу. В серой смушковой шапочке была она очень мила. Сколько дорог исходили с ней рука об руку, как до мелочей узнали друг друга!

По привычке Сергею захотелось подразнить ее. Но вместо того он высказал вдруг совсем иное, то, что таил в себе еще с прошлого лета. Он спросил: не кажется ли ей, что им, пожалуй, не прожить друг без друга?

Она глубоко вздохнула, потом кивнула головой и вдруг вся — до корней волос — порозовела.

По улицам валила нарядная толпа. Над головами качались зеленые и

малиновые шары. Кричали лоточники, пищали надувные свистульки. Сеял тихий мелкий снежок. Бренча бубенцами, летели, заноса на ухабах, ямщицкие тройки.

Они шли об руку, позабыв о времени, сами не зная куда: в сумерки ли праздничной Москвы, в безлюдное поле за околицу перед закатом, или в гулкий весенний бор, где ходит эхом Зеленый шум, повторяя на разные лады одну и ту же песню:

Люби, покуда любитя,
Терпи, покуда терпитя,
Прощай, пока прощается,
И бог тебе судья.

Возле дирижерского пульта загорелась зеленая лампочка. Громче, тревожнее загудел оркестр.

Тогда они вышли один за другим из боковой двери, оба высокие, статные, в чем-то немного похожие, а в остальном совсем разные. Впереди Рахманинов, за ним — Зилоти.

Зилоти — белокурый, светлоглазый, цветущий, затаив лукавую улыбку. Рахманинов землисто-бледный, очень замкнутый, усталый и непроницаемо холодный.

Гром рукоплесканий следовал за ним, пока он шел к роялю, не спеша пробирался среди пюпитров. Он долго усаживался, словно искал какую-то абсолютную точку опоры, долго потирал руки.

Гул оркестра внезапно сошел на нет. Тогда Рахманинов повернул свою коротко остриженную голову, поглядел на зал и опустил свои большие белые руки на клавиши. Все хорошо знали этот рахманиновский аккорд — призыв ко вниманию.

Вдруг из неведомой дали донесся колокольный звон, сперва еле слышный, потом все громче. Мерные полновесные удары, падая один за другим, пробивали себе дорогу во мраке. Вдруг беспокойное движение на октавах пробудило застывший в ожидании оркестр. И тогда тема главной партии властно вступила в зал. В ней звучала встревоженность набата. Композитору Николаю Карловичу Метнеру всегда казалось, что за ней, за

ее медленной колокольной раскачкой, во весь свой могучий рост поднимается Россия. Ничто не в силах противостоять ее державному шагу. Она не дрогнула и тогда, когда, прорезая многокрасочную ткань оркестра, в нее ворвались гневные рокоты рахманиновского рояля.

«Эта музыка так напряжена, так взволнована, что, кажется, вот-вот прорвет плотину, сметет все преграды». Но вся она во власти железного ритма. В нем опора и защита против душевного хаоса.

Игра Рахманинова в его титаническом единоборстве с оркестром поражала тем более, что по-прежнему глубоко скрытым оставался питавший ее внутренний огонь. Та же бледность, те же ресницы, опущенные на клавиатуру. Только в музыке слышно было порой его трепетное прерывистое дыхание. Оно передавалось невольно и слушающим. Эта музыка пришла не усыпить, не убаюкать, но, напротив, разбудить, взбудоражить все лучшее в душе человеческой. Поднять со дна ее сокровища мысли, желаний, мечтаний, радости и гнева. Не в шутку грозил кому-то этот дерзкий, вызывающий марш.

А затем после минутной паузы, едва зал перевел дыхание, чьи-то осторожные руки раздвинули впереди сумрачную чашу, чтобы показать единственную и неповторимую Белую ночь русской музыки. Она белая и вместе с тем звездная. Ее небо в алмазах.

Эта мелодия, подслушанная у летнего вечера, стояла, как бы качаясь вокруг опорного звука, вздрагивала, мерцала и колыхалась, словно месяц на ясной воде, подернутой паром.

Во время одной из репетиций в гулком полупустом зале, когда зазвучало это адажио, юный Толя Александров, сидевший рядом с Танеевым, испуганно взглянул на соседа. По щекам Сергея Ивановича катились крупные слезы.

— Это гениально! — дрогнувшим голосом пробормотал он и, вдруг смутившись, отвернулся и глубоко, отрывисто кашлянул в платок.

Но до Рахманинова эти слова, такие непривычные в устах Танеева, дошли много лет спустя, когда его учитель давно лежал в могиле.

Однажды в Петербурге некий язвительный критикан модернистского толка с ехидной усмешкой обратился к неистово хлопающему темноглазому студенту:

— Как вы можете аплодировать этой сахарной водичке?.. Ведь она скоро умрет!..

— Нет, — запальчиво отрезал студент Юрий Шапорин. — Вы заблуждаетесь. Она переживет и вас, и меня, и еще многие поколения после нас.

В артистической из водоворота окружавших Рахманинова лиц выглянуло бледное, взволнованное лицо доктора Даля. Присущая последнему выдержка на этот раз ему изменила.

— Ваш концерт... — начал он.

— Нет, — перебил Рахманинов с улыбкой, — не мой, а ваш...

Он увлек гостя в глубину комнаты и вынул из портфеля первый авторский экземпляр клавира, только что вышедшего из печати. На обложке стояло:

«С. Рахманинов. Концерт. До-минор. Посвящаю Н.В. Далю».

Во втором отделении впервые исполнена была кантата «Весна». Допьяна напоила в тот вечер музыка Рахманинова жаждущие души! И концерт и кантата прозвучали на едином дыхании гимном грядущей весне. Словно треснул, раздался где-то многовековой лед. Двинулась еще невидимая громада.

Давно опустел зал, погасли огни у подъезда. Но многим казалось, что торжествующий напев идет вслед за ними по улицам Москвы, сметая с проводов и деревьев жалкий легковесный мартовский снег, последние потуги обреченной на гибель зимы.

Идет-гудет Зеленый шум,
Зеленый шум, весенний шум...

На пути к свадьбе стояло немало преград. Брак между двоюродными братом и сестрой мог состояться лишь с «высочайшего соизволения». Мало того — Сергей наотрез отказался идти к исповеди, а без формального свидетельства об этом обряде ни один священник не рискнул бы венчать. Выход из тупика нашла Мария Аркадьевна Трубникова. Будучи лично знакома с отцом писателя Амфитеатрова, настоятелем Архангельского собора, она знала его как умного, доброго и разносторонне образованного человека. Она убедила Сергея пойти к нему для беседы.

О чем беседовал композитор с отцом Валентином (едва ли об отпущении грехов!), осталось в тайне. Однако он вернулся веселым. Царское же «соизволение» было получено задним числом уже после свадьбы.

Свадьбу назначили на конец апреля.

По дороге из Петербурга Сергей заехал к бабушке Бутаковой. В этой встрече на пороге неведомой жизни был скрытый глубокий смысл, нежная теплота и щемящая горькая жалость. Погруженный в себя, в свои личные горести и неудачи, он мало думал о ней. А ведь она только им и жила.

В Чудове снова, как когда-то, пришлось два часа ждать курьерского поезда. День шел к вечеру. Над горизонтом, сторожа ветреный закат, висели багряные облака. В воздухе вился мелкий снег. В поднебесье кричали невидимые журавли.

Его не покидало чувство, что вот могучая полноводная река уносит его, кружа, как щелку. Куда?..

Хотелось остановиться на минуту, оглянуться, подумать.

Но передышки не было. Часто он про себя повторял смешную ребячью присказку, которой в детстве его выучила Уляша:

Несет меня лиса
За темные леса,
За высокие горы...

Да, темны, неподвижны, загадочны, синели на горизонте Леса его родного края. Он вглядывался в его полустертые временем черты и больше не узнавал.

В начале апреля Рахманинов один выехал в Ивановку.

За две недели, которыми он располагал, Сергей обещал написать двенадцать романсов для Карла Гутхейля, а последний — уплатить музыканту три с половиной тысячи рублей, в которых тот очень нуждался для предстоящей поездки за границу.

В первые дни он никак не мог привыкнуть к тишине пустых комнат ивановского дома, где без помехи гулял довольно едкий сквознячок.

В саду, раздвигая сухие побурелые листья, поднимались навстречу солнцу зеленые стрелки йод-снежников.

Один за другим композитор создавал романсы. Не, все, разумеется, романсы были равноценными. Но были в их числе и «Отрывок из Мюссе», и «Здесь хорошо», и, наконец, «Сирень». Та «Сирень», что позднее стала чуть ли не символом лирики Рахманинова, чьи отголоски рассеяны без

числа по страницам клавиров и партитур. Сколько юных сердец она одарила! Сколько уст повторяли заветные нежные слова:

По утру на заре по росистой траве
Я пойду свежим утром дышать,
И в душистую тень, где теснится сирень,
Я пойду свое счастье искать.

В день его отъезда на зеленых, обрызганных росой ветвях уже раскрывались нежно-фиолетовые ротки бутонов...

За два дня до свадьбы поздно вечером пришли Зилоти и Брандуков. Визит был деловой. Оба были приглашены шаферами. Но Анатолий Андреевич, по всегдашней рассеянности, принес виолончель, свою драгоценную «Мантаньяно».

Все в доме буквально падали от усталости. Тетушка проворчала: «Нашли время!» Но музыка оказалась сильнее. Зилоти сел за рояль, а теплый могучий голос виолончели пошел бродить из комнаты в комнату. Чего только не вспомнилось за эту ночь!

Единственная свеча горела на пюпитре у Брандукова.

Наташа и Соня сидели, обнявшись, в огромном старом кресле. Сергей — на бухарском ковре, обхватив руками длинные колени. Рядом на скамеечке загрустила о чем-то Марина, О времени как бы забыли.

О счастье, о золотом счастье пел смычок Брандукова. А когда смолк, Зилоти толчком отворил окошко в сад. Запахло цветами и теплым дождем. Он уже проходил, но все еще шептал о чем-то в кустах черемухи.

Венчались двадцать девятого апреля в военной церкви за городом.

Наташа одевалась к венцу у подруги своей юности Веры Дмитриевны Толбузиной.

Глава третья ПЕРВЫЕ ГРОЗЫ

Русское музыкальное общество в те годы уже сделалось монолитной

силой. За ним стояли традиции, поддержка свыше, консерватория, Большой театр, громкие имена.

Всей этой «махине» противостояли на первый взгляд разрозненные усилия групп и отдельных лиц: филармония, Частная опера, захиревшая после ухода Мамонтова и Шаляпина, какие-то кружки. Сборный и текущий состав ансамблей, случайные дирижеры и вечные. денежные прорехи.

Но эта чахлая на вид «молодая поросль» продолжала бороться, цепляясь за каждую пядь обжитой земли. Не будучи скованы рутинной, эти кружки и кучки без страха и оглядки обращались к новому, к русскому, вступали на нехоженые тропы, не смущались промахами и неудачами.

Нередко это были люди, практически с музыкой не связанные. Можно ли забыть многолетний самоотверженный труд Аркадия Михайловича и Марии Семеновны Керзиных! Керзинский «кружок любителей русской музыки» начал свой долгий путь едва ли не за чайным столом.

За шестнадцать лет кружок организовал сто одиннадцать камерных и симфонических концертов русской музыки. Керзины сумели привлечь на эстрады своих концертов лучших певцов, музыкантов, а позднее и лучших дирижеров своего времени. Но это все еще в будущем.

Василий Ильич Сафонов снискал себе заслуженную репутацию первоклассного пианиста и дирижера, превосходного педагога, воспитавшего целую плеяду блестящих русских музыкантов. Многолетняя деятельность Сафонова как председателя Московского отделения РМО и директора консерватории оставила глубокий след в истории русского искусства. Неукротимая энергия, организаторский талант сочетались, однако, в его натуре с безграничным властолюбием. Это последнее делало порой сотрудничество с Сафоновым делом до крайности сложным. В разное время это испытали на себе Чайковский, Зилоти, Аренский, Танеев, Пабст и другие.

Рахманинов в глазах Сафонова был одним из «них».

Василий Ильич был достаточно умен и талантлив для того, чтобы оценить возрастающее с каждым днем значение Рахманинова.

В трудные для него дни сделай Рахманинов только один шаг навстречу Сафонову, все могло еще в корне перемениться.

Но когда этот «питомец Танеева» при встречах с ним, Сафоновым, надевал личину надменности, нестерпимого высокомерия, директором овладевала ярость.

Однако появление Второго концерта привело Василия Ильича в замешательство. Довольно было ему, как музыканту, только прочитать две части концерта, чтобы понять, что это значит.

Скрепя сердце он написал автору, с официальной учтивостью предложив услуги оркестра и свои, как дирижера. Композитор ответил столь же учтивым отказом.

Но творческий дуэт все же состоялся.

Вернувшись осенью из заграничного путешествия, Рахманинов понял, что, если он хочет прожить с семьей в Москве, ему придется работать, не разгибая спины. Гонорары Гутхейля поглотило лето, оба института (помимо Мариинского, он с осени принял инспекторство еще и в Екатерининском институте) давали всего сто рублей в месяц, концертов предвиделось мало. Оставались уроки, то, к чему совсем не лежала его душа, но с чем он смирился, как с неотвратимым злом.

И тут прибыло неожиданное приглашение в Вену на концерт, организуемый каким-то благотворительным обществом.

«В качестве дирижера, — говорилось в приписке, — приглашен В. И. Сафонов...»

Рахманинова передернуло. Но тут же он задумался.

Пусть его и Сафонова разделяет взаимная антипатия, они никогда не будут знакомы домами. Но разве это мешает им встретиться в каком-то «нейтральном» третьем доме, куда позовут их обоих? Стоит ли сгоряча отказываться от баснословного гонорара!

Не советуясь ни с кем, он дал согласие. И тут разразилась буря. И дома и в среде музыкантов ему дали понять, что он совершает неблагоприятный поступок. Чуть свет приехал Зилоти, предложив Рахманинову «отступное», только бы он отказался.

Решающее слово оставалось за Танеевым. Рахманинов написал учителю. Он знал, что на Сергея Ивановича никакие смягчающие мотивы не действуют. Он, непогрешимый судья в вопросах чести, ответит, как всегда, напрямик.

День, мучительный и гнетущий, прошел в ожидании ответа. Но поздно вечером Сергей Иванович сам приехал к Рахманинову, чтобы его успокоить. Гора свалилась с плеч. Охваченный горячей благодарностью, Рахманинов тут же надписал только что полученный от Гутхейля первый авторский экземпляр Виолончельной сонаты своему учителю, «еще раз в трудную минуту пришедшему ему на помощь».

Концерты имели выдающийся успех. Вена и Прага шумно рукоплескали. Многих только удивило, что после исполнения фортепьянного концерта оба русских музыканта вместо традиционного рукопожатия обменялись коротким сухим поклоном. Московская же «буря» утихла еще раньше, чем композитор вернулся домой. Победителя не судят!

В середине декабря 1902 года литературная, музыкальная и артистическая Москва, как на праздник, пришла в симфонический концерт Зилоти. Исполнялся «Манфред» Байрона с музыкой Шумана. Читали Федор Шаляпин и Комиссаржевская.

Она стояла среди оркестра вся в белом, такая маленькая и хрупкая рядом с великаном Шаляпиным.

Но когда на фоне засурдиненных струнных прозвучал ее голос, душа Рахманинова затрепетала. Весь подавшись вперед, он жадно ловил каждую интонацию. Казалось, покуда он, этот голос, будет звучать, душа не перестанет верить в прекрасное, в правду и добро.

Шаляпин вложил в своего Манфреда все душевные богатства, всю музыку слова, которыми он владел,

У присутствовавших в концерте память о нем сохранилась на всю жизнь.

Но на смену праздникам приходят будни.

После трехмесячного пребывания в Вене, Швейцарии, Италии Рахманиновы вернулись в Москву на Воздвиженку, в скромную квартиру, приготовленную Варварой Аркадьевной. К молодым с первого же дня перешла жить Марина на правах домоправительницы, родного и близкого человека и верного до могилы друга.

Началась новая жизнь.

Шла зима. Рахманинов сблизился с Керзиными, иногда выступал в керзинских концертах. Играл с Брандуковым и с певцами — Леонидом Собиновым, Забелой, Петровой. Но творческая волна, так высоко вознесшая его на свой гребень, быстро шла на спад. Его больше не тянули к себе крупные формы, если он и подумывал временами, то о небольших фортепьянных пьесах.

В середине мая в Ивановке ждали гостя или гостью: Наталья Александровна — сына, а Сергей Васильевич — дочку, и непременно Ирину.

Ирина явилась на рассвете 14 мая и сразу же подала голос — живое свидетельство незаурядного вокального дарования.

На смену ночи волнения и тревог настало утро. Солнце вошло в дом, и вслед за ним еще одна гостья — свежая, пьянящая счастьем Прелюдия ми-бемоль мажор, провозвестница будущих рахманиновских «фортепианных акварелей».

Вскоре пошли напасти — целое наводнение ангин.

Но едва девочка повеселела, обещанные Гутхейлю прелюдии пошли одна за другой.

В большинстве пьес этого цикла с небывалой еще душевной щедростью раскрыт мир пейзажной лирики Рахманинова, льются гимны русской природе. Лишь в отдельных пьесах слышны интонации сурового мужества, бурного протеста. Особняком стоит Прелюдия реминок (в темпе менуэта), произведение большой трагической глубины и ярко национальное по колориту.

2

В конце октября Москва помянула десятую годовщину со дня смерти Чайковского. И все звучавшее в эти дни — и Шестая симфония, и «Иоанн Дамаскин» Танеева, и вариации Аренского на тему «Был у Христа-младенца сад», и оба элегических трио — на время оттеснило другие впечатления.

На 15 ноября 1903 года в симфоническом у Зилоти в Петербурге было назначено первое исполнение в столице рахманиновского Концерта до-минор.

В снежных сумерках под глухую стукотню колес обрывки мелодий теснились в памяти, сплетаясь с голосами прожитых лет. И со странной назойливостью приходил на ум, не то на память все тот же образ, от поры до времени тревоживший композитора. Было ли это наяву или только пригрезилось, он не мог припомнить. Будто бы ехал он когда-то в этих широких скрипучих санях. Тройка ленивой рысцой бежала в гору. Коренник, фыркающая и бряцающая сбруей, тряс косматой гривой.

И непонятная тревога закрадывалась в сердце. Куда везет его этот плечистый молчаливый мужик в армяке с цветной опояской? Что там за пригорком, за темным ельником и березовой опушкой?..

Так уже повелось, что в Петербурге под огромным светящимся циферблатом перронных часов музыканта всегда ожидала его маленькая племянница Зочка Прибыткова, сперва с няней, а стала постарше — сама. Девочка была смышленная и трогательная в своих заботах о длинноногом дядюшке. За это последний, когда Зоя была вся еще с ноготок, дал ей шутовское прозвище «Секретаришка». Он полюбил ее на всю жизнь еще до того, как на свет появилась Ирина.

По дороге в санях приезжий музыкант узнал все домашние новости.

Узнал, между прочим, и о том, что в кабинете у Прибытковых, где он всегда останавливался, жила до его приезда какая-то Вера Федоровна.

Но Рахманинов был поглощен предстоящим концертом. Трудно было предвидеть, как он пройдет.

...В этой музыке была страстная покоряющая сила. В толпе, хлынувшей к подножию эстрады, он видел сияющие лица, глаза. Но в том конце зала, где сидели обычно столичные рецензенты, царил иронический холодок, из уст в уста летало колючее словечко «архаика».

В тот же вечер исполнялась симфония молодого москвича Александра Гедике.

После концерта, за ужином у Зилоти, где присутствовал весь музыкальный Петербург, Шаляпин, поднявшись, потребовал внимания и, слегка коснеющим языком, адресуясь к дебютантам, повел выпретенную речь от лица присутствующего «отца русской музыки Римского-Корсакова». При существующих холодноватых отношениях между столицами речь прозвучала если не бестактно, то, во всяком случае, неуместно. Все были сконфужены. Римский сидел молча, опустив глаза на тарелку.

Шаляпин и Рахманинов расстались в этот вечер не простясь.

Сергей Васильевич долго не мог уснуть, а проснулся с чувством неловкости и досады, и даже посетовал на себя, почему заказал билет только на завтра.

Но Зоя Секретаришка развеселила его, показав валящий за окошком густой снег. Потом сообщила шепотом, что в гостиной Вера Федоровна и еще двое дядей что-то «представляют».

Услышав за дверью веселые голоса, Рахманинов тут только догадался, в чем дело. Он ужасно смутился, сам не зная почему. Торопливо одевшись, хотел ускользнуть, но его заметили и попросили остаться. Вера Федоровна Комиссаржевская, Владимир Николаевич Давыдов и совсем молодой артист Александринского театра Ходотов репетировали пьесу Фабера «Вечная любовь».

Взяв на колени Секретаришку, Рахманинов приютился под пальмой в дальнем углу.

Происходящее в гостиной через минуту заморозило его, а все случившееся накануне сделалось ничтожным. Рахманинов знал, что такой случай больше не повторится в его жизни, и потому он не вправе проронить ни одного штриха, ни одного слова, ни одного взгляда этих глаз, сияющих, умных и невыразимо печальных.

В жизни она была другая — веселая, немного застенчивая, она

заразительно смеялась и покоряющей искренностью и простотой не походила на актрис, с которыми Рахманинова сталкивала судьба.

Никто не заметил, как улетел этот короткий снежный день. После обеда Давыдов читал басни, при всеобщем веселье перевоплощаясь то в ворону, то в повара, то в блудливого кота Василия. Потом Ходотов пел под гитару цыганские песни и, вдруг умолкнув, раскинул руки и пал на колени на мягкий ковер.

Вера Федоровна засмеялась. Потом, погрузившись, села на стул боком, положив подбородок на сплетенные руки. Зазвенел гитарный перебор, и Рахманинов впервые услышал песню бесприданницы Ларисы. Не старый, запетый итальянский романс пел ее голос, но горькую правду любви и отчаяния. Могли ли заглушить его эти беспомощные строки:

Он говорил мне: «Будь ты моею...»

Ходотов осторожно прижал струны ладонью. И вдруг в прихожей весело зазвенел колокольчик.

Александр Ильич Зилоти мигом вошел в тон импровизации, царившей в этот день в доме Прибытковых. Присев к роялю как бы невзначай, он начал кокетливо и шаловливо наигрывать свою любимую фантазию на тему «Летучая мышь».

Рахманинов, не утерпев, поднял крышку другого рояля. Началась «игра в мяч». Вальс, как по волшебству, перерастал в мазурку, в марш, польку, фугу и даже в хорал. Перепрыгивая из темпа в темп, из тональности в тональность, они ни разу не сбили и не потеряли друг друга.

Импровизация кончилась при всеобщем хохоте.

Потом Зилоти нашел на этажерке мелодекламации на музыку Аренского, посвященные Комиссаржевской. Она прочитала тургеневское стихотворение в прозе «Как хороши, как свежи были розы...».

Читала очень просто, без тени пафоса и надрыва: не в том ли была тайна ее неповторимого обаяния!

Когда она кончила, Рахманинов взволнованно поцеловал ее руку, пробормотав: «Спасибо!»

Вскоре Вера Федоровна ушла, пожаловавшись на усталость. Но голос чудесной гостьи долго еще звучал в притихнувших комнатах.

Чехова на сцене Московского Художественного театра шла впервые пьеса «Вишневый сад».

«Художники» полюбили пьесу, но боялись за ее судьбу. Потому решено было, пользуясь присутствием Чехова на премьере, как бы «заслонить» постановку чествованием дорогого для всех именинника.

Вероятно, это было жестоко! Все хорошо знали отношение Чехова к чествованиям и юбилеям, знали, что он тяжело и безнадежно болен, но об этом вовремя как-то никто не подумал.

Пьеса и правда была «непривычная», будила грусть и улыбку, жалость и недоумение. Прощаясь со старым, милым, но отжившим, она протягивала руки новому. А каково будет оно, это «новое»; никто хорошенько еще не знал.

Странно и почти жутко отозвался в ушах торжествующий крик Лопахина:

— Вишневый сад теперь мой. Мой!..

«Чей это «мой»?..» — растерянно спрашивали друг у друга глазами.

После третьего акта началось чествование.

В первую минуту из зала Рахманинов просто не узнал его. Землисто-бледный, с запавшими щеками, он стоял, хмурясь и не поднимая глаз. Только раз губы Антона Павловича едва заметно дрогнули, когда толстяк с прыгающей бородкой начал трескучую речь.

Наверно, на память автору пьесы пришел «дорогой и многоуважаемый шкаф...».

А сколько венков! Похоже на похороны...

Еще на святках по Москве поползли тревожные слухи о каких-то «неладах» на востоке. Чаще прежнего на улицах звучала жесткая дробь барабанов. На набережной, составив ружья в козлы, грелись зябнувшие солдаты. Рахманинов слухам не верил. Его мысли поглотил клавир одноактной оперы на неизменный текст Пушкина «Скупой рыцарь».



*С. В. Рахманинов, 1910 г.
Фотография с дарственной надписью
И. Ф. Шаляпиной.*

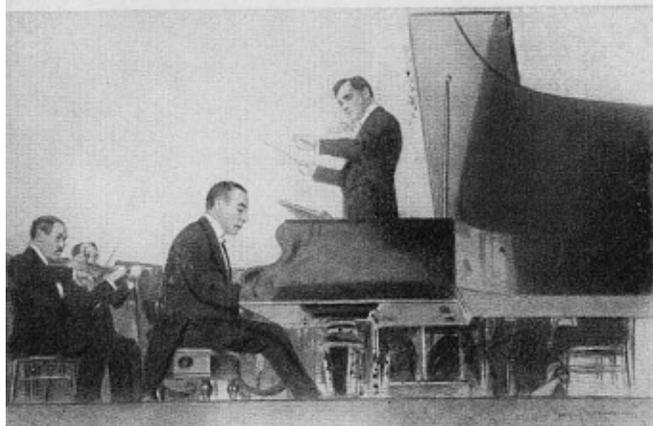
*С. В. Рахманинов
в имени Исаювка за
корректурой концерта
№ 3 летом 1910 г.*



*С. В. Рахманинов,
Н. Н. Лангуз
и А. А. Трубникова.
Начало 1910-х годов.*



*Ф. И. Шаляпин
и С. В. Рахманинов,
1916 г.*



*Концерт
С. В. Рахманинова.
С рисунка
В. Россинского,
1917 г.*

Но вот, возвращаясь с урока однажды в конце января, он услышал исступленные крики газетчиков:

— Порт-Артур!.. Телеграмма наместника!.. Японцы напали на Тихоокеанскую эскадру... Русский посол в Токио отозван... Высочайший манифест о войне с Японией...

Так болтовня и шушуканье по-за углами обернулись явью.

Верноподданные толпы лабазников и горланов с иконами, хоругвями, флагами и портретами «обожаемого монарха», красные, надутые важностью лица козыряющих городских, остервенелый вой казенных газет, угрозы закидать шапками «желтолицых макак» — все это выглядело достаточно пошлым.

В чем-то его, Рахманинова, самолюбие было задето. Сквозь вопли «ура» и первые смутные вести о небольших еще неудачах он пытался между строчками газет прочитать что-то неизмеримо более важное, в чем

была оскорблена Россия.

В начале марта в дневнике у Сергея Ивановича Танеева появилась лаконическая запись:

«...Был в половине второго Рахманинов. Играл «Скупого рыцаря». Прекрасное сочинение. Великолепна сцена в подвале... Много благородной, хорошей музыки...»

Вслед за Даргомыжским и Корсаковым Рахманинов обратился к «маленьким драмам» Пушкина и попытался интонациями мелодического речитатива выразить губительную страсть, опустошившую душу скупца.

В ту пору ему казалось, что страсти человеческие — первый двигатель всего сущего. Из того же зерна родился и замысел второй его оперы — «Франческа да Римини».

В марте Сергея Васильевича неожиданно пригласил управляющий конторой императорских театров и предложил ему пост дирижера Большого театра.

Раздумья пришли только тогда, когда контракт был уже подписан. Тогда он понял, что за материальную независимость и возможность работать с превосходным ансамблем ему придется отдать без остатка все время, предназначенное для творчества.

От инспекторства и уроков он сразу же отказался, сохранив до поры за собой только училище Екатерины.

В апреле прибыли первые раненые из-под Тюренченя. Почти каждый день провожали кого-нибудь, как тогда говорили, «на театр военных действий». В самом названии этом Рахманинову слышалась злорадная издевка.

В начале мая по пути в Ивановку во время долгой стоянки в Тамбове Сергей Васильевич стал свидетелем отправки новобранцев. Длинный ряд порожних вагонов-теплушек стоял на запасном пути. На полотне рядом с поездом гудела возбужденная толпа. Хохот, свист, визг гармошки, липкая ругань и горький бабий плач.

И вдруг все покрыл леденящий кровь пронзительно-звонкий рожок горниста.

С юга, заслоня солнце и сдержанно грохоча, шла синяя градовая туча.
— По ваго-онам! — пронесся истошный крик.

И воцарился ад. Все побежали. Стоявшая подле столба с узелком в руках молодая бабенка в лаптях с хриплым воем повалилась в грязь, обнимая сапоги новобранца в сдвинутом на затылок картузе. Он был пьян; силясь освободиться, глядел прямо перед собой мутными синеватыми

глазами.

Не чуя ног под собой, Рахманинов прошел мимо.

На миг приподнялся край занавеса, и он увидел то, о чем нельзя было прочитать ни в реляциях, ни корреспонденциях с этого проклятого, дьявольского «театра».

В ушах у музыканта немолчно звучали строфы Дантова «Ада»:

Я увожу к отверженным селеньям,
Я увожу сквозь вековечный стон,
Я увожу к погибшим поколениям...

Здесь, в Ивановке, этот «вековечный стон» был гораздо слышнее, чем в многолюдной Москве.

С низовьев Волги дули обжигающие суховеи, разнося по полям призрак голода и напастей. Жестокий град до корня выбивал неокрепнувшие полосы озимых.

Нищета, безлошадье...

Вечерами Сергей Васильевич выходил на опушку молодого парка. Слабо мигали степные звезды. Светят они и там, на краю земли, на вершины голых сопок и заросли гаоляна.

Три раза в неделю приходила почта. Все набрасывались на газеты.

Каждому хотелось разорвать вязкую паутину подсахаренных сентенций, глухих реляций Куропаткина о «стратегическом оттягивании армий к Ляояну», увидеть голую правду, как бы страшна она ни была.

Но в один душный июльский вечер паутина нежданно прорвалась, и на мкг все исчезло: и Маньчжурия, и призрак голода, и «Франческа». Из траурной рамки бросилось в глаза одно страшное и бесповоротное слово: «Баденвейлер».

Антон Павлович Чехов...

С минуту Рахманинов сидел, сжав ладонями виски и ничего не видя перед собой. Потом оглянулся. В комнате никого не было. Ирину лихорадило, мать, истомленная зноем, забылась рядом с ней. Только с веранды долетел до него чей-то тихий, горький плач. Войдя, он увидел Соню.

Обняв ее, усадил рядом на камышовом диванчике.

Негромкий голос доктора Чехова еще звучал у него в ушах. Но

зеленый огонь в окошке ауткинской дачи погас навсегда.

Так молча сидели они, глядя в наступающие сумерки, и думали о том, что теперь надеяться больше не на что.

Среди лета пришлось бросить работу над «Франческой» и приняться за оперные партитуры. На третье сентября была назначена «Русалка». К счастью для нового дирижера, он, находясь вдали от Большого театра, о многом не подозревал. Щадя покой музыканта, друзья не упоминали в письмах о буре страстей, разыгравшейся при его назначении.

Ветер дул, разумеется, из Русского музыкального общества. Сам Сафонов на этот раз признал за благо остаться в стороне, но, без сомнения, действовал через других.

— Разве с Рахманиновым можно работать! — вздыхали почтенные музыканты. — Без меры требователен, суров, нетерпим.

«Подготовка» была перенесена в гущу артистов, хора и оркестра. Переступив порог театра, Рахманинов сразу почувствовал сомкнувшиеся на нем недоверчивые и недружелюбные взгляды.

В разговоре с ним каждый испытывал чувство неуютa. Худой, высокий, с суховатой ноткой в голосе. Особенно подавлял его взгляд, рассеянный, как бы безразличный.

В первый же день он назначил отдельные репетиции мужчин и женщин к премьере «Князя Игоря».

Кулисы загудели: «Рахманинов всех ругает, на всех сердится. Рахманинов сказал, что никто петь не умеет, посоветовал многим вновь поступить в консерваторию...»

Тут же началась ломка вековых традиций.

Рахманинов велел перенести дирижерский пульт от рампы назад, к барьеру.

— Я хочу видеть перед собой оркестр, — заявил он.

Певцы возроптали: «Это просто черт знает что такое! А как же мы-то, мы увидим его палочку?!»

Запротестовал и Альтани. Пытаясь унять закипающую бурю, дирекция распорядилась, «по дирижеру глядя», переносить пульт для Альтани вперед, а для Рахманинова назад.

Но вскоре Альтани признал правоту своего преемника.

Преемник же в театре держался невозмутимо, а придя домой, без сил падал на кушетку.

Шла зима. Бесновались вьюги. Из последних сил бился гарнизон Порт-Артура, среди сугробов дымились землянки на реке Шахэ, а море

среди непроглядной тьмы било в железные борты кораблей второй Тихоокеанской эскадры, державшей путь через три океана к Цусиме.

Перелом наступил, разумеется, не сразу.

Оркестр Большого театра состоял из превосходных музыкантов. Если же основы его, как ансамбля, были все же расшатаны, то в этом повинны прежде всего «эстрадные» дирижеры вроде Буллериана, периодически появлявшиеся за пультом.

Вспоминая много лет спустя о нравах, царивших в театре, Рахманинов с неподражаемым юмором передавал один из бесчисленных инцидентов в практике оркестра.

Первую валторну в оркестре играл чех Осип Сханилец, мужчина геркулесовского телосложения с огромной черной бородой. Однажды Буллериан по рассеянности и невпопад показал ему вступление. Сханилец, продолжая невозмутимо сидеть со своей валторной на коленях, в ответ показал дирижеру три пальца, дав понять, что до вступления остается еще три такта.

Лишь мало-помалу те, с кем Рахманинову приходилось работать, поняли, что его отпугивающая манера общения была продиктована единственно сознанием своей огромной ответственности, необычайно серьезным отношением к делу, за которое он взялся. Прошли недели, прежде чем он стал замечать в устремленных на него глазах не страх, не досаду, но искреннее восхищение и горячее желание помочь раскрытию замысла.

Словно свежий ветер прошел по лабиринтам пыльных кулис. Оперы, одна за другой выходявшие как подмостки Большого театра, — «Русалка», «Онегин», «Сусанин» и особенно «Пиковая дама» — заново рождались на сцене.

От души, как ребенок, радовался за своего Сережу Шаляпин. От размолвки в Петербурге не осталось и следа. В свободные вечера Федор Иванович охотно приходил и к Рахманиновым и к Сатиным и пел так, что после его ухода трудно было уснуть.

Он жадно ловил интонации рахманиновского оркестра, но и сам перед музыкантом не оставался в долгу. С чувством глубокого душевного волнения всякий раз ждал дирижер появления шаляпинского Демона. Эта огромная дымчатая фигура возникала внезапно из паутины багряных,

синих и фиолетовых лучей, как на холсте Врубеля.

Он был похож на вечер ясный,
Ни день, ни ночь, ни мрак, ни свет...

И сладостный холод обволакивал тело, когда, нарастая, из глубины сцены звучал этот чарующий и грозный речитатив:

Лишь только месяц золотой
Из-за горы тихонько встанет,
И на тебя украдкой взглянет...
К тебе я стану прилетать,
Гостить я буду до денницы
И на шелковые ресницы
Сны золотые навевать.

Однажды поздним вечером в кабинете у Рахманинова зазвонил телефон.

— Сережа! Возьми скорее лихача и скачи на «среду» к Николаю Дмитриевичу Телешову. Все тут: Алексей Максимович, Бунин, Андреев... Петь до смерти хочется. Будем петь всю ночь...

Прикрыв трубку ладонью, Сергей Васильевич сперва рассердился. Но что-то в интонации голоса, продолжавшего говорить, подсказало ему, что пропустить этот вечер было бы преступно.

Большая комната была освещена керосиновой лампой, висевшей над круглым столом. В дальнем углу (к нему были прикованы все глаза) Шаляпин, высокий, статный, в расстегнутой поддевке, стоял, прислонясь к стене и положив руку на крышку фортепьяно.

Рядом над клавиатурой сутулились плечи Рахманинова.

Да, предчувствие его не обмануло. Этот казанский подмастерье пел «Марсельезу», как прирожденный француз. Почти не зная французского языка, пел так, что у слушающих загорались глаза.

Утомясь, Шаляпин вышел покурить. Рахманинов, опустив глаза на

клавиши, продолжал «вполголоса» импровизировать. Негромкий разговор, разгоревшийся в комнате, смолк. Стали прислушиваться. В замирающей воркотне рахманиновского рояля как бы звучали интонации шаляпинского голоса. И вдруг, расправив крылья, поплыла по комнате незнакомая мелодия. Это была Прелюдия ми-бемоль мажор.

Горький поднял голову, привычным движением растопыренных пальцев откинул длинные волосы со лба, наклонившись к сидевшему рядом Бунину, прогудел еле слышно:

— Как он умеет слышать тишину... Просто чудо!

Никто не глядел на часы. И странный полуночный концерт продолжался.

— А теперь... — начал Шаляпин, на минуту задумавшись. — Слушайте. Здесь меня слушайте, други, а не в театре. Сейчас мы с Сережей споем... «Бурлацкую».

Он глядел куда-то далеко, через головы. Медленный суровый напев, восходя по клавиатуре, переплетался с усталой интонацией голоса.

Почти все пел Шаляпин негромко, как бы издали.

Только раз, на кульминации, голос окреп, прозвучал страшно, угрожающе. В ответ зазвенели стекла.

Холодок пробежал за плечами.

Горький сидел, обняв большими узловатыми пальцами согнутое колено. Но глаза глядели не на Федора, а мимо него, на окошко, медленно наливавшееся густой синевой седого раннего утра. Там, в этой синеве, лежала Москва, глухая, неподвижная, словно не в силах она была пробудиться в ожидании неминуемых бед.

В конце ноября беляевский комитет в составе Римского, Лядова и Глазунова присудил Рахманинову премию за до-минорный концерт для фортепьяно с оркестром.

8 января 1905 года Шаляпин вместе с приехавшим Зилоти впервые исполнил «Весну».

За ужином шел разговор о событиях в столице. Бастуют заводы. На улицах гвардия и казаки.

А на другой день к вечеру по Москве разнеслась страшная весть о расстреле двухсоттысячной безоружной толпы, пришедшей с иконами и хоругвями на Дворцовую площадь бить челом батюшке царю о тяготах и

нищете жизни рабочей, «коей нет мочи далее терпеть»... Пламя гвардейских залпов блеснуло молнией на темных стеклах Зимнего дворца.

Но эхо этих залпов прокатилось, как гром по полям, будя глухую тяжелую ненависть, страхом и гневом сотрясая всю страну. Подавленный ропот вырывался здесь и там, принимая формы открытого протеста.

Вести с востока опережали одна другую.

Не дождавшись избавления, пал Порт-Артур. Вторая эскадра нашла себе кладбище на дне Цусимского пролива, цвет маньчжурской армии полег на полях Мукдена. Плач и траур были повсюду: на улицах, в лавках и в переполненных церквях. Даже там, среди распростертых на полу женщин в черном, шныряли сыщики. По улицам кружили наряды конных городовых.

Лето в Ивановке прошло относительно спокойно.

Рахманинов трудился над оркестровкой «Франчески».

Но в клокочущую геенну Дантова «Ада» вплетались порой отголоски извне.

Среди лета загудели броневые башни «Потемкина Таврического», прозвучал и умолк бесстрашный голос лейтенанта Шмидта.

Шло лето. Урожай обещал быть лучше прошлогоднего.

Но вечерами в Ивановке делалось порой как-то неуютно. Море степи вокруг «зеленого острова» молчало.

Однажды Рахманинов, удивший с лодки голавлей, завозился дотемна. Привязывая лодку, увидел одинокую фигуру, сидевшую прямо на мшистой колоде. Он узнал старика сторожа Митрофана.

Митрофан снял шапку, поздоровался, поблагодарив, взял щепоть табаку. Но глаза его, не отрываясь, глядели куда-то в степь. В двух местах на низких тучах лежал отблеск далекого зарева.

— Горит... — тихо промолвил музыкант. — И здесь и там. Может, и до нас черед дойдет?.. — усмехнувшись, добавил он.

Старик ответил не сразу и немного загадочно:

— Это как бог положит...

Помолчав, он затянулся сигаркой, сплюнул наземь и вдруг пристально и ласково глянул на Рахманинова.

— Эх, барин милой, Сергей Васильевич! Человек ты, дай бог здоровья, доброй, разумной, а вот до КорНrf-То не додумал!.. Не помещики горят, кровь горить народна!

«Скупой» был написан для Шаляпина, «Франческа да Римини» для Шаляпина и Неждановой. Поначалу все сулило удачу. Еще прошлой зимой

Шаляпин спел старого рыцаря по клавиру. Всем бывшим в тот вечер у Гольденвейзера навсегда запали в память страшные слова барона:

Да! Если бы все слезы, кровь и пот,
Пролитые за все, что здесь хранится,
Из недр земных все выступили вдруг,
То был бы вновь потоп...

И каждый невольно содрогнулся в душе перед отвратительной и преступной властью золота, выраженной в музыке и голосе певца с предельной, потрясающей силой.

Но когда настало время репетировать, Шаляпин почему-то начал тянуть (как выяснилось позднее, кто-то отговаривал его в Петербурге). Потеряв терпение, Рахманинов отдал обе партии — рыцаря и Ланчотто — молодому певцу Георгию Бакланову, обладавшему голосом ослепительной красоты.

Но все же это не был Шаляпин!..

Вторая размолвка оказалась более серьезной и на долгие годы омрачила отношения между друзьями.

Антонина Васильевна Нежданова пленилась образом Франчески, летом в Италии побывала в замке Римини, послужившем ареной трагедии. Но осенью начались колебания. Роковую роль в них сыграл дирижер Авранек, с которым Нежданова проходила в это время партию Царицы ночи. Он убедил Нежданову, что партия Франчески низка для нее. С душевной болью позднее Антонина Васильевна вспоминала лицо Рахманинова в ту минуту, когда она сообщила ему о своем отказе.

Пробы с другими певицами были безуспешны.

Однажды после репетиции Рахманинов остановил Салину и привел ее на сцену, где еще стоял рояль.

— Надежда Васильевна, — заговорил он мрачно. — Я написал черт знает что такое. Никто не может петь. Одной низко, другой высоко. Я дам вам пунктуацию, все, что вы захотите. Попробуйте спеть.

Салиной шел сорок третий год. Она была полнеющая женщина с поблекшим лицом. Ей ли петь юную красавицу, чей образ обессмертил Данте! Она пела не наслаждаясь, не мучаясь. Это продолжалось месяца, покуда, наконец, она услышала через оркестр сдержанно: «Очень хорошо.

Благодарю вас!»

Еще второго февраля появилась в печати «Декларация свободных художников». Подписавшие декларацию, и Рахманинов в их числе, были взяты на примету как неблагонадежные.

Осенью 1905 года брожение среди оркестрантов, хористов и рабочих сцены Большого театра настолько усилилось, что директор императорских театров Теляковский вынужден был лично выехать из Петербурга в Москву.

В своих мемуарах Теляковский мотивирует эту поездку, в частности, тем, что, по его мнению, капельмейстер Большого театра С. В. Рахманинов «был из тех людей, на которого нельзя было рассчитывать, как на человека, способного забастовку не допустить, — напротив, он сейчас бы стал на сторону недовольных».

В эту же осень разразился возмутительный, просто невероятный скандал в консерватории. Жертвой его стал на этот раз Танеев.

На очередном заседании художественного совета Сафонов, заручившись поддержкой свыше, объявил, что, выезжая на некоторое время в Америку, он сам назначит себе заместителя. На это обычно очень сдержанный Сергей Иванович спокойно заметил, что существуют устав и никем не ущемляемые права совета.

Потеряв самообладание, директор вскочил из-за стола и обрушил на Танеева каскад площадной брани.

Все за столом, онемев от неожиданности, сидели с опущенными глазами, и ни у кого не хватило мужества встать на защиту человека, перед которым не только консерватория, но вся русская культура была в неоплатном долгу.

Сложив свои бумаги, Сергей Иванович, очень бледный, не проронив ни слова, вышел и тут же, в канцелярии, подал прошение об увольнении. Ни просьбы, ни уговоры опомнившейся администрации не смогли его переубедить.

Впрочем, Сафонов сделал примирительный жест лишь для вида. В душе он был счастлив, что ценой «небольшой неловкости» ему удалось выполнить волю главной дирекции, давно косившейся на профессора, которого, как и Римского в Петербурге, считали «красным».

Чтобы избежать излишней сочувствия, Сергей Иванович уехал в деревню. Туда с опозданием ему переслали телеграммы Аренского, Римского-Корсакова, Глазунова и Рахманинова. Не грубая выходка Сафонова поразила его, но малодушие консерваторских друзей, не посмевших возвысить голос в его защиту.

Проработав в консерватории двадцать семь лет, он больше в нее не вернулся.

Уже слышалась грозная поступь декабря.

Паралич сковал железные дороги. Стояли фабрики. Голодные толпы, рассеиваемые полицией, чернели на перекрестках. Правительство перебрасывало с Кавказа туземные кавалерийские дивизии.

Туманным утром Рахманинов видел гарцевавших на Арбатской площади горбоносых всадников в заломленных папах и черных косматых бурках. Марина приносила с рынка свежие новости и слухи.

— Ох, Сергей Васильевич, не ходите бы вам нынче в театр!

Но он продолжал ходить, покуда театр не прервал свою работу в пресненские дни.

В полдень возле Манежа чернела толпа. Мелькали красные флаги.

У Сатиных Рахманинов застал Марию Аркадьевну Трубникову с Нюсей.

Вдруг с улицы через двойные стекла раздались негромкие хлопки.

— Сережа! Смотри!.. — вскрикнула Нюся, прижавшись к оконному карнизу.

Все кинулись к окнам.

По улице черным потоком валила толпа. К концу она поредела. Бежавший последним человек в барашковой шапке и черном пальто, подпоясанном ремнем, вдруг вскинул руку. На хлопок выстрела звоном ответили стекла.

— Не гляди! — крикнул Рахманинов, резко оттолкнув девушку от окна.

Серой лавиной, пригнувшись к седлам, сверкая обнаженными клинками, хлынули казаки. Через мгновение все исчезли. На снегу осталась лежать какая-то женщина в рваном платке.

Наутро слух: баррикады на Пресне!

Весь день звучали короткие залпы. К вечеру по прибитому снегу покатались пушки. Ездовые неистово хлестали лошадей.

Сидели, не зажигая огня. Вдруг словно расселась земля. Зазвенели стекла. На обоях заиграли сполохи.

Так продолжалось неделю. Улицы вымерли. Тяжелые громовые удары

сотрясали здания. Там, за домами, за баррикадами из столбов, булыжника и) поваленных конок, доведенные до отчаяния люди бились насмерть.

Небывалой дерзостью, как открытый вызов, прозвучала в эти дни на всю Россию шаляпинская «Дубинушка». Он пел ее в концерте Зилоти в Петербурге.

Но до Москвы она докатилась только на восьмой день утром, когда все затихало. Пресня пала.

Медленно, как после страшного похмелья, возвращался к жизни огромный город. Еще долго дымились обугленные остовы домов на Пресне. Разбросали баррикады, свезли мертвых. Метель, как заботливая хозяйка, замела пятна крови на покрытом изгарью снегу. Вновь зазвонили к обедням, задребезжала конка. Только газа долгое время не было. Не было и покоя. Наряды казаков объезжали шагом пустеющие к ночи темные улицы. Городовые рачительно сдирали со стен обрывки прокламаций.

От поры до времени здесь и там взрывались бомбы, засыпая осколками стекла тротуары и мостовые.

Кое-где еще бастовали, вскипали летучие митинги. Растерявшаяся полиция не знала, как с ними быть: как ни говори — конституция!

В печати, ненадолго вышедшей из пут цензуры, царил неописуемый разнобой.

Но тюрьмы были набиты до отказа. Зато на улицах появились молодчики в новых поддевках, с испытанными и наглыми лицами и трэцветными ленточками на груди.

В театрах царил застой. И зрители и актеры побаивались выходить из дома вечерами.

Все же премьера рахманиновских опер «Франчески» и «Скупого» одиннадцатого января 1906 года состоялась.

Бакланов, Салина и молодой Боначич сделали все, что было в их силах, чтобы донести до слушателей музыку страсти, гнева, любви и отчаяния. В геенне ада, клокочущей в прологе «Франчески», многим слышались отголоски тех «вихрей враждебных», что еще веяли над снежными площадями первопрестольной столицы.

На сцене были цветы и подношения, а в полупустом зале шумные аплодисменты.

Рахманинов благодарил участников оперы за их самоотверженный труд. Но сам унес с собой в темные улицы чувство горечи, неизгладимое на долгие годы. Его оперы прошли всего пять раз. Прием у публики был довольно сдержанным.

Странной и непонятной представляется их судьба. Почему-то по сей

день эти золотые страницы русской музыки остаются уделом «ценителей и знатоков»!

Рахманинов понимал, что в этом взбаламученном мире, где все его волнует и мучает, все порывы к творческому труду будут для него тщетны. Договорившись с дирекцией о переносе обусловленных контрактом спектаклей на осень, он с женой и Ириной выехал в Италию работать.

Ириночка хорошела и умнела не по дням, а по часам. Она была для музыканта его «очарованием и утешением» в самые мрачные московские дни. Он называл ее своей «Жорж Занд». Более замечательной женщины он не мог припомнить.

Путь был трудный. Поезда то застревали в сугробах, то часами простаивали у барьеров, воздвигнутых забастовщиками...

А на холмах Фьезоле уже цвел миндаль.

Рахманинов работал над эскизами оперы на сюжет Флобера «Саламбо». Ему казалось, что его все еще волнует тема чистой неразделенной любви. Либретто готовил Слонов и высылал частями по почте.

К началу мая Рахманиновы переехали на взморье и сняли маленькую белую дачу в Марина ди Пиза. У подножья каменной лесенки плескалось море. В воде, похожей на ослепительное жидкое лазоревое стекло, колыхались жгучие розовые медузы.

Чужое солнце согревало тело, оставляя душу холодной и безучастной.

Позднее, окончив уроки в гимназии, к Рахманиновым приехала Нюся Трубникова. Потом выписали и Марину.

А как же опера?.. Да никак!

Напрасно, бледнея от страсти, Саламбо простирала руки к Таните. Безучастна к молитвам была холодная богиня.

В начале августа вернулись в Ивановку. Здесь за два месяца Рахманинов написал пятнадцать романсов керзинского цикла. Первым был «Мы отдохнем». Монолог Сони из пьесы Чехова «Дядя Ваня».

В Москве Сергей Васильевич застал Теляковского, и тот предложил ему пост директора Большого театра. Подумав немного, Рахманинов отказался.

Популярность его в Москве достигла к этому времени небывалых размеров. Дирекция Русского музыкального общества пригласила его дирижером симфонических концертов. Делегатами поехали на дом к Рахманинову Гольденвейзер и Маргарита Кирилловна Морозова, оба члены дирекции. Рахманинов принял гостей весьма сухо. Они смутились, хотя и

поняли, что в сухости этой не было ничего личного. Это была прежде всего обида за Танеева, которого не сумели защитить от поругания.

Свой отказ он мотивировал намерением выехать за границу и заняться творчеством.

У Керзиных перед отъездом он застал Собинова. Последний, жалея о долгой разлуке, пристально взглянул на музыканта и пожелал ему счастья и музыки, музыки превыше всего. Когда он ушел, Мария Семеновна показала Рахманинову конец записки, полученной ею еще прошлым летом:

«...Тысячу раз повторяю: Рахманинов наша единственная надежда в области музыки.

Леонид Собинов

3 июня 1905».

Последним был визит к Сергею Ивановичу.

Недавно вышел из печати танеевский «Зимний путь» на слова Полонского. Его изначальный мотив «Ночь морозная мутно глядит...» был глубоко созвучен образу, следовавшему за Рахманиновым неотвязно уже долгие месяцы. Миновав роковой перевал, тройка неслась без дороги, очертя голову в поле и ночь...

Со смешанным чувством волнения и нежности он вошел в низенькие, скромные, почти бедные комнаты.

Те же фотографии на стенах, тот же рояль с дырой на верхней крышке, рубинштейновское кресло-качалка...

Сергей Иванович был спокоен и как-то удивительно светел весь, в каждом взгляде, в каждом слове.

Как и прежде, много трудился над книгой о подвижном контрапункте, ходил по урокам, музицировал с друзьями и писал чудесные квартеты.,

Держа за руку гостя, он пристально вглядывался в него близорукими серыми глазами, умными, добрыми и беспощадными ко всякой неправде.

Оглянувшись еще раз, Рахманинов вышел в прихожую и поцеловал морщинистые натруженные руки Пелагеи Васильевны. Для него она тоже была нянюшкой и с давних лор любила его как сына. Потому низко, с благодарностью он склонил голову и принял ее благословение.

Глава четвертая ВТОРАЯ СИМФОНИЯ

В одном из окраинных кварталов Дрездена в начале этого века на тихой, обсаженной старыми липами улице Сидониен-штрассе, в глубине двора стоял небольшой двухэтажный дом.

Вокруг дома росли кусты и деревья. Это дало повод хозяину присвоить дому название «Гартен-виллы» — «Вилла-сад» — и добавить лишнюю сотню марок к арендной плате.

Что ж, это его право!..

Поздней осенью на вилле поселился неизвестный в Дрездене русский музыкант и прожил всю зиму. Он приехал с женой и маленькой девочкой, у которой была русская няня. Жил он скромно и до крайности замкнуто. На приветствия ближайших соседей он отвечал молча, без улыбки, чуть приподняв шляпу, и ни с кем не вступал в разговоры. Это его дело!

Может быть, он политический эмигрант или, как это называется, «социал-демократ»?.. Это тоже никого не касается. Если он аккуратно платит квартирную плату владельцу «Гартен-виллы» герру Шульцу, не взрывает бомб на Сидониен-штрассе и ни в чем не нарушает установленного порядка, то пусть себе живет на здоровье! Дрезден охотно принимает у себя всех, кто в состоянии заплатить за гостеприимство. Ни Ганс, квартальный дворник, свозивший по утрам на железной тачке все до единого опавшие за ночь желтые листья, ни Берта Глобке, немного позднее привозившая постояльцу молоко в тележке, запряженной полинялым сенбернардом, ни старый почтальон Пауль-Фридрих, доставлявший в полдень почту русскому музыканту, не могли сказать о нем ничего предосудительного.

Пробежав глазами строки московских и петербургских газет, музыкант долгое время не мог вернуться к покинутой работе.

Все волновало его: и заседания недавно открывшейся думы, и нечистая игра, затеянная вокруг нее власть имущими, и выборгское воззвание, подписанное отколовшейся группой депутатов, забастовки и аграрные беспорядки, жесткая хватка нового премьера Столыпина и кровавые набеги карательных отрядов.

И, перекрывая разноголосый гомон газетных сплетен, догадок, полулжи и полуправды, днем и ночью звучал бесстрашный старческий голос Толстого:

«Не могу молчать!»

Корреспондентов у музыканта было не много, но письма шли одно за другим.

Тотчас по приезде он написал Слонову, прося подготовить для него под строжайшим секретом эскиз либретто по первому акту драмы

Метерлинка «Монна Ванна». Кроме Слонова и родных, он под держивал связь только с Никитой Морозовым и четой Керзиных.

Уединение, которого так настойчиво добивался музыкант, в Дрездене на первых порах оказалось не слишком уютным. Дороговизна жизни ужасала, слабое знание языка порождало недоразумения с немцами. «Когда я стесняюсь, — полушутя жаловался Рахманинов Керзиным, — то не только по-немецки, но и по-русски имею способность так говорить, что никто меня не понимает...»

Из обстановки купили только самое необходимое. А большая гостиная внизу, рядом с кабинетом, так и осталась пустовать. Это устраивало композитора, который еще в юности привык работать «на ходу».

Музыка в Дрездене также была дорога. Однако изредка бывали в концертах. В конце ноября Сергей Васильевич побывал на «Саломее» Рихарда Штрауса. То, что ему довелось услышать, насторожило его. Прежде всего еще неслыханный блеск оркестровки. Когда он вообразил себе, что вдруг бы сейчас заиграли его, Рахманинова, оперу, ему сделалось неловко. Словно бы он вышел на сцену раздетым!.. «Очень уж этот Штраус умеет наряжаться! Кое-что понравилось мне и в самой музыке, — писал он Морозову, — когда это не звучало очень уж фальшиво».

После окончания консерватории Рахманинов редко встречался с Александром Николаевичем Скрябиным. Сохранив внешние дружеские отношения, они не находили общих точек соприкосновения в искусстве. В памяти Рахманинова сохранился образ хрупкого мальчика с ямочкой на подбородке и глазами, мечтательно устремленными вдаль. Та мальчишеская важность, которую он позднее стал напускать на себя в среде музыкантов, без следа растворялась в его улыбке, всегда неожиданно чистосердечной и немножко наивной.

Как музыкант, Скрябин при всем индивидуальном своеобразии своего композиторского почерка, определившегося еще в юные годы, на первых порах испытывал явное влияние музыки Шопена. Потом начал поиски своих собственных дорог. У Рахманинова эти искания не находили сочувственного отклика. Ему, взрастившему свою музу из корней русского национального мелоса, были чужды попытки Скрябина проникнуть в мир абстрактных, «всечеловеческих идей». Ему нередко казалось, что Скрябин попусту расточает свой огромный композиторский талант.

В то же время, как музыкант, Сергей Васильевич считал себя не вправе пройти мимо новых сочинений Скрябина. В них поистине было много нового, неожиданно-смелого, любопытного.

Теперь, во время концертов Штрауса, Рegera и других, опыты

Скрябина вновь пришли ему на память. Здесь, в Европе, у многих эта музыка, эти оргии полифонических шумов, очевидно, вызывали живой отклик.

У новой веры, как обычно бывает, уже появились свои философы, апостолы и даже мученики. Было над чем призадуматься! И впервые, быть может, у Рахманинова мелькнула догадка: если он и ему подобные захотят до конца дней своих идти по тому пути, который они для себя избрали, им предстоит, наверно, жестокая борьба.

О том, чем жила музыкальная Москва, Рахманинов узнавал от Морозова и главным образом от Керзиных.

Шли месяцы.

Меньше всего это отшельничество в Дрездене устраивало, пожалуй, Наталью Александровну. Заботы об Ирине не поглощали всего ее времени. Она томилась по Москве и близким.

Ирина большую часть своей еще короткой жизни хворала. Какие только болезни не посещали это крохотное создание!

Но характер у девочки от этого нимало не поколебался. Едва повеселев, тотчас же начинала разбойничать. Дочь музыканта, она по целым дням распевала.

Голосом Ирину бог не обидел. Особенно хорошо ее слышно было в зале. Прислушиваясь, Рахманинов одновременно и хмурился и улыбался.

Ни один творческий замысел Сергея Рахманинова до того не увлекал его так, как «Монна Ванна». И ни одна из его работ доселе не была окутана такой глубокой тайной. Даже в письмах к Слонову он остерегался называть ее прямо по имени, ограничиваясь инициалами «М.В.». На все допытывания Акимыча он просил не принуждать его к ответу. «...Только, когда я сильно двинусь вперед, тогда я делаюсь уже почти уверен в конечном результате и только тогда я уже непременно... добираюсь до конца. А то бывает, что и сюжет и музыка мне вдруг надоедают до крайности, и я бросаю все к черту...»

Порой какой-нибудь стилистический «риф» в либретто приводил композитора в отчаяние, и весь замысел вдруг становился чуждым его душе.

В такие дни он охотно выезжал в Лейпциг на концерты «Гевандхауза», где главным дирижером был прославленный Артур Никиш. Общение с

этим необыкновенным человеком оставляло надолго неизгладимый след. Сама его внешность приковывала взгляд: красивая проседь в черной, клином подстриженной бороде, каемчатые светло-серые глаза, затаившие огонь неукротимой страсти. Железная воля таилась за изысканной учтивостью вельможи. С Рахманиновым он был дружески любезен, воздал дань второму концерту и просил запросто бывать на репетициях в «Гевандхаузе».

Не все в этих концертах и репетициях казалось композитору равно убедительным, но все же симфонические камерные вечера в Лейпциге не прошли для него даром.

Однажды вечером он начал перелистывать томик Гёте и неожиданно для себя увлекся. Правда, «Фауст» уже написан Листом. Но почему не попытаться рассказать об этом по-своему, по-русски, с совершенно иных позиций. В этом вечном и древнем, как мир, «треугольнике» Фауст — Маргарита — Мефистофель есть для музыканта огромная притягательная сила. И на время для Рахманинова все отошло на задний план.

Нет, это не была симфония, как ему первоначально показалось. Замысел сам уложился в рамки чисто фортепьянного стиля и форму большой трехчастной фортепьянной сонаты, слишком большой, как он думал. Он измучился сокращая. Технические трудности временами тоже казались непреодолимыми. Но упростить значило погубить!

Это относилось прежде всего к третьей части сонаты «Мефистофель». О, это не был зловещий завсегдатай нюрнбергского кабака Ауэрбаха, возмутитель спокойствия добропорядочных бюргеров! Алый отблеск крутящегося огня был только внешним выражением замысла. Истинный образ, скрывавшийся за ним, был неизмеримо более сложным. Может быть, это был двойник того же шалашинского Демона, который так глубоко поразил композитора и сейчас ожил вновь на страницах сонаты.

Его печаль, печаль Сатаны, страстная, не знающая исхода, жгла душу болью неутолимого желания. Так этой дрезденской осенью переплелись два замысла. И каждый из них жил своей жизнью.

Но был еще третий, смысл и значение которого музыканту не сразу дано было разгадать.

В начале декабря начались туманы. Уже в пятом часу в комнатах сгустились сумерки. Как правило, композитор кончал свой трудовой день

при огне. Но все чаще от «бисерной» работы начинали уставать глаза.

Потому, когда нужно было что-то «додумать», Рахманинов, не зажигая лампы и свечей, шагал взад и вперед по темнеющей гостиной, тихонько, про себя напевая. Порой садился в единственное кресло возле шестигранной печки, облицованной цветными изразцами. Сверху долетал звонкий голосок дочери. За окнами изредка цокающий перебор подков.

Именно в эти часы неторопливых одиноких раздумий в темный кабинет музыканта без зова и спросу стала наведываться довольно странная гостя. Сперва с недоумением и иронической усмешкой он следил за игрой сумеречных теней: что же будет дальше?..

В безостановочном движении музыкальной ткани он узнавал рисунок хорошо знакомой мелодии. Впервые он услышал ее еще три-четыре года тому назад в пору творческого подъема. На время она заполонила его мысли. Он не держал эту работу в тайне. Эскизы симфонии подвинулись настолько, что она была объявлена в программах филармонических концертов на 1903/04 год. Но лето с нашествием болезней развеяло в прах его замысел.

Теперь он встретил его возвращение довольно угрюмо, зная наперед, что не будет от этого ни радости, ни покоя.

Она вернулась к нему в естестве настолько новом, что он первоначально принял ее за ненаписанную, одиннадцатую, прелюдию. Но она ширилась, росла, одевалась в оркестровый наряд.

В медленном вступлении она текла бессильная, тяжелая, вялая. Тем страшнее казался внезапный фанфарный аккорд медных инструментов. Он был как донесенный ветром призыв набата, как кровавая вспышка зарева на низких облаках. Двигалась вязкая многоголосая лава звуков. Ее голоса наперебой твердили о том, что нет и не будет конца ночи, сковавшей все помыслы и порывы. Напрасны мольбы и жалобы! Тщетно бороться, проклинать, грозить небу и тучам! Ничего не поможет... Смирись, сердце! Отдайся на волю ветра. Пусть ведет туда, где не видно ни зги, где стынет душа от печали и все-таки верит: а вдруг это багряное зарево обернется нежной жар-птицей зари?..

Неторопливой рысцой бегут измученные кони...

Нередко ему хотелось стряхнуть с плеча бремя докучливого замысла, но чем дальше, тем больших усилий от него требовали такие попытки.

В его письмах к Слонову, как Рахманинову казалось, он ни о чем не проговорился. Потому велико было его удивление, когда Никиш при встрече напрямик спросил у композитора про симфонию и тут же выразил надежду, что она будет посвящена ему и оркестру «Гевандхауза».

Композитор отщучивался как умел.

«Я написал симфонию. Это правда! — признавался он в письме к Слонову в феврале 1907 года. — Только готова она вчерне. Кончил я ее уже месяц назад и тотчас же бросил. Она мне жестоко надоела, и о ней я больше не думаю. Но как это попало в газеты — недоумеваю».

Вести из России доходили смутные. Все еще глухо ворчал, уходя, далекий гром. Здесь и там полыхали зарницы. Набежавшая гроза что-то бесповоротно сломала в сознании людей. А черты нового только еще прояснялись.

Нередко композитор спрашивал у себя: зачем он здесь, в этом сонном, окутанном туманом Дрездене, вдали от Москвы, где в гуще жизни мучительно рождается что-то новое? Но разве там, в этом клокочущем водовороте, он сможет довести начатое до конца? Ему мерещились сотни человеческих глаз, прикованных к нему в тревоге и ожидании. Никогда раньше у него не было такого глубокого сознания своей, как художника, ответственности перед людьми.

В минуты малодушного неверия в свои силы он искал себе опору в чужой музыке, в музыке титанов. Под сводами «Гевандхауза» звучали «Самсон» Генделя, «Торжественная месса» Бетховена, «Страсти Матфея» Баха. Грозовые раскаты органа уводили к вершинам человеческого духа. «...Нужно правду сказать, — писал композитор Морозову, — хорошо пишут сейчас, но еще лучше писали раньше...»

Во сне и наяву он видел Ивановку. Но на пути стояли «Торжества русской музыки» в Париже.

Их устроитель Сергей Дягилев, глава ассоциации «Мир искусства», смелый, талантливый и инициативный, сделал то, что было не по плечу богатым, но коснеющим в рутине официальным организациям РМО, дирекции императорских театров. Впервые в истории русское искусство выходило на европейскую арену «в развернутом строю», чтобы раскрыть перед изумленными взорами парижан грандиозные красочные полотна Глинки и Мусоргского, Корсакова и Бородина, блеснуть дарованиями Рахманинова и Шаляпина. Но для вождя «мирискусников» Дягилева почтенная русская классика и выдающиеся артисты были только ярким экзотическим фоном, на котором он старался блеснуть сенсационно новым. Однако при всей новизне формы и внешнем блеске суть этого «нового искусства», провозглашенного «Миром искусства», его идейная направленность оставались у большинства художников реакционной, основанной на идеалистических концепциях декаданса.

В качестве почетного гостя (без непосредственного участия в

концертах), помимо Скрябина, был приглашен Римский-Корсаков.

После «Кощея бессмертного», в котором нашел свое отражение период поисков новых форм, фигура старого композитора многим стала казаться несколько загадочной.

Дягилев настойчиво пытался выпросить у Николая Андреевича для парижских концертов хотя бы одну картину из законченного первого акта его новой оперы — «Золотого петушка». Но композитор был непреклонен.

Однажды после дневной репетиции сидели втроем за мраморным столиком на террасе кафе: Римский-Корсаков, Рахманинов и Скрябин.

День, как обычно в Париже, не пасмурный и не ясный. Тени бежали по асфальту. Ветер слабо шевелил бахрому полосатой маркизы. Мимо шумной лавой двигались omnibusы, фиакры и недавно появившиеся автомобили. Катилась возбужденно болтающая толпа. Пахло цветами, горячими каштанами, марсельским мылом.

Негромко гудя себе в бороду и временами потягивая оршад, Римский говорил молодым музыкантам о пушкинском «Золотом петушке». Те жадно ловили каждое слово. По лицу Римского блуждала задумчивая усмешка. В дерзкой, саркастической сказке Пушкина он чуял глубины, невидимые для других.

Он создал нечто поражающее. Одно вступление чего стоит!

Через несколько дней стали репетировать «изюминку», припасенную Дягилевым под конец фестиваля. Это была «Поэма экстаза» Скрябина.

Римский сидел рядом с Рахманиновым в полутемном зале. Рахманинову все было интересным в этой партитуре: и чрезвычайный состав оркестра, и гармонический наряд поэмы, и возгласы труб и тромбонов. Это было до крайности дерзко, талантливо, вызывающе, но родило сомнения.

Когда вступили валторны, Николай Андреевич, вздрогнув, блеснул очками и стиснул колено Рахманинова.

— Ого! — пробормотал он немного гнусаво. — Это что же!.. Не сошел ли он случайно с ума?..

Но лицо его выглядело веселым.

На другой день по приезде в Москву Рахманинов зашел к Владимиру Робертовичу Вильшау. Там были Конюс, Катуар, Игумнов и застенчивый, как девушка, Николай Метнер. От показа симфонии Рахманинов наотрез

отказался, но сонату после недолгих колебаний сыграл.

Первая реакция музыкантов была крайне осторожной.

Если бы он открыл программу, возможно было бы иначе. Но на обложке клавира стояла скупая надпись: «Соната № 1 реминор. Опус 28».

У непосвященного слушателя странное, смешанное чувство будила музыка сонаты, в особенности ее тревожный демонический финал. Только один из гостей был не на шутку взволнован. Константин Николаевич Игумнов молча нервно курил.

Рахманинов перевел речь на предметы безразличные и вскоре ушел. Но, еще не дойдя до ближайшего перекрестка, он услышал позади быстрые настигающие шаги.

— Сергей Васильевич, — часто дыша, проговорил Игумнов. — Вы, разумеется, сами будете играть сонату в первый раз?..

— Не думал еще над этим... Едва ли! Потом еще предстоит с ней повозиться. Она невыносимо длинна... Разве она вам понравилась?

— Понравилась?.. Нет, не то слово... Я потрясен!

В Ивановке цвели розы.

Думать хотелось только о «Монне Ванне». Но ожидание важного семейного события не настраивало на рабочий лад.

Никто в доме не сомневался в том, что на этот раз будет непременно сын, и, разумеется, Сашка. Это имя в семьях Рахманиновых, Сатиных и Зилоти имело славные традиции.

Частенько на пруду, скрестив весла поперек лодки, Рахманинов задумывался о том, каков будет он, этот еще неведомый Сашок. Наверно, горлан, буйан, под стать сестрице! Он был уже близко, и отец улыбался ему, величая учтиво Александром Сергеевичем. Потому, когда на рассвете июньского дня в дом без спросу вошла толстая двенадцатифунтовая девочка и громовым голосом объявила о своем приходе, все даже растерялись.

Но дочка оказалась ужасно занятная. Прошло совсем немного времени, и Таня — маленькая дочь — сделалась фактической хозяйкой дома. Не в пример Ирине она вовсе не была крикуньей и крепко спала по ночам. Но если уж подаст голос — не смей ей перечить!

Как в былые времена, Сергей Васильевич вытащил на свет толстую растрепанную книгу, посвященную воспитанию новорожденных и еще каким-то премудростям. Сам, с часами в руках, следил за кормлением. Все, на его взгляд, делалось не по науке!

Тетушка и доктор Григорий Львович только посмеивались.

Среди лета пришлось выехать в Москву ненадолго по просьбе Гутхейля.

И, вернувшись в Ивановку, композитор понял, что время уходит. Отложив в сторону все почтенные занятия и ремесла, он принялся за оркестровку симфонии.

Работа подвигалась медленно. Первая часть заняла три с половиной месяца. Только в Дрездене осенью дело пошло на лад. Вторую часть — скерцо — он завершил за три с половиной недели, а третью — адажио — за две.

Зилоти из Петербурга бил во все колокола.

Первое исполнение симфонии назначили на 27 января 1908 года.

На святках в «Гартен-виллу» наехали гости: Сатины-старшие с сыном Владимиром и даже Григорий Львович.

Под Новый год было шумно и весело, как, пожалуй, еще никогда. За круглым столом пили ананасный пунш за здоровье Ирины, маленькой Тани и новорожденной симфонии.

А второго января, проводив гостей, композитор с яростью накинулся на финал.

На другой день после концерта, организованного Зилоти в Петербурге, Рахманинов с курьерским поездом выехал в Москву.

Он не знал, что напишут завтра рецензенты столицы во главе с Цезарем Кюи. Он уехал, не дожидаясь рецензий. Внешне встреча для Петербурга оказалась едва ли не пылкой. Но композитор ждал приговора Москвы.

Москва.

Вечер второго февраля. Зал Благородного собрания доверху полон беспокойным праздничным гулом. Кое-что уже донеслось из Петербурга с генеральной репетиции.

Москва ждала Рахманинова.

Прошло совсем немного лет, а облик московской концертной публики неузнаваемо переменился. Как видно, эти грозные кипучие годы были прожиты не даром. Тон явно начала задавать молодежь.

Быстрый, как бы невидящий взгляд в публику, короткий сдержанный поклон. Это только кажется, что он ничего и никого не видит, кроме себя самого. Едва перешагнув порог, он уже знал «температуру» зала, уловил

трепет тайный раскрытых ему сердец.

Внезапно он повернулся к оркестру, и вмиг упала гробовая тишина. Застыла, чуть разведя руки, высокая черная фигура с наклоненной коротко остриженной головой.

Повинуясь едва уловимому движению длинных пальцев, медленно, еле слышно, на самом низком регистре заговорили виолончели. И мрачные фанфарные звуки труб и валторн ворвались в зал и, как бы оцепенев, повисли под сводом.

Дирижерские взмахи Рахманинова были скупы и сдержанны. Но оркестр отдавал им без остатка все свое дыхание, и не только оркестр — сотни людей, наполнивших зал в этот вечер, жили вместе с ним и верили вместе с ним. Ничто не могло их утратить, ни вой ветра, ни грозные раскаты, ни леденящие душу вопли военной трубы, ни нарастающий топот тяжелых подков.

Нет, это не были «всадники Апокалипсиса», как померещилось кому-то! Все это уже было здесь, на земле, и притом совсем недавно. Эхо этого топота, быть может, еще звучало в глухих переулках Замоскворечья.

Люди шли вслед за ним в поле, ветер и в ночь.

Они верили, что этот кровавый отблеск на облаках, повиснувших над полями, не только «грозное пророческое слово о судьбе народа», но вместе с тем и заря какого-то еще небывалого счастья. Это о нем так самозабвенно пели виолончели побочной партии.

Но путь не кончен. Не кончена борьба! Только вздох слабым ветром пролетел по залу. А затем, как на крыльях, полетело скерцо.

И как вдруг все переменилось! И ночь не та и не та дорога. Совсем о другом зазвонил колокольчик бесшабашной, хмельной, молодецкой удалью. На новый лад, пропадая в дыму метельном, залилась разгульная песня ямщика. Сам черт ему не брат! Сломя голову летела птица-тройка.

Это была музыка пушкинских «Бесов».

В темном поле, приплясывая, разгулялась нечистая сила.

...Вот пошла она — и белым
Замахала рукавом,
И завывала, поднимая
Вихри снежные столбом...

Заплясали, закружились бесенята «в мутной месяца игре». Жутко и весело глядеть на этот пляс. Пусть-ка попляшут! До зари недалеко.

Чу! Сквозь вой и свист метели прорвался в хоре медных инструментов мрачный хоральный напев. И вновь заплясало, закачалось, зазвенело. Напоследок издалека, грозя, прокатился старческий голос уходящей зимы.

Блеснуло в последний раз и пропало в потемках.

Там, на одетом березами пригорке, тихонько запела пастушья свирель.

И, повинувшись ее зову, все вокруг пробудилось, заулыбалось. Поплыла под апрельским небом мимо неодетых чащ медленная полноводная река музыки, растекаясь ручьями-подголосками, залились, журча в волнах теплого ветра, жаворонки.

Слушая это адажио, невольно как бы провожаешь его глазами, нехотя расстаешься с каждой интонацией, с каждой попевкой, из которых сплетена эта удивительная, «мерцающая» красками, теплом и светом музыкальная ткань.

И когда на спаде звуковой волны вдруг лукаво и нежно пропел свою песенку кларнет, молодая женщина в черном тюлевом платье, сидевшая с краю в дальнем ряду партера, вдруг тихонько засмеялась от радости. Сидевшие вблизи оглянулись, но никто не нахмурился и не зашикал. Ее глаза были полны слез.

Все же у автора в этом новом его детище была болезненно-уязвимая точка: финал. Наверное, он устал душевно, когда писал его. Потому заключительное аллегро мольто вылилось в пышное празднество звуков, полное внешнего блеска и лишенное глубокой внутренней радости. На генеральной репетиции в столице Римский-Корсаков именно в финале подметил странички чрезмерно грузного письма, расслышал кое-где интонации ненужной велеречивости.

С финала же начался разговор о некотором однообразии звуковой палитры, кто-то бросил эпитет «струнная» симфония. Потом уже речь зашла о том, что симфония вообще была «переоценена в авторском исполнении». Но все это пришло намного позже.

Вечером второго февраля в Москве этих действительных или мнимых изъянов никто попросту не заметил. Когда симфония кончилась, в едином порыве поднялся оркестр, а вслед за ним и зал.

На другой день после премьеры вступил «хор критики», на этот раз, как никогда еще, единодушный. «На днях, — писал «Музыкальный труженик», — обе столицы были свидетельницами редкого события: в симфоническом собрании РМО появление на эстраде Сергея Васильевича

Рахманинова было встречено с удивительным единодушием. Рукоплескания, шум оркестра, тысячи протянутых вперед рук — все слилось в одной мысли, что в лице С. В. Рахманинова мы имеем не только выдающегося художника, но и дорогого нам человека вообще. Вот особенность его музыки: бодрость, здоровая, строгая, суровая бодрость...»

Шестого февраля в «Русских ведомостях» выступил обычно капризный и придирчивый Юрий Энгель. Говоря о скерцо (второй части симфонии), он писал: «...Эта часть пленяет бесконечным богатством контрастов... В тематическом развитии она, как хамелеон, меняет краски, но остается прозрачной и цельной. Хочется сказать, что эта часть симфонии лучше других, но, вспоминая остальные, начинаешь колебаться...

В ней, в симфонии, не было прозрения в иные миры, сверхчеловеческих откровений. Но как свежа она вся, как прекрасна!..»

...Прослушав с напряженным вниманием все четыре части, кто-то с удивлением заметил, что стрелки часов передвинулись на пятьдесят пять минут.

Когда кончилась генеральная репетиция в Москве, Рахманинов, войдя в артистическую, сразу же увидел на столе присланные Гутхейлем первые печатные оттиски партитуры. На обложке стояло: «Симфония № 2 ми-минор. Опус 27».

Надписав посвящение Сергею Ивановичу Танееву, композитор задумался. Вопреки обычаю на этот раз он не успел до концерта заехать к Танееву, а только послал ему пропуск на генеральную вместе с короткой записочкой.

В зале было полутемно, Сергей Иванович, как видно, не приехал. Но, вскинув глаза, Рахманинов увидел его в дверях. Перед Танеевым расступились, но лицо его показалось Рахманинову озабоченным и необыкновенно строгим.

И прежняя мальчишеская робость на миг овладела душой музыканта. Перед ним, быть может, единственный человек на свете, который сейчас скажет ему правду, только чистую правду, несмотря ни на что.

Но вот они встретились глазами. С чувством радостного облегчения Рахманинов прочитал во взгляде Сергея Ивановича, обычно задумчивом и серьезном, искреннее волнение, живую радость. Тогда он взял партитуру и пошел навстречу учителю.

В один из свободных вечеров в Петербурге Рахманинов не слишком охотно, только по настояниям Александра Ильича, впервые пошел в театр Комиссаржевской, открытый два года тому назад на Офицерской.

Небольшой и уютный зал подкупал своей белизной, чистотой и строгостью линий. Ни лепки, ни позолоты, ни тяжелых пыльных драпировок. Все же композитор продолжал недоверчиво хмуриться на вызывающе яркий занавес работы Леона Бакста. Что там, за ним?

То, что Рахманинову довелось слышать еще в Москве, настраивало его скорее враждебно. Он любил в Комиссаржевской большого художника, прекрасную русскую женщину, любил и боялся сегодня потерять ее навсегда. В «идеях и символах», начертанных на знамени ее нового театра, он видел только уход от действительности, от борьбы, от жизненной правды. Куда?..

Неужто близкая душе музыканта повесть о Норе, о «кукольном доме», об утраченных иллюзиях предстанет сейчас перед ним в облике надуманной «жестокой красоты» или в одеждах средневекового «миракля»? Нет. Нора была та же, прежняя.

Может быть, и не совсем та же. Ведь у Комиссаржевской, как и у самого Рахманинова, игра всегда была творческая. И в сотом повторении пьеса звучала как бы в первый раз. Чуткое ухо всегда улавливало новые штрихи, новые интонации. Вот Нора пляшет тарантеллу своему обожаемому Хельмеру. И бравурному ритму веселой пляски вторят безмолвный страх, неподвижная мука, застывшая в глазах плясуньи. Жить-то ей, наверно, осталось «всего-навсего тридцать один час!..» И еще позднее, в ответ на шумный, ликующий возглас Хельмера: «Я спасен! Спасен!..», еле слышным эхом долетела до музыканта раздумчивая реплика Норы: «А я?..»

«Чудо любви», в которое страстно верила, не свершилось. Под покровом ночи Нора навсегда покинула «кукольный дом». И глухой стук захлопнутой двери прозвучал за кулисами и в притихнувшем зале как неумолимый приговор. Кому? Хельмеру? Дому игрушечного, «кукольного» счастья? Едва ли только им!.. Всему миру людей, построенному на лжи и притворстве.

Многие в полумраке переглянулись. В глазах блеснули недоумение и тревога: «А как же дальше?..»

Когда в зале вспыхнул свет, Зилоти порывисто встал.

— Пойдем к Вере Федоровне?

— Нет, Саша, — глухо проговорил Рахманинов. — Не сейчас...
Пожалуйста, не надо!..

Он все еще был во власти ее голоса. Голос звал, заклинал, жаловался. И на зов, как бывало, откликнулись голоса внутренней музыки. Она, эта музыка, вошла в освещенный зал, властно, неотразимо покрыв гром рукоплесканий. Но услышать ее было дано только одному музыканту.

2

В середине марта Рахманинов повез Вторую симфонию в Варшаву.

Эти зимние концерты унесли с собой весь избыток сил. Впереди, в мае, предстояла поездка в Лондон. Не было смысла приниматься за новую большую работу.

В конце апреля со вздохом тайной зависти он проводил жену и своих «гуленок» в Россию, а сам, через Берлин, выехал на Запад.

В Лондоне состоялась вторая встреча Рахманинова с его сверстником Сергеем Кусевицким, виртуозом на контрабасе и преуспевающим симфоническим дирижером. Женитьба на дочери московского миллионера Ушкова сделала Кусевицкого материально независимым и вызвала к жизни далеко идущие планы.

От слов и проектов он вскоре перешел к делу, и его многогранная кипучая деятельность оставила глубокий и важный след в истории русской музыки.

Концерт русских артистов в «Зале королевы» имел успех чрезвычайный. В концерте присутствовал гастролировавший в Лондоне Артур Никиш. В антракте, увидав Рахманинова, он пошел ему навстречу с улыбкой и протянутой рукой.

— Ну, что подельвает моя симфония? — спросил он.

Рахманинов немного смутился и ответил коротко: «Печатается». А про себя подумал: «Беда! Оказывается, он не забыл разговора в Лейпциге. А теперь осенью купит партитуру и увидит посвящение С. И. Танееву».

Но все же он, Рахманинов, прав. Разве может быть для него выбор между этим блестящим, удачливым и гениально одаренным музыкантом,

который знаком ему без году неделю, и Сергеем Ивановичем, мудрым наставником, другом и высшим судьей в жизни и в искусстве?

При прощании в Лондоне Кусевицкий настойчиво просил встретиться с ним в Москве по делу, не терпящему отлагательства.

«Делом» оказался проект учреждения «Самоиздательства» русских композиторов с целью их освобождения от произвола и эксплуатации коммерческих дельцов. При учреждении общества в сентябре 1908 года оно приняло название «Российское музыкальное издательство» (РМИ).

Старательно разработанный устав, мощная финансовая основа, энергия директора-распорядителя Кусевицкого не давали оснований усомниться в серьезности затеи.

Собственно, «Самоиздательство», утопически задуманное композиторами как таковое, было погребено еще на первом заседании. Оно принадлежало на правах собственности Сергею и Наталии Кусевицким. Однако от беляевского издательства РМИ существенно отличалось. И не только тем, что произведения рассматривались не коллективно, а каждым членом совета индивидуально, но и тем, что после покрытия расходов автор становился участником получаемой издательством прибыли.

Только сочинения Скрябина, Метнера, а также в виде исключения Танеева печатались без предварительного обсуждения.

Что до Рахманинова, то он, являясь если не инициатором, то главной движущей силой в РМИ, от печатания своих сочинений в издательстве отказался. Он считал себя связанным моральным обязательством с издателем К. Гутхейлем.

Начало лета было просто ужасным. Дождь лил с утра до ночи и с ночи до утра. Только в конце июня наступила короткая передышка. «Мы немного обсохли и отогрелись, — писал Рахманинов Морозову из Ивановки, — нехорошо только, что дождь непременно пойдет не сегодня, так завтра».

В начале лета газеты принесли весть о смерти Римского-Корсакова. Тень утраты упала на все беспокойное и невеселое лето 1908 года.

В хлопотах прошла вторая половина сентября.

Москва музыкальная и в особенности театральная жила в те дни лихорадочной жизнью. В Большом театре пели Шаляпин, Собинов и Нежданова, а в Камергерском переулке готовился справить свою десятую годовщину Московский Художественный театр. В канун своего праздника театр готовил умную, красивую, поэтическую и печальную сказку Мориса Метерлинка «Синяя птица».

Рахманиновы были и на генеральной репетиции и на спектакле

тридцатого сентября. А через два дня выехали в Дрезден. Как ни хотелось дождаться дня «именин» милых «художников», это было невозможно. Композитор кругом связал себя концертами в Антверпене, Лейпциге, Берлине и других городах Европы.

При прощании ему показалось, что Константин Сергеевич был несколько суховат.

Чествование театра вылилось в сценический карнавал скетчей, песен, танцев, стихов, прозы, кантат, шуток и веселых дурачеств.

Но когда возле рояля появился Шаляпин, как никогда торжественный и величавый, с каким-то манускриптом в руках, все невольно притихли.

— Письмо Константину Сергеевичу Станиславскому от Сергея Рахманинова, — объявил он и, не дожидаясь реакции зала, запел: — «Дорогой Константин Сергеевич! Я поздравляю вас от чистого сердца, от самой души. За эти десять лет вы шли вперед, все вперед и нашли Си-инью пти-ицу...»

Но когда могучий голос певца под игривый аккомпанемент польки Ильи Саца запел «Мно-о-огая ле-та!», зал потонул в буре хохота и оваций.

И все почувствовали, что Рахманинов, выкормыш Москвы, плоть от ее плоти, пришел разделить с москвичами их чудесный семейный праздник.

В тот же вечер в зале консерватории в концерте Игумнова впервые прозвучала соната «Фауст».

Прием у публики был горячим, хотя лишь немногие догадывались о ее программе. Но через два дня в печати появилась кислая и ворчливая рецензия Энгеля, расценившего новое произведение как «шаг назад».

Автор прочитал ее уже по пути в Антверпен.

Еще весной прошлого года, будучи в Париже, Рахманинов зашел однажды в магазин эстампов на набережной Сены.

Случалось ему и в Москве простаивать часами в магазинах Дациаро и Аванцо, перелистывая альбомы гравюр и репродукций. Такое, казалось бы, бессвязное и беспорядочное чередование зрительных впечатлений давало ему отдых, помогало обрести утраченное равновесие, а порой, совершенно неожиданно, приводило к счастливым находкам.

На этот раз времени у него было мало. Но, уже выходя из магазина, он вдруг заметил большую репродукцию меццо-тинто незнакомой ему картины. Вернувшись, он прочитал ее название. Арнольд Беклин, «Остров

мертвых».

Он не сумел бы объяснить себе самому, что так поразило его в этой странной картине. На первый взгляд все аксессуары новейшего декадентского «неоклассицизма», которые он привык едко и беспощадно вышучивать, были налицо: и черные купы кипарисов, и портик античного храма, и дым от жертвенника, и нисходящие к морю мраморные ступени. Все это было чуждым его душе. Но за манерной и несколько театральной декорацией он не только увидел, но на миг даже расслышал что-то свое.

Ему показалось, что медленно кольшется эта холодная тяжелая вода, вздымаются и падают ее зеркальные перекаты. С усилием он оторвался от картины и ушел, унося с собой уверенность, что встреча эта не пройдет для него даром. По пути в Дрезден он снова вспомнил о ней. Явилась охота взглянуть на оригинал в Лейпцигской пинакотеке.

Он вошел в зал с волнением, но мгновенно остыл.

Краски подлинника показались ему «нарочитыми», никак не связанными с игрой света и теней. Словно картинка из «Нивы», раскрашенная кистью прилежной гимназистки. «Если бы я сперва увидел оригинал, — признался он впоследствии, — мой «Остров мертвых», наверно, никогда не был бы написан. Мне гораздо больше понравилась репродукция «в черном и белом».

Октябрь, ноябрь — хлопоты, концерты, Антверпен, Лейпциг, Берлин, Амстердам, Гаага, опять Амстердам... Он играл симфонию и концерт, выступал в трио с артистами чешского квартета, со скрипачом Мишей Эльманом, встретился с голландским дирижером Виллемом Менгельбергом,

Имя Рахманинова зазвучало в Европе.

Американское концертное бюро предложило ему двадцать пять концертов.

Только с Никишем, который в ту пору тоже концертировал в Европе, Рахманинов не встретился ни разу. Симфония «черной кошкой» пробежала между дирижером и композитором.

Вернувшись в Дрезден в начале декабря, Рахманинов получил уведомление от Попечительного совета из Петербурга о присуждении ему Глинкинской премии 1 000 рублей за симфонию ми-минор.

Зима прошла бесплодно. Кроме шуточного письма Станиславскому, он ничего не написал. Незавершенный замысел «Монны Ванны» с каждым днем уходил от него все дальше в прошлое.

Перед новым 1909 годом Рахманинов выехал на концерты в Москву и

Петербург. Чувство ожидания неведомых бед лежало бременем на душе.

В поезде стоило ему закрыть глаза, как снова остров, осененный темным строем вековых кипарисов, плыл по гладким волнам ему навстречу. Сейчас его появление всякий раз сопровождалось одной и той же мелодической фигурацией на очень низком регистре.

Он узнавал исходную интонацию григорианского хора («День гнева»). Он гнал его прочь, но мрачный напев нарастал по восходящей ступенчатой гамме.

Синеватым морозным утром в Петербурге под застекленным сводом Николаевского вокзала, как всегда, поджидала музыканта Зочка Прибыткова. Столько в их встрече было тепла, что, едучи вместе с ней на лихаче, он даже позабыл, что послезавтра у него трудный концерт: две сонаты и Сюита для двух фортепьяно в дуэте с Зилоти.

Накануне концерта Александр Ильич и Брандуков пришли к Прибытковым и репетировали дотемна. После сонаты, когда Рахманинов вышел на вызов, ему почудились в толпе возле эстрады чьи-то очень знакомые глаза, но он тотчас же потерял их. Восьмого января был полный отдых.

Во время обеда у Прибытковых в прихожей зазвенел колокольчик.

Зоя, что-то почуяв, метнулась к двери.

— Вера Федоровна... — шепотом доложила она.

Однажды минувшей весной, вскоре после памятного спектакля «Нора», за этим же столом у Прибытковых разгорелся жаркий спор.

Комиссаржевская по натуре была необыкновенно правдива, в исканиях правды мучилась и горела. Она жила для счастья людей, верила в лучшее в душе человеческой, а когда верила, то боролась за свою веру. Вера была у нее упорная, настойчивая. Ничьих доводов слушать она не хотела.

Разгром революции она пережила мучительно, как тяжкую личную утрату. И люди, с которыми в эту пору ее столкнула судьба, увлекли Веру Федоровну перспективой «воспарить к вершинам духа», уйти в пору наступающей реакции от цензуры, от полицейского произвола, бороться за новые формы в искусстве.

Рахманинову же в этих «формах» мерещилась одна только фальшь. Сергей Васильевич редко вступал в споры и считал себя никуда не годным спорщиком. При всей его внешней невозмутимости у него не доставало выдержки и хладнокровия.

Так случилось и в тот вечер. Горячились оба, но Вера Федоровна во власти своего просто не слышала его уничтожающих доводов и сарказмов.

Так и расстались, ничего не доказав друг другу. В минуту прощания ему почудилась в глазах у нее нарастающая обида. Он тотчас же жестоко раскаялся. Но загладить, искупить свою ненужную резкость просто не успел и не сумел.

Теперь все это вихрем пролетело в его памяти.

Когда она вошла, его ужаснула происшедшая перемена. В черном, глухом, слабо шелестящем платье с длинной ниткой кораллов на шее она показалась ему неузнаваемой, надломленной, маленькой, увядшей.

Но с первым же звуком неповторимого голоса, с первой улыбкой это гнетущее чувство развеялось.

Ее ненаигранная простота, эта ей одной присущая застенчивая веселость вошли вместе с ней, и в комнате вдруг как бы посветлело.

Поднеся ее руку к губам, Рахманинов спросил вполголоса, не сердится ли она.

— Полно, Сергей Васильевич! — улыбнулась гостья. — Если бы и сердилась, то после вчерашней сонаты...

Так он не ошибся!

— Ах, так! — проговорил он. — Ну, тогда тут есть еще один виновник... — Он показал глазами на смущенного Брандукова и представил его.

За столом не было сказано ни слова о театре на Офицерской. Рахманинову очень хотелось расспросить про спектакль «У врат царства» Гамсуна, который ему хвалили. Но он догадался, что эта тема была запретной. Не один раз он видел, как она, ускользнув на минуту из круга общего разговора, уходила мыслями куда-то, где, наверно, было пусто, холодно и неуютно. Он следил за ней украдкой с чувством непонятной тревоги.

Когда встали из-за стола, он взглянул на Брандукова и заметил, что, наверно, им придется повторить сонату для Веры Федоровны.

Все были в этот вечер свободны. И вновь пела золотая виолончель Монтаньяно, звенели клавиши Блютнера, рассказывая о счастье, которое людям не суждено.

Рахманинов вышел проводить гостью на крыльцо. Висела морозная мгла. Цепочка опаловых фонарей уходила по Конюшенной площади в туман. В безветренном воздухе медленно хлопьями падал снег.

Сергей Васильевич кликнул извозчика, заботливо заложил медвежью полость. Вот еще минута — и она исчезнет! Хотелось оберечь, предостеречь ее, от чего — он и сам не знал.

Она казалась такой хрупкой и беззащитной в своем коротком жакетике,

отороченном беличьим мехом, и такой еще молодой...

Из синих сумерек глядели на него большие, совсем темные глаза. Снежинки падали на плечи, на муфту, на поднятую вуаль, вспыхивали и мерцали.

Он заметил, что легко, не по погоде, она одета.

— Пустое! — отвечала она. — Я знаю, что я никогда не умру!

В Москве он задержался ненадолго. Что-то звало, стучалось не умолкая: «Домой, домой!»

В день отъезда его ждали у Станиславских. Но встречи и встречи закружили его. Он послал Константину Сергеевичу записку, прощаясь с ним до апреля. Побывав у Кусевицкого, он взял извозчика, поехал к Танееву, но не застал его дома. Он направился к Сатиным, но сошел на Кузнецком, вспомнив, что нужно до отъезда побывать еще у Гутхейля.

Было начало пятого. Злой и колючий ветер кружил по кривым переулкам, гнал поземку по обледенелым после недавней оттепели тротуарам. Было скользко. Прохожие глядели под ноги. Заезжая на панель, скрипели полозья саней.

Вот навстречу ему, боязливо ступая по ледяному косяку, идут обшитые серым мехом ботики. Рядом семят маленькие валенки.

Поравнявшись с Рахманиновым, ботики поскользнулись. Рахманинов вздрогнул от неожиданности.

— Вера Дмитриевна...

Они не виделись уже несколько лет. Что-то в душе дрогнуло, позвало из невозвратного далека. Одно мгновение они всматривались друг в друга, узнавая и не узнавая. Черты у Верочки как-то заострились. Даже на морозном ветру она выглядела бледной.

Ресницы вздрагивали под вуалькой, пряча кроткий убегающий взгляд.

— А это кто же такой? — спросил Рахманинов, чтобы сгладить неловкость, и приподнял за локотки мальчугана. — Вылитый Никулька!..

— Никулька уже студент, — сказала она серьезно и вдруг, как бывало, нежно улыбнулась ямочками на щеках. — А это у нас Сергей Сергеич.

— Сей Сеич, — повторил карапуз басом. Оба засмеялись.

Она все время слегка покашливала, говорила, что хворает. Потом вспомнила шуточное «церемонное» (и единственное!) письмо, которое он ей прислал три года тому из Италии. Призналась, что слушала его симфонию, но... была не одна и не смогла сама поблагодарить его за радость. Пообещала летом (Сергей Петрович едет за границу) приехать в Ивановку вместе с Лелей и Сей Сеичем.

Он хоть и не поверил ей, но обрадовался.

Ему хотелось проводить ее, но она сказала, что устала, что очень скользко, и окликнула проезжавшего мимо извозчика. Уезжая, помахала Рахманинову рукой. Помахал и Сей Сеич.

А Сергей Васильевич на минуту даже забыл о том, где он, куда ему нужно идти, и о том, что всего через несколько часов курьерский поезд унесет его на запад.

Наутро в вагоне он вспомнил Сей Сеича и улыбнулся. Потом глянул в оттаявшее окошко. Над полями в снегу тучами носилось воронье. Вот замелькали вагоны, непогашенные огни большой станции. Подле железнодорожного депо в тумане неподвижно чернела толпа. Он увидел жандармов. Придерживая шашки и ныряя под вагонами, они бежали по снегу туда. Во мгновение ока все исчезло. Он долго сидел, глядя в одну точку, зажав между пальцами погасшую папиросу.

Вот снова мимо него промелькнуло что-то, над чем должен призадуматься он, русский художник. Нет и не будет до конца его дней ни сна, ни покоя. Впереди Дрезден, «Гартен-вилла» и... «Остров мертвых». Он уже слышен ему в перекатах чугунных колес.

Вскоре по приезде пришло уведомление об избрании его в члены дирекции Русского музыкального общества.

Весь февраль, март и половину апреля 1909 года, по день отъезда в Россию, он напряженно работал. Он писал Танееву о том, как хорошо и покойно работает в Дрездене, и грустил, что живет там последнюю зиму. Остаться дальше, мешают контракт, но не с концертным агентством, а с женой, которой он пообещал прожить за границей не более трех лет. Они прошли.

Впереди он не видит ничего, кроме утомительных хлопот. В апреле — юбилейные торжества памяти Гоголя, еще два симфонических, дирекция Русского музыкального общества, издательство Кусевицкого, а осенью, по-видимому, неизбежная поездка в Америку. Но этого мало. В первых числах марта он неожиданно получил из весьма высоких «сфер» лестное предложение занять пост заместителя по музыкальной части председателя главной дирекции ИРМО. Последнюю возглавляла тогда принцесса Елена Саксен-Альтенбургская.

В первую минуту он вспылел. Что ему предлагают?..

Но, поостыв немного, рассудил иначе. Вправе ли он отгородиться своей музыкой, своими концертами от Роесии, перед которой он, как и другие, в неоплатном долгу? Он обязан всей силой своего неизмеримо выросшего авторитета прийти на помощь консерваториям, училищам,

школам и музыкантам, оградить их от бездушного чиновничьего произвола сверху и на местах. Вот почему немногие оставшиеся ему до весны месяцы и недели он отдал сочинению, казавшемуся ему особенно значительным и важным.

Может быть, ни в одну из рахманиновских партитур ни до, ни после того не было вложено столько труда, как в «Остров мертвых». Композитор продолжал работать над ней и после первого исполнения еще долгие годы спустя, оттачивая каждую интонацию.

И странная вещь: картина немецкого мистика и модерниста Арнольда Беклина, давшая первоначальный толчок его замыслу, чем дальше подвигалась работа, тем больше отступала на задний план, давая путь другому образу, глубоко человеческому и уж никак не немецкому.

С необыкновенной ясностью, как бы выплывая из огромной рамки, стоял перед ним зеленый бугор над озером Удомля.

Бедная тесовая церквушка одиноким алым оконцем глядит в ранние сумерки на покосившиеся кресты заброшенного кладбища. Тяжелые синие громады туч несут из-за озера неминуемую грозу. Тень ее уже покрыла поля и рощи на дальнем берегу, могильным холодом дышит в лицо.

Но там в вышине, как образ любви, все еще светит, светит живым, а не мертвым, золотое вечернее небо. Не о смерти, а о жизни шепчутся с ветром кладбищенские березы. Не в обитель бесстрастных теней зовет этот вкрадчивый шепот, но в неоглядную, орошенную теплым дождем русскую даль, которой нет ни конца, ни края.

Мысль о неизбежном конце всех человеческих надежд обретает в «Острове мертвых» Рахманинова иной, чем у Беклина, смысл, иное звучание. Это не кроткая умиротворяющая печаль об ушедших, не тихая песнь о «вечном покое», но мужественный и суровый реквием скорби и гнева. К борьбе, к непокорству взывают его траурные фанфары. Они звучат наперекор железной поступи григорианского хорала, преображенного и здесь, как в Первой симфонии, интонациями древнерусского знаменного письма.

Разве смерти, ее тупой и жестокой власти, дано навеки унять жар человеческого сердца, заглушить соловьиное пенье, погасить свет зари и небо в алмазах?..

Нет, никогда!

Однажды в первых числах апреля, когда партитура поэмы вчерне была уже сверстана, он поехал один в Лейпциг на концерт «Гевандхауза». Наталье Александровне нездоровилось.

Переночевав в гостинице, он вернулся под теплым весенним дождем.

Никто его не встретил. Но когда, отворив своим ключом наружную дверь, он вошел в прихожую, то увидел жену. Она неподвижно стояла в просвете двери в столовую, прижав платок к губам. Глаза ее были красны и с непонятным испугом глядели на вошедшего. У ног лежал смятый конверт.

— Кто?.. — спросил он глазами.

— Верочка... — прошептала она.

Коврик, на котором он стоял, вдруг поплыл под ногами. Но он совладал с собой.

— Так вот оно что! — раздумчиво проговорил он, как бы отвечая на вопрос, на который долго не находил ответа.

Заглянув в детскую, он нежно поцеловал своих «гугулят».

«А как же Сей Сеич?..» — снова рванула за сердце горькая обжигающая мысль.

Еще до начала гоголевских торжеств в Москве было объявлено два симфонических концерта. В первом: Скрябин, Рихард Штраус, Вагнер и Лист, во втором: Рахманинов и Мусоргский.

Оркестр, как обычно, готовил Брандуков.

К своему удивлению, всего за десять дней до концерта Анатолий Андреевич получил переписанный экземпляр партитуры «Острова мертвых» с просьбой срочно расписать голоса и поставить в программу вместо объявленной «Весны».

Автор не считал свою работу завершенной и знал, что месяцы, а может быть, и годы настойчивого труда над поэмой еще впереди, но думал, что должен сыграть ее сейчас, какова бы она ни была и чего бы это ни стоило.

Вся эта суета — последние штрихи в партитуре, переписка, расставание с Дрезденом — была для него как нельзя более кстати. У него не было времени задумываться. Не впервые на помощь музыканту приходил труд, осторожный и мудрый целитель в години душевных невзгод.

Впечатление от «Острова» было огромным. Только о нем и говорила на другой день музыкальная Москва.

Как это с ним крайне редко бывало, на этот раз разговорился и автор — с молодым журналистом, пришедшим к нему в филармонию.

— ...Должно быть что-то определенное извне: мысль, впечатление, иначе замысел не сможет родиться.

...Когда я сочиняю, мне помогает память о недавно прочитанной книге, прекрасной картине, стихотворении. Иногда в уме возникает определенный сюжет, который я пытаюсь претворить в звуки, не раскрывая

источника моего вдохновения. ... Но если нет ничего внутри, ничто извне не поможет. ... Мое сочинение движется медленно. Бывает так: я отправляюсь в далекую прогулку в деревне. Мой глаз схватывает яркие блики света на молодой листве после прошедшего ливня, ухо ловит шепоты леса, звон падающих капель. Потом я гляжу на бледную полоску неба над горизонтом в час заката, и они приходят: все голоса сразу... Так и с «Островом мертвых»... Он весь сделан в марте — апреле. Когда он пришел, с чего начался — как я могу это рассказать!.. Он родился внутри, захватил мои помыслы и был написан.

За все прожитые годы он не слишком часто встречался с матерью и еще реже — с отцом. Он помогал им обоим деньгами через Зилоти и Прибытковых. Эта помощь началась еще в его юные годы и не прерывалась ни при каких обстоятельствах.

Мать с годами сделалась еще замкнутее и холоднее. Чувство бессильной жалости давило его всякий раз, когда он навещал ее. Помочь ей нравственно он не умел и чувствовал, что мало-помалу они становятся совсем чужими. Уходя от нее, никогда не знал, была ли она ему рада.

Отец сильно постарел, поседел, но все еще старался сохранить былые бравые повадки гусара. Собрав деньжонок, он ездил с визитами по родичам и знакомым, непрестанно ссорился со своей второй женой и сыном от гражданского брака Николаем.

Письма от матери Сергей Васильевич получал редко — ко дню рождения, к Новому году. Потому в сентябре, незадолго до отъезда в Америку, он удивился, увидав на столе конверт, надписанный ее рукой и почему-то с новгородской маркой.

Он вскрыл его, ничего не чуя. Но потом долго сидел, уронив голову на руки.

Бабушка Бутакова...

Он в недоумении глядел на дату, на почтовый штемпель. Письмо в силу непостижимого равнодушия было отослано только на третий день.

Поздно, поздно!

Все же всего за два дня до отъезда в Америку он выехал в Новгород.

В доме на Андреевской было чисто прибрано, словно ничего не случилось. В дальнем конце погоста под березами желтела свежая могила, засыпанная вянущими цветами. Подле ограды Гаврила Олексич сколотил скамеечку.

Часа два просидели молча.

Сам Гаврила Олексич так же молча стоял рядом, прямой и белый как

лунь, опираясь на палку.

Было холодно. Над горизонтом стояли синие тучки. Ветер качал пожелтевшие кудри берез, шелестел в траве палой листвою.

На шестой день плавания над ветреным горизонтом поднялась из моря с протянутой кверху

рукой позеленелая от морского ненастья статуя женщины в странном венце, увенчанном шипами.

Мир, в который он попал, с первых шагов показался композитору оголтелым. Грубый, режущий ухо говор, возбужденные чем-то, алчущие лица, жестикуляция скрюченных пальцев, привыкших хватать.

Первое выступление состоялось в маленьком городке в штате Массачусетс. Затем пошли Филадельфия, Балтимор, Бостон, Нью-Йорк.

Успех у публики был большой, шумный. Больше всего лавров досталось, разумеется, на долю Прелюдии до-диез минор. Чтобы отвязаться от назойливости репортеров, композитор ответил не без иронии: «Прелюд написан в Москве, когда мне было 18 и у меня не было ни гроша в кармане.

Я получил за него сорок рублей и не имел оснований пожаловаться».

Печатные отзывы по тону были кисловаты.

О втором концерте рецензент газеты «Нью-Йорк тайме» заметил, что в сочинении «слабо выражен характер. Это мог бы написать любой немец, хорошо оснащенный технически и знакомый с музыкой Чайковского. Жалобная нота тянется через все произведение...»

По приезде домой композитор признался «Музыкальному труженику»: «Надоела Америка... Публика удивительно холодная, избалованная гастрольями первоклассных артистов, ищущая чего-нибудь необыкновенного, не похожего на других... Тамошние газеты обязательно отмечают, сколько раз вызывали, и... это является для них мерилom вашего дарования».

За четыре месяца на чужбине Рахманинов устал, стосковался по России, по дому. Едва сев на пароход, с жадностью набросился на старые, от начала января, русские газеты.

За бортом корабля океан с шумом катил и ворочал свинцовые валы, повитые грязной пеной.

С палубы, из салонов долетала пошлая музыка. Он не слышал ее. Он ничего не слышал. Даже запах газетного листа был не тот, что за океаном. Он улыбался названиям, милым буквам и заголовкам, не вникая в их

смысл. Но вскоре улыбка исчезла.

«...Как нам сообщили, в Курской губернии произошли аграрные беспорядки. Высланы казаки...»

За скупыми казенными, равнодушными словами внезапно открылся страшный мир.

Закрыв глаза, он увидел полыхнувшее по небу варево, почудился лязг и грохот сталкиваемых вагонов, визг солдатской гармоники, глухой перестук подков по мерзлой дороге, свист нагаек, надрывающий сердце бабий плач.

Потом, без всякой связи, — неподвижная толпа возле станционного депо, одетые инеем березы на церковном погосте.

Глухой ненавистью захолонуло сердце. Потом тяжело, отдавая в виски, застучало. И в стук его он вновь расслышал ту же грузную поступь хорального напева. Повсюду на всем ее несмываемые следы. Проклятая! Опять она идет, шагает по России, оставляя за собой сонмы неизвестных могил. Кто же теперь?.. Кто еще?

Чтобы успокоиться, он глянул на последнюю страницу. «Хроника... Концерты Московской филармонии... Опера Зимина...» Нет, вот еще: «Прощальный спектакль. «Нора» Ибсена. Театр В.Ф. Комиссаржевской выехал на гастроли в города Туркестанского края».

Морской болезни Рахманинов не был подвержен, но, когда он слышал тяжелую и шумную возню за бортом и пол внезапно уходил из-под ног, он испытывал чувство, которое отнюдь не настраивало на созерцательный лад. По несколько часов он играл, пользуясь «немой» клавиатурой, с которой не расставался в пути. Изошренным внутренним слухом слышал каждую нотку несуществующего фортепьяно с присущей ей тембровой окраской.

Но симфонический аккомпанемент океана был суров и мрачен.

Рахманинов думал о том, что вот пошел ему тридцать седьмой год. Кое-чего он достиг и прежде всего, пожалуй, славы. Но разве так уж он ее добивался!..

Ему, как художнику, казалось неизмеримо более важным найти в музыке искреннее и полное выражение своей творческой личности, своих душевных сил и способностей, вложить в души людей тепло, утешение, мужество, веру и любовь к жизни.

Он и сам находил их для себя, видя вокруг эстрады сотни сияющих лиц.

Но когда перед глазами памяти пробежали столбцы газет, его вера начинала колебаться.

Его исполнительское мастерство стояло вне всяких сомнений. Но в оценке творчества хор далеко не был единодушным.

Впрочем, время для обобщений еще не наступило. Сейчас его занимало другое. Возвращаясь к сочинениям, которые были ему особенно дороги, он видел, что только в одном, пожалуй, «Острове мертвых» он добился того, чего хотел. Но как мало утешения было в нем для души, алчущей света радости! Тут, перейдя невидимый мостик, он вновь уходил мыслями к памяти той, кто в младенчестве заменял ему мать. Он силился воскресить ее образ живым, услышать ее голос.

Но весь Новгород с его колоколами и дом на Андреевской улице ой видел теперь уже как сквозь густую кисею.

Единственное, что ему оставалось, это попытаться оправдать надежды, которые она возлагала, выряжая любимого внука в долгий путь.

В Москве он смог пробыть всего трое суток. На шестое февраля 1910 года был назначен концерт у Зилоти. Наутро после приезда он вышел в столовую к завтраку.

Возле его прибора лежала свернутая газета. Он развернул ее. И буквы в траурной рамке запрыгали, волчком завертелись перед глазами, складываясь в бессмысленные слова: «В.Ф. Комиссаржевская... Самарканд... Черная оспа...»

Он едва не закричал от ужаса и отчаяния...

В ушах прозвучал взволнованный голос студента (это случилось в Харькове три года тому назад после спектакля «Кукольный дом»): «Улетает сегодня от нас жаворонок... Лети же, дорогой наш, дальше, дальше петь свои песни добра и красоты!..»

Лети!.. Он тихонько вышел в прихожую, торопливо оделся. Вернулся только в сумерках. Где он был, он не помнил сам.

В страшной и нелепой гибели этой хрупкой маленькой женщины с большими темно-серыми глазами и огромной нравственной силой был глубокий символический смысл. Десять лет спустя Александр Блок писал, что «с Комиссаржевской умерла лирическая нота на сцене». Но только ли на сцене!..

Она была бесстрашна в своих исканиях правды, в своих ошибках, заблуждениях, сильна, горда и беззащитна перед человеческой пошлостью и клеветой. В тот день, когда ее не стало, многим показалось, что вместе с ней из жизни вдруг ушло что-то самое дорогое — искренность, нежность, чистота.

Через месяц на десятое марта Зилоти назначил экстренный концерт памяти Комиссаржевской. Накануне, вернувшись от матери к Прибытковым, Рахманинов застал у них незнакомую молодую певицу.

Она репетировала с Александром Ильичом арию Баха.

Увидав Рахманинова, она смутилась, но он попросил продолжать. Стоя у окошка, он озадаченно шевелил бровями: что за голос! Когда они кончили, Сергей Васильевич вынул из кармана сверток нотной бумаги и протянул его певице.

— Я написал романс, — сказал он. — Быть может, попробуете?

У нее были темные и очень длинные ресницы. Пробежав по строчкам глазами, она чуть покраснела, лотом, кивнув головой, согласилась.

Он сел за рояль. Настигая друг друга, стремительно побежали аккорды.

Не может быть! Не может быть...
Она жива. Сейчас проснется.
Смотрите: хочет говорить,
Откроет очи, улыбнется...
Меня увидевши, поймет,
Что неутешный плач мой значит.
И вдруг с улыбкою шепнет:
«Ведь я жива! О чем он плачет!..»
Но нет. Лежит
Тиха, нема, недвижна...

В программе были Вторая симфония, недавно написанный Третий концерт и «Остров мертвых».

Рахманинов в этот вечер играл и дирижировал. Ему казалось, что это его долг.

Когда после фортепьянного концерта он вышел в артистическую, он почувствовал, что его силы исчерпаны до дна и ничто не заставит его снова выйти на эстраду и стать к дирижерскому пульта. Но когда минута пришла, он встал и вышел.

Обстановка концерта была не совсем обычной, аплодисменты — сдержанными. Не в них, а в чем-то другом выражались чувства слушателей.

В глубине оркестра родился низкий, дрящущийся «остинатный» тон. На нем, в медленно колышущемся пятидольном размере, сложилась воедино интонация ля-минорного аккорда. Медленно катились навстречу тяжелые волны. Им овладело странное, ранее не испытанное чувство. Ему казалось, что вот если он сейчас неожиданно оглянется, то увидит ее там, с краю во втором ряду партера.

Поддав знак вступления фаготу, он явственно услышал этот чистый и свежий, навсегда умолкнувший голос: «Полно! Ведь я никогда не умру!»

На мгновение спазма сжала его горло. Все расплылось в тумане: лица и блики на инструментах.

Но вдруг на сердце неожиданно отлегло. Он почувствовал, что тяжелый душевный мрак, густо окутавший его «Остров мертвых», только мнимый, кажущийся.

Это та непроглядная темнота, которая вместе с росой ложится на землю перед наступлением утра.

Глава шестая «БЕЛАЯ СИРЕНЬ»

1

В свое время было немало толков о том, откуда возникла тема главной партии Концерта для фортепьяно с оркестром реминор.

Еще долгие годы спустя препирались между собой музыковеды. Одним хотелось найти корни пленительной мелодии в песенном фольклоре, другим — в древнецерковном мелосе. Незадолго до смерти композитора американский музыкант И. Яссер обнаружил органическое сродство темы с древним песнопением лаврского распева.

В ответ на эти догадки Рахманинов только улыбался и утверждал, что тема «сама написала себя»- Если и был у него план сочинения этой темы, то он думал прежде всего о звуке. Он захотел «спеть» мелодию на фортепьяно, как певец ее поет, и найти подходящий аккомпанемент оркестра, который не мешал бы песне.

И правда; так, без труб, фанфар и торжественных колокольных аккордов, не начинался дотоле еще ни один инструментальный концерт.

Замысел пришел к композитору в Ивановке летом 1909 года, в дни, когда поездка в Америку, по его собственным словам, еще «висела в воздухе» и когда композитор рад был любому поводу, чтобы только от этой поездки отказаться.

Годы давали знать о себе. Как в былые, мамонтовские дни, композитора нередко манила к себе кушетка. Душа еще не освободилась от сумрачной колдующей власти «Острова мертвых». Тяжелые облака еще застилали горизонт.

Но вот однажды тучи раздвинулись и в лицо повеяло чистым прохладным светом зари.

Тогда он впервые услышал ее, эту незатейливую на первый взгляд песенку одноголосного фортепьяно. Она лилась легко и привольно, колыхаясь на волнах мерного и неторопливого оркестрового сопровождения.

Не спросив ни о чем, повела вслед за собой, как тропа среди вереска, в неоглядную ширь и даль.

Куда поманила, позвала его эта тихая вечерняя полевая Русь, что таилось за вековой тишиной, за красотой ее ненаглядной, он сперва и не знал, быть может, а только внутренним слухом художника чувствовал, что, наверно, в тишине этой замкнуты судьбы его отчизны, таятся ее скорби, радости и надежды, идет вековечный спор между жизнью и смертью, зреют невидимо для глаза людского, наливаются гневной синевою тучи грозы народной, мужает и крепнет вера в свободу и торжество.

Он нашел в душе своей запасы нерастраченных сил, открыл неиссякаемые родники вдохновения. И, поборов усталость, неодолимое влечение к пассивности и покою, снова во весь свой могучий рост поднялся великий музыкант и безропотно пошел на зов, потому что знал, что в эти тревожные, предгрозовые дни не может быть для русского художника другой темы, как тема судьбы России.

Так же думали его современники — Репин, Станиславский, Горький и Александр Блок.

Все, что услышал композитор, он с глубоким страстным волнением, с небывалым, неслыханным еще мастерством поведал на страницах своего Концерта реминок.

И концерт этот стоит как, быть может, недостижимая вершина в русской музыке начала нашего века.

Так мы слышим и воспринимаем его в наши дни.

Четвертого апреля 1910 года в Москве была повторена петербургская программа памяти Комиссаржевской.

Вокруг рояля: на стульях, на подставках — повсюду пестрели цветы. Когда Рахманинов в третий раз вышел на вызов, он увидел на пюпитре небольшой, но необыкновенно красивый букет белой сирени. Раньше его не было. В тяжелых гроздях еще искрились капельки влаги. Играя на «бис», он все время искоса поглядывал на букет и потом унес его с собой в артистическую.

К цветам была приколата карточка с двумя буквами: «Б. С.». Он перебрал в уме всех друзей, и ничье имя на эти инициалы не отозвалось.

Вдруг словно его осенило: «Б. С.» — «Белая Сирень». Только и всего! Он улыбнулся. И сделалось необыкновенно тепло на душе.

2

Распростившись с Дрезденом весной 1910 года, Рахманиновы сняли квартиру в Москве, на Страстном бульваре, в доме, принадлежавшем женской гимназии. На втором этаже того же дома жили Сатины, в нижнем помещалось отделение Брестской железной дороги.

Боковым фасадом дом примыкал к стене Страстного монастыря. Колокольный звон в комнаты доносился глухо. Иногда самого колокола и вовсе не было слышно, но почти всякий раз на неуловимые ухом удары смутным тревожным гулом отзывалась арфа рояля.

Когда в доме было тихо, Рахманинов прислушивался к этой странной музыке. В просторных и прохладных комнатах пятикомнатной квартиры композитор прожил почти до последнего дня в России.

По приезде в Ивановку Рахманинов сперва много хозяйничал: сажал ветлы, обрезал деревья в саду, выходил на косьбу с косарями (потягаться с ним было не легко! Мужики только дивились, весело поплеывая на ладони).

Творческое настроение явилось не сразу.

Лишь в начале июня композитор начал давно задуманный труд. Существо этого труда привело ближайших друзей Рахманинова в замешательство.

Они не могли понять, почему человек, отнюдь не прилежаний к казенному православию, вдруг с увлечением принялся за сочинение «Литургии св. Иоанна Златоустого» для смешанного хора.

В конце июля он уже писал Никите Морозову: «...Я кончил... литургию (к твоему великому удивлению, вероятно). Об литургии я давно думал, давно к ней стремился. Принялся за нее как-то нечаянно и сразу

увлекся. А потом очень скоро кончил. Давно не писал (со времен «Монны Ванны») ничего с таким удовольствием...»

Пожалуй, один Сергей Иванович (такой же вольнодумец) до конца понимал, в чем тут дело.

Оба музыканта, чуждые каноническому православию, видели в истоках древнерусского многоголосия то коренное русское, что мы видим сейчас в монументальной фресковой живописи Андрея Рублева. Именно в русском, в чертах национального характера, в складе русской души, в ее этических основах они искали ключ к пониманию действительности. Не потусторонние, оторванные от жизни, а совершенно земные чувства и образы, чаяния, радости и огорчения легли в основу замысла композиции.

Учитель и ученик творчески и по натуре были совершенно несхожи между собой, но оба находили в этих знаменных, киевских и владимирских распевках неисчерпаемые ключи и родники музыкальных красот.

Не один раз на протяжении лета Рахманинов обращался за консультацией к наиболее выдающемуся в те годы знатоку древней обрядности и мастеру хорового письма Александру Кастальскому.

3

На лужайке против веранды стоял в то лето круглый белый стол, рядом — решетчатая скамья.

Издалека видно было сутулящуюся над столом высокую фигуру композитора в домашнем чесучовом пиджачке.

На столе стопа нотной бумаги, остро отточенные цветные карандаши, мундштуки, коробка сухумского табака. Больше ему ничего не было нужно. Как обычно, на столе образцовый порядок.

В часы работы никто не отваживался к нему приближаться. Только ласточки, свиристя, бесстрашно носились над склоненной долу коротко стриженной головой.

Чу! Где-то далеко звякнул брусочек о косяк. Солнце уходит за деревья. Слабый ветер качнет ветки боярышника и понесет прочь голубое облако пахучего дыма.

В августе Рахманинов принялся за фортепьянные пьесы. «Не люблю я этого занятия, — ворчал он в письме к Морозову, — тяжело оно у меня идет. Ни красоты, ни радости...»

Недели три он промучился, набрасывал и уничтожал. Но уже двадцать

третьего августа в один день прозвучали три жемчужины русской фортепьянной музыки, три прелюдии; соль-мажор, си-минор и фа-диез минор.

Первой родилась лучезарная «Матината», как бы омытая утренней теплой росой. Умиротворенность, казалось, исчезнувшая с рахманиновской палитры, свежее плавное движение и парящая в вышине легкая мелодия жаворонка придают пьесе неповторимое очарование.

Двенадцатая прелюдия соль-диез минор, замыкающая цикл, напротив, полна печальных раздумий, переливчатым звоном своих колокольцев зовет в пасмурные дали русской осени. Ее щемящий напев сродни мелодии давнего романса на слова Бунина «Ночь печальна».

Партитура литургии была переслана Данилину, руководителю Синодального хора.

По приезде Рахманинова в Москву Кастальский организовал для композитора прослушивание.

В закрытом концерте было немало представителей духовенства. Один из них отозвался о литургии так: «Музыка действительно замечательная, даже слишком красивая, но молиться при такой музыке трудно. Не церковная...»

Рахманинов был внутренне страстный, горячий, глубоко земной человек. Творческий запас его чувств и мыслей был широк и неиссякаем. Его музыка взывала к глубокой человечности, к чистоте помыслов, заложенных в каждую душу. К простым, не успевшим увянуть сердцам стучалась она, и они отвечали.

Неразрывной все эти годы была духовная связь Рахманинова с Московским Художественным театром.

Будучи в Москве, он никогда не пропускал ни одной премьеры. В душе он всегда делил удачи и неудачи «художников». При всей своей сдержанности в общении с людьми он в стенах театра неуловимо менялся.

Едва возник разговор об организации концерта памяти недавно умершего композитора Ильи Саца, Рахманинов первым горячо откликнулся, принял участие в подготовке программы и вызвался дирижировать. Он любил и высоко ценил этого душевно чистого, обаятельного, талантливое и невероятно скромного человека, так неожиданно ушедшего из жизни в расцвете сил.

Много лет спустя с искренней теплотой он вспоминал музыкальные вечера у Гольденвейзера, где часто встречал Илью Саца. Однажды проигрывали сложный квинтет Глазунова. Рахманинов, как обычно, сидел с партитурой у рояля, зорко следя за движением голосов и подавая

лаконические реплики при малейшей ошибке музыкантов. Сац играл вторую виолончель не слишком уверенно. Вдруг случилось что-то неладное. Музыка зазвучала пусто и жидковато. Музыканты поняли, что потеряли виолончелиста. Рахманинов многозначительно кашлянул. Но вдруг среди затихающего шороха смычков послышался голос отчаяния: «Господа, возьмите меня с собой!»

Дружный взрыв смеха покрыл реплику Саца.

В программу концертов включили ряд отрывков из театральной музыки Саца к «Синей птице», «Гамлету», «Мизерере» в переложении Глиэра для большого оркестра, под редакцией Рахманинова.

Вернувшись из последнего заграничного рейса, еще на вокзале композитор узнал о кончине Пелагеи Васильевны Чижовой. В тот же вечер, собрав все свое мужество, он поехал к Сергею Ивановичу.

Как войти в эти комнаты, не услышав за стеной ее милого голоса, шаркающих шагов: дом, казалось, совсем утонул в сугробах.

Сергей Иванович внешне выглядел спокойным, только был очень серьезен. С порога гость поймал его предостерегающий взгляд. Помолчали, потом просмотрели начало нового квартета.

Только когда Рахманинов прощался в прихожей, Танеев подал ему свернутые в трубку ноты.

— Это романс на слова Полонского, Сергей Васильевич! Просмотрите на досуге.

«В годину утраты» — стояло на обложке. Ниже — автограф: «Памяти няни моей П. В. Чижовой». Между страницами — портрет старой русской женщины с умными, добрыми и проницательными глазами.

...Забудь же, сердце, образ бледный,
Мелькнувший в памяти твоей,
И вновь у жизни чувством бедной
Ищи подобья прежних дней.

...В Большом зале консерватории состоялся концерт в связи с пятидесятилетием Московского отделения в честь трех питомцев консерватории, награжденных золотой медалью.

Первым в программе был «Иоанн Дамаскин» Танеева, не

исполнявшийся уже несколько лет.

...Иду в неизвестный я путь,
Иду меж страха и надежды.
Мой взор угас. Остыла грудь,
Уста молчат. Закрыты вежды...

Кантата, написанная тридцать лет тому на смерть Николая Рубинштейна, в этот вечер как бы заново родилась.

Неожиданно, предостерегая, прозвучала труба, возвещающая приближение суда человеческим помыслам и деяниям. Грозное дуновение ветра прошло по рядам кресел. И кой у кого мелькнула догадка, что не там, «у престола всевышнего», будет этот суд, это «миру преставленья», но здесь, на земле, и, быть может, скорее, чем кажется.

Рахманинов играл свой Третий концерт.

На концерте в первую годовщину со дня смерти Комиссаржевской в Петербурге Сергей Васильевич встретил Глазунова. Последний передал ему просьбу совета консерватории сыграть днем в пользу «недостаточных студентов».

— Надеюсь, ты не откажешься?

Рахманинов развел руками.

— Как же отказать! Сами ведь мы были недостаточными.

Давно ни для кого он не играл с таким удовольствием, как для этой молодежи, ловившей с жадностью каждую его нотку. На этой эстраде в переполненном зале он чувствовал себя совсем как дома. Даже говорил и шутил с ними во время пауз между номерами, чего, кажется, еще отроду не бывало.

— Теперь, — покосившись на зал, проговорил он, — я сыграю вам мои последние прелюдии. Это не значит, что больше играть не буду, а то, что они сочинены недавно...

Пока Сергей Васильевич говорил это, обратясь к аудитории, за его спиной консерваторский служитель с ужасно хитрой миной на цыпочках пробрался на эстраду и поставил на второй рояль вазон с цветущей сиренью.

Когда в ответ на шум, смех и аплодисменты Рахманинов оглянулся, он

даже покраснел немного от неожиданности.

«Нигде и никогда неуловимая Б. С. не забывает о нем!»

Где бы ни выступал Рахманинов, она напоминала ему о себе.

Окончить концерт оказалось гораздо труднее, чем начать. Студенты не хотели уходить.

— Я не знаю, хорошо это или плохо, — сказал композитор, водворив тишину, — но обычай гласит: когда публика просит польку, это значит, что она «сыта». Полькой я и закончу свой концерт.

Глазунов вышел на эстраду и под гром аплодисментов благодарил его. А затем объявил преподавателям и студентам, что занятия в этот день отменяются.

— День этот должен быть отмечен не меньше, чем когда консерваторию посещают царствующие особы.

4

В поезде по дороге в Варшаву Рахманинов прочел первые газетные сообщения о смерти Толстого.

Былая горечь после визита в Хамовники давным-давно истлела. Все же, несмотря на повторные и настойчивые приглашения через Гольденвейзера побывать в Ясной Поляне, он так и не поехал.

Не гордость, не обида, но все возрастающее с годами чувство неодолимой робости было преградой. А жаль!

Россия точно лес после бурелома. Дубы свалились. Глухо чернеет мелколесье. Жди теперь, пока подрастет!

Где те, что придут на смену? Если и придут, то не скоро и заговорят совсем по-другому.

Еще двадцать лет тому назад в одном из писем Римского-Корсакова неожиданно прорвались грустные строки:

«...Новые времена — новые птицы, сказал кто-то; новые птицы — новые песни. Хорошо это сказано! Но птицы у нас не все новые, а поют новые песни хуже старых».

В пути композитор тосковал по семье, по дому. Три зимы в Дрездене среди близких, за любимым трудом теперь казались ему потерянным раем.

Но сама по себе мысль о загранице претила. Его место в Москве.

А в Москве ему не давали дышать.

Что ж, вышел в люди, Сергей Васильевич! Не сам ли того добивался!

Не лучше ли было в неизвестности?..

Сейчас — на улице, в театре, — куда бы он ни пошел, повсюду озираются, следуют за ним любопытные взгляды. А дома... Он мог по пальцам перечесть свободные вечера, когда некуда было торопиться и он мог просто, закрыв глаза, посидеть в кресле, слушая болтовню любимицы Танюшки.

Совсем не много времени понадобилось ему, чтобы убедиться, что «слава» умеет не только улыбаться, но и строить курьезные, а подчас злобные и уродливые гримасы.

Каждая почта приносила надушенные записочки с излияниями превыспренних чувств.

Тем дороже для музыканта были искренние изъявления благодарности, выраженные в ненавязчивой форме.

Он был счастлив, видя вокруг эстрады юные, сияющие, взволнованные лица, протянутые руки с цветами.

Они любили его, считали своим. Их волнение трогало его до глубины души.

Тайна «Белой сирени» оставалась неразгаданной.

Если говорить правду, он и не делал шагов к разгадке.

Рояль Рахманинова в смежных комнатах звучал почему-то глухо, но за дверью на лестничной площадке был гораздо слышнее.

К этой двери однажды, трепеща, приблизился четырнадцатилетний Юрий Никольский. Он принес свернутые в трубку две прелюдии своего сочинения с посвящением «С. В. Рахманинову».

За дверью кто-то по частям, по фразам разучивал «Кампанеллу» Листа. Завороженный красотой «серебряного» звука рахманиновского фортепьяно юный музыкант стоял не дыша.

Неожиданно музыка смолкла. За дверью, приближаясь, прозвучали неторопливые, размеренные шаги. В неопишемом страхе будущий композитор ринулся вниз по лестнице. Так встреча не состоялась.

В другой раз, вернувшись среди дня из университета, где она работала, Софья Александровна Сатина, к своему удивлению, увидела на ступеньках и возле перил группу служащих железнодорожников. Среди них были девушки-конторщицы. Насторожась, взволнованные, серьезные, они слушали ре-минорную прелюдию Рахманинова, явственно звучащую в лестничном пролете. Увидев вошедшую, они смутились и нерешительно двинулись к полуоткрытой двери конторы.

Она улыбнулась и попросила их остаться. А получасом позже вышедшая случайно Марина подняла лежащий перед дверью огромный

букет полевых цветов.

Глава седьмая «КОЛОКОЛА»

1

Трудное, сложное и очень беспокойное десятилетие выдалось в русской музыке, в искусстве, литературе и в русской жизни вообще.



*С. В. Рахманинов
с дочерьми, 1917 г.
Крым, Симеиз.
Рядом с Сергеем Ва-
сильевичем — Татъ-
яна, чуть далее —
Ирина.*



*С. В. Рахманинов
в Калифорнии, 1919 г.*



Ф. И. Шаляпин, И. М. Москвин и С. В. Рахманинов в Нью-Джерси, 1923 г.

С. В. Рахманинов и Б. Ф. Шаляпин у портрета композитора работы Б. Ф. Шаляпина.



Прокатившаяся гроза революции породила небывалый разнобой в умах, чувствах, вкусах, мнениях и направлениях.

Кое-кто, правда, еще всерьез думал, что вот, слава богу, все и прошло, как дурной сон, и опять стоит истуканом могучая, нерушимая, «кондовая» Русь, как стояла века. Но таких было немного. Большинство только делало вид, что все обстоит благополучно, что можно жить по обряду, как и прежде жили.

Люди чувствовали, что сколько бы им ни отворачиваться, ни уходить в будни, а новое упрямо лезет в уши, в глаза.

Глубокие трещины пошли по всей земле вдоль и поперек. Сырой глиной их не замажешь! Здесь и там из раздавленной почвы пробивалось пламя.

Сколько бы ни вопил с думской трибуны министр Макаров: «Так было, так будет!» Сколько бы ни сжималась железная перчатка Столыпина, схватившая за горло Россию, многие уже в те годы догадывались, что нет, «так», наверно, все же не будет.

— Нынче, милой, — говорили старики, — и голубь по-другому летает! В мире творилось неладное. На всю Россию прокатился выстрел в Столыпина под сводами Киевского театра.

Загремели залпы на Ленских приисках.

И там, за рубежами России, тоже не было покоя. Одна за другой сотрясали мир ужасные катастрофы. Двести тысяч жизней унесло мессинское землетрясение. Натолкнувшись на айсберг, погиб огромный, набитый пассажирами трансокеанский пароход «Титаник».

«Мы плывем в тумане — рог протрубил сигнал тревоги», — писал в эти дни знаменитый итальянский музыкант Феруччио Бузони.

По улицам городов, тарахтя, чадя зловонным дымом и пугая лошадей, сновали редкие еще автомобили. С Ходынского поля на парусиновых крыльях подымался, падал, ломал кости и снова упрямо подымался какой-то неугомонный Уточкин. В темных комнатах за ситцевой занавеской про что-то свое стрекотал синематограф.

Умер Чехов, похоронили Льва Толстого, Комиссаржевскую. Что же дальше? Куда, за кем идти?..

Символисты, имажинисты, акмеисты, футуристы метали в растерявшуюся толпу загадочные и непонятные тирады. Либералы всех мастей делали вид, что они если еще не хозяева положения, то, на худой конец, властители дум.

Кружки, общества и ассоциации, философские, теософские, антропософские, литературные, художественные и религиозные росли буквально как грибы.

«Аполлон», «Мусагет», «Весы», «Алконст», «Золотое руно», «Мир искусства» исповедовали, благовестили и провозглашали.

В Москве рядом с добротными особняками и и церквушками фамусовских времен выростали новые дома в стиле «модерн» в серой и цветной штукатурке с барельефами и кариатидами пучеглазых русалок, сатиров, медуз. Невероятные ассиметриче-ские оконные рамы таращили глаза на прохожих.

Только в зимних сугробах Москва выглядела почти как прежде и становилась на себя похожей.

«Безвременье...» Все чаще в спорах и разговорах мелькало это

крылатое словечко.

«...Душно, как перед грозой, — вспоминает Мариэтта Шагинян, — время кажется остановившимся, внеисторичным. В воздухе, в настроении общества — ожидание, страстная потребность, чтобы произошло что-нибудь, чтобы ритм времени снова стал ощутимым...» Рождается жажда нового во что бы то ни стало, независимо от того, насколько оно, это новое, оправданно и закономерно. Высшим мерилom для оценки идей и образов искусства делалась степень их формальной новизны, «непохожести» на прежнее, набившее оскомину.

Горький в свое время говорил о десятилетии 1907–1917 годов, что оно заслуживает имени «самого позорного и бездарного десятилетия в истории русской интеллигенции».

Часть ее (интеллигенции), отшатнувшись от революции, бросилась в дебри реакционной мистики, декадентства, порнографии, провозгласила своим знаменем безыдейность, прикрыв свое ренегатство красивой фразой: «И я сжег все, чему поклонялся, поклонился тому, что сжигал...»

Каждому, кто пытался говорить пусть о новом, но старыми привычными словами, немедленно приклеивали ярлык «эклeктика» или «эпигона».

В те годы в Москве рядом с именем Рахманинова блистали имена Александра Николаевича Скрябина и Николая Карловича Метнера.

Зрелое творчество Скрябина очень сложно, в остроиндивидуальной манере, но при этом с большой силой отражало грозное дыхание своего времени, предчувствие грандиозных социальных потрясений.

Скрябина поднимала на щит целая фаланга музыкальных критиков, к сожалению более всего старавшихся увести композитора все дальше и дальше в сферу абстрактных мистико-идеалистических исканий.

Очень узким, «камерным» был круг поклонников Метнера. Большинство же рецензентов подчеркивали его приверженность к традициям немецкой школы, особенно к Шуману, Брамсу, хотя он и не менее настойчиво стремился выработать собственный стиль. Поругивая Метнера, критики тем не менее не отрицали того, что он представляет какое-то так или иначе избранное художественное направление.

Совсем по-иному сложилась судьба Рахманинова.

В те годы он был в зените своей славы, которая шагнула далеко за пределы России. В этом не только Метнер, но и Скрябин не могли с ним сравниться. Его концерты повсеместно сопровождались потрясающим успехом у публики. Многие его поклонники ездили за ним по пятам из города в город, чтобы не пропустить ни единого концерта. Молодежь

проводила ночи возле концертных касс. Толпы людей допоздна дожидались его выхода у артистического подъезда. Казалось, не было границ для выражения восторга, любви и благодарности, которыми осыпали музыканта.

Но у большинства из пишущих на музыкальные темы ответ был готов: — Рахманинов? Ну, конечно, спора нет: он гениальный исполнитель. Но его сочинения... Ведь он типичный эклектик!

«Эклектик...» Пожалуй, самое страшное слово для композитора. Никакой шумный и горячий прием у публики не в состоянии был его заглушить. Семя неверия в себя самого, сомнения в своем даровании упало на почву и дало ростки. А что, если он и впрямь только эпигон Чайковского?..

Он мучился и не находил решения.

Еще тяжелее становилось от сознания, коренившегося в глубине души, что он прав, что у него есть о чем рассказать людям, рассказать что-то свое, новое, рахманиновское и больше ничье.

И часто шевелилась еще до конца не осознанная мысль, что, наверно, так и суждено ему стоять одному, принимая на себя удары, защищая то, что дороже жизни.

Недаром, как писал один из критиков, «произведения г. Рахманинова всегда принимаются с особой, я бы сказал, нервнойностью. Г. Рахманинов — тот столп, вокруг которого группируются все поборники реального направления...».

Если он уступит, сойдет со сцены, то все созданное веками русской музыкальной культурой пойдет на поток и разорение «западников» — декадентов.

И те, кто любил его, верил в него, понимали это не хуже его самого. Для них, как и для Собинова, он, Рахманинов, был «единственной надеждой в области музыки». Они знали, что он свой, наш, русский до мозга костей.

В феврале 1912 года по давней договоренности с дирекцией Мариинского театра Рахманинову предстояло продирижировать пятью спектаклями «Пиковой дамы». Приближалась двадцатая годовщина со дня смерти Чайковского.

Рахманинов устал. Непрерывное напряжение сил давало себя знать. Даже лето на этот раз не принесло ему заслуженного отдыха.

Еще в апреле прошлого года он почти неожиданно для себя сделался единоличным хозяином Ивановки. Здоровье его тестя пошатнулось, и он решил отойти от дел.

Сперва новая сфера, открывшаяся для приложения сил, обрадовала музыканта. Он любил землю, пахоту, косьбу, охотно сам брал в руки косу, отлично ездил верхом. Он любил крестьян, и ему казалось, что он хорошо их знает. Если в последнем он заблуждался, то в те дни это заблуждение было всеобщим.

Но уже в первые дни новый тамбовский помещик понял, что сельское хозяйство, если им заниматься всерьез, берет всего человека без остатка. Надежда на то, что он, как и прежде, сможет сочинять в часы досуга, оказалась утопией.

Только в августе он смог записать фортепьянные пьесы, сочиненные в разное время. Он искал новой формы для воплощения волновавших его образов и нашел ее. Так были созданы первые этюды-картины.

Это и на самом деле были картины, но их содержание он навсегда сохранил в тайне.

Их было на этот раз всего восемь, но две из них, сдавая в печать, он почему-то исключил, хотя они ни в чем не уступают другим.

Ре-минорный этюд особенно полюбился дома. Вся пьеса от первой до последней ноты взволнованная, искренняя, полна непередаваемой прелести.

Благожелательная критика приняла новые пьесы очень осторожно именно в силу их новизны.

Почти весь октябрь Рахманинов концертировал в Англии. Повсюду он играл свой Третий концерт с голландским дирижером Виллемом Монгельбергом. Печать на этот раз слилась в едином хвалебном хоре. «... Невозможно отделить эту музыку от магических чар композитора-исполнителя. Он один из немногих пианистов, а может быть, и единственный после Листа. Кульминации концерта исполнены такой же титанической силы, как и породившие их идеи...» — так писал «Таймс».

Все это было, разумеется, весьма лестно. Таких рецензий не бывало, пожалуй, и в русских газетах. Но каждому художнику хочется быть пророком прежде всего в своем отечестве.

На репетиции «Пиковой дамы» после второго акта, когда он вышел покурить, седой, в баках капельдинер подал ему письмо из Москвы, конечно анонимное (сколько он получал таких изо дня в день!) и подписанное ноткой «Ре».

Наверно, как всегда, он забыл бы о нем, но письмо было необычное. Ни слащавого сюсюканья, ни той ложной патетики, которую он всю свою жизнь ненавидел и которой, словно в насмешку, корили его музыку модернистские критиканы.

В искренности строк, написанных неизвестной ему девушкой не только от себя, но и от многих таких же, как она, невозможно было усомниться. И он поверил. И не только поверил, но и ответил на другой же день, что с ним совсем уже редко случалось.

Так началась дружба с Ре. Из уст Ре после смерти Рахманинова мы узнали о нем многое, что без ее помощи навсегда осталось бы скрытым.

Письма Ре рассказывали о многом, чем жили и дышали русские люди в те далекие годы. Но между строчками вилась одна упорная и настойчивая мысль. От него хотели, чтобы он почувствовал, понял до конца «историческую нужность его музыки, прогрессивность ее в тысячу раз большую, чем все формальные выдумки модернистов», его убеждали в том, что «единственный верный критерий музыки — это характер ее воздействия на слушателя. Если она очищает, организует, поднимает его душу, возбуждает благородные и мужественные начала в нем, помогает ему бороться с хаосом, со стихийностью, с низменными началами характера, направляет его на большие исторические свершения... — это настоящая музыка, идущая в авангарде своей эпохи».

Если в него, в его музыку так безгранично верят, то как же смеет он не верить в себя сам!

И вот всего три месяца спустя, «сонным весенним вечером», из Ивановки, куда он приехал к началу пахоты еще в конце апреля, он написал Ре единственное во всем рахманиновском эпистолярном наследстве письмо. Ни до, ни после того он никому так не писал. Может быть, в первый и в последний раз он приподнял завесу, за которой ревниво скрывал свой душевный мир от нескромного взгляда.

«...Моя «преступная душевная смиренность», к сожалению, налицо, и моя «погибель в обывательщине...» мерещится мне, как и Вам в недалеком будущем. Все это правда! И правда эта оттого, что я в себя не верю... Если я когда-нибудь в себя верил, то давно — очень давно — в молодости!.. Недаром за все эти двадцать лет моим, почти единственным доктором были: гипнотизер Даль да две мои двоюродные сестры... Все эти лица, или, лучше сказать, доктора, учили меня только одному: мужаться и верить. Временами это мне и удавалось. Но болезнь сидит во мне прочно, а с годами и развивается, пожалуй, все глубже...»

Письмо полно сомнений в себе самом и в будущем своей музыки. Но

все же между строчками светит пусть слабый, но неугасимый огонек веры в то, что творческие силы его не исчерпаны. Читая эти строки, трудно остаться равнодушным к их печальной шутливости, за которой встает образ человека большого, сильного, искреннего и душевно незащищенного.

Так длилась и текла эта заочная беседа.

Рахманинов просил Ре подобрать ему тексты для романсов. Ре отлично знала поэтическую литературу и сама писала стихи. Тут ее приоритет был неоспоримым.

А вот попыткам сблизить его с кружком, группировавшимся около Метнера, он решительно противился. Он любил Метнера, считая его самым талантливым из современных ему композиторов.

Он, Метнер, «один из тех редких людей — как музыкант и человек, — которые выигрывают тем более, чем ближе к ним подходишь... что же касается общества Метнера, то бог с ним. Я их всех боюсь...»

Застольные беседы у Метнеров, «в этом святом месте, где спорят, отстаивают, исповедуют и опровергают», внушали ему неодолимую робость с оттенком неприязни. Это было именно то, от чего он всю жизнь настойчиво уклонялся, эти, как он их называл, «вумные» разговоры об искусстве.

Особенно неприятным в этом обществе, как он признался позднее, ему казался брат композитора Эмилий Карлович, эстетствующий философ.

На страницах редактируемого им сборника «Мусагет» он громил модернизм и модернистов, но, как выяснилось вскоре, это была всего лишь маскировка новых в те времена идей о гегемонии арийской расы.

Всей этой «гуще подлинного искусства» Рахманинов предпочитал письма Ре. Порой они казались ему «целебными».

Немалая доля вины в неверии Рахманинова ложилась на его друзей и сторонников вроде Юрия Сахновского, оказывавших композитору нередко медвежьи услуги. Не Сахновский ли в своих музыкальных фельетонах объявил Рахманинова «певцом ужаса и трагизма»? Дружественная критика в один голос характеризовала его музыку как «беспредельную и бесконечную элегию без просвета», слышала в ней мелодии «бессилия и обреченности». Как будто он никогда не написал ни до-минорного концерта, ни Второй симфонии, ни «Весны», ни Сюиты для двух фортепьяно, ни Виолончельной сонаты!..

Хуже всего было то, что он сам в какой-то мере поверил им: наверно, так оно и есть! Свою просьбу к Ре о стихотворных текстах в одном из первых писем он закончил словами: «и вот еще что: настроение скорее печальное, чем веселое. Светлые тона мне плохо даются!»

Эту навязчивую мысль Ре прежде всего хотелось рассеять.

«Холодно, милая Ре, — писал Сергей Васильевич. — Из-за холодов те жуки, которых Вы любите, но которых я терпеть не могу и боюсь, еще, слава богу, не народились... У меня и тут все та же преступная, конечно, «робость и трусость». Всего боюсь: мышей, крыс, жуков, быков, разбойников, боюсь, когда сильный ветер дует и воеет в трубах, когда дождевые капли ударяют по окнам; боюсь темноты и т. д. Не люблю старые чердаки и готов даже допустить, что домовые водятся...»

За шуткой таилось что-то иное, может быть то чувство одиночества и неуютя, в котором жила и творила душа художника. Это чувство было присуще не ему одному.

«Когда я один, мне почему-то становится страшно», — писал совсем еще молодой Чехов.

В присланной Рахманинову по почте «Антологии современных русских поэтов» рукою Ре, крестиками, похожими на «дизеы», были отмечены стихи, которые, как она думала, должна раскрыть музыка Рахманинова.

Лишь очень немногие оказались для него приемлемыми.

«От большинства же стихотворений, — писал он, — я в ужасе». Но рукописная тетрадь, приложенная к антологии, сыграла свою роль и легла в основу нового цикла романсов. Там были «Муза», «Арион», «Буря» на тексты Пушкина, «Музыка» на слова Полонского.

Внутренняя мелодия этих стихов была непривычного для Рахманинова «эллинского» склада. Особенно это ощутимо в «Музе». Он нашел для нее свежие краски и заставил зазвучать.

...И гимны важные, внушенные богами,
И песни мирные фригийских пастухов...

Суровые интонации борьбы слышны в «Арионе» и в «Буре».

Наименее популярным из всего цикла остался, пожалуй, романс на слова Полонского «Музыка».

Замысел, выраженный с предельной простотой, раскрывает на мгновение как бы самое сердце музыки.

И плывут, и растут эти чудные звуки,
Захватила меня их волна,
Подняла, понесла, и неведомой муки
И блаженства полна.
И божественный лик, на мгновенье
Неуловимой сверкнув красотой,
Всплыл, как живое виденье,
Над этой воздушной хрустальной волной,
И отразился,
И покачнулся,
Не то улыбнулся,
Не то прослезился.

Но те, кому посчастливилось услышать эту «улыбку» из уст Леонида Собинова, не забудут ее до конца своих дней.

Бесконечно далеки от истины были рецензенты, обнаружившие в романах цикла некий «эмоциональный холодок». Как и в других циклах, не все романы равноценны. Это бесспорно. Но только глухое, увядшее сердце не откликнется на «Диссонанс», не дрогнет в ответ неутешному горю, выраженному с такой потрясающей силой на трех страничках, посвященных памяти Комиссаржевской.

3

Осенний сезон прошел под знаком симфонических собраний в Москве. От Петербурга Рахманинов наотрез отказался. Здоровье его вновь пошатнулось.

Дирижировал он почти исключительно чужие произведения. Когда-то один журналист, говоря о Рахманинове пианисте-композиторе-дирижере, заметил, что он «жжет свою свечу с трех концов». Но этот третий конец неожиданно оказался очень ярким.

То, что Рахманинов показал Москве на этих филармонических вечерах, граничило порой с откровением.

Многим показалось, что они впервые услышали Четвертую симфонию Чайковского, обрела свое второе рождение полузабытая Вторая, Богатырская — Бородина.

Исполнение «Сечи при Керженце» было признано гениальным.

Ошеломляющая новизна трактовки, ниспровержение десятилетиями укоренившихся штампов вызвало в среде критиков чувство растерянности.

Сам осторожный Юрий Энгель на этот раз утратил присущую ему сдержанность и объявил Рахманинова «дирижером божьей милостью», противопоставив его имя западным титанам — Никишу, Малеру и Колонну.

Интерпретация сюиты Грига заслужила горячие похвалы. Однако критик тут же не преминул упрекнуть музыканта за произвольную трактовку соль-минорной симфонии Моцарта. А вот что припомнил об этом много лет спустя композитор Н. К. Метнер: «...Еще неожиданнее было впечатление от симфонии соль-минор.

Не забуду рахманиновского Моцарта, неожиданно приблизившегося к нам, затрепетавшего жизнью и все же подлинного... Не забуду испуга перед ожившим «покойником» одних, радостного изумления других и, наконец, мрачного недовольства собою самого исполнителя, заявившего после исполнения:

— Это все еще не то, не то...

Другими словами, то, что нам казалось высшим достижением, для него самого было лишь одной из ступеней к нему...»

Только в двух камерных вечерах, где он аккомпанировал Неждановой, прозвучали некоторые из его новых романсов.

Пятого декабря Рахманиновы всей семьей на три месяца выехали за границу. Событие, запомнившееся надолго, непосредственно предшествовало отъезду.

Во время последнего симфонического произошла, наконец, встреча Рахманинова с Ре, несколько неожиданная для обоих. Тайна псевдонима Мариэтты Сергеевны Шагинян была раскрыта еще осенью Слоновым, но повода для встречи не было.

В артистической во время антракта девушка, не торопясь, прошла мимо Рахманинова, сидевшего в кресле, и, не утерпев, глянула. Тогда, протянув свою красивую длинную руку, он молча удержал ее за платье. Пораженная, она допытывалась, как он угадал ее. Он объяснил, что она «знакомо поглядела».

Познакомившись, они расстались на полгода.

За месяц в Швейцарии он отдохнул и поправился, но все с лихвой потерял за восемь недель в Риме.

Ему посчастливилось снять ту же квартиру, которую не один раз снимал Модест Чайковский и которая не раз служила Петру Ильичу временным убежищем от бесчисленных друзей. Она состояла из немногих

тихих тенистых комнат, принадлежащих почтенному портному. Квартира сдавалась с полным пансионом. Композитор жил с женой и детьми и трудился с утра до ночи. Ничто так не помогало ему в труде, как одиночество. В этом отношении условия на Пиацца ди Спагна были идеальными. Весь день он проводил за роялем и письменным столом, покуда сосны на горе Пинчио не озарялись заходящим солнцем. Только тогда он бросал перо.

Он работал над Второй фортепьянной сонатой и оркестрово-хоровой партитурой «Колокола». Последняя пришла к нему не совсем обычным путем.

Летом в Ивановке он получил письмо, в котором его просили прочитать недавно вышедший перевод поэмы Эдгара По «Колокола». Эти стихи идеальны для музыки и созданы только для него. Подписи в письме не было. Рахманинов усмехнулся. Но когда он все же стихи прочитал, образ симфонии для хора и оркестра вспыхнул в воображении с неожиданной, подавляющей силой, сломав и оттеснив его прежние замыслы и планы. Это было именно то, чего он искал оцупью на протяжении ряда лет: монументальная поэма о четырех временах человеческой жизни. Это юность, светлая и неудержимая в своем стремлении, это мечты о блаженном счастье, это беды и ужасы, ожидающие человека в пути, и, наконец, — гробовой покой, неизбежный конец земной юдоли.

Вопрос о форме и оркестровых красках не был для него вопросом. Решение вытекало из самого существа замысла. Вот где он сможет, наконец, раскрыть во всю ширь родную и близкую его душе стихию «колокольности» в ее звонах — серебряном, золотом, медном и железном.

Эти звоны царили в его молодые годы в городах России, которые он хорошо знал: в Новгороде, Москве, Киеве. Они катились волнами по лесам и пашням, они провожали каждого русского человека в его пути от колыбели до могилы. Антон Павлович однажды в Крыму обмолвился, что любовь к колокольному звону — это все, что у него осталось от детской веры.

И снова, уже не впервые, вплелись в его партитуру четыре заветных тона новгородской Софии.

Они звучали то нежно, то весело, то жалобно, то грозно. Большая часть жизни музыканта прошла под звон колоколов Москвы.

Звонили они и в Риме. Теплый ветер нес этот звон в открытые окна, вплетаясь в строфы Эдгара По.

Рахманинов по-своему, по-русски, читал текст поэмы. Подобное уже было с ним в дни работы над «Островом мертвых».

Если Константину Бальмонту, переводчику По, хотелось углубить и обострить мистические, ирреальные черты подлинника, то Рахманинов поставил перед собой совсем иную задачу.

Не случайно один из иностранных рецензентов заметил, что автор симфонии снял с поэмы ее вневременный и внепространственный наряд и «одел ее в русское платье».

Тайну анонимного письма открыл старый консерваторский товарищ композитора Михаил Евсеевич Букиник уже после смерти Рахманинова.

В те далекие годы была у Букиника ученица Машенька Данилова, родом из Севастополя, девушка со странностями. Одевалась она своеобразно: носила полумужские пиджачки, галстук и короткие юбки, по-мальчишески стригла волосы. Но при том была женственна, и добра, и совсем не глупа. Была она очень бедна и не могла платить за уроки. Особым талантом, как виолончелистка, не обладала, но была очень музыкальна и свои жалкие сбережения тратила на дешевые билеты в концерты.

Однажды она явилась на урок в необычайном возбуждении и призналась Букинику, что в ее волнении повинна прочитанная накануне поэма Эдгара По.

Она создана для музыки, которую может написать только Рахманинов — ее божество.

Эта мысль стала для нее навязчивой идеей. Она написала в Ивановку.

Так невидимые нити соединяли музыку Рахманинова с сердцами далеких и совсем, казалось бы, чуждых ему людей, его современников.

В мае тринадцатого года у Рахманиновых на Страстном бульваре состоялась первая «семейная» встреча с четой Метнеров и Ре.

Квартира на четвертом этаже большого дома, очень скромная, дышала особым старомосковским уютом. Кроме хозяев, была также Софья Александровна Сатина, показавшаяся Ре с первой же встречи необыкновенно привлекательной душевно.

Обед был итальянским. Хозяин дома собственноручно заправлял салат из омаров, следил за приготовлением макарон и с озабоченным видом расставлял по столу пузатые, в соломенных футляриках бутылки кирпично-красного кианти.

Разговор за столом шел весело, непринужденно, «ни о чем».

«Домашний» Рахманинов, хотя Ре долго мысленно готовилась к этой встрече, все же показался ей неожиданным. Его спокойная простота, чудесная добрая улыбка, заразительный смех, манера, смеясь, морщить лоб, почесывать затылок, низкий и внятный голос и пробегавшая порой по лицу тень какого-то застенчивого лукавства — все это шло вразрез с образом, к которому она привыкла на эстраде.

Метнер был слегка озадачен и разочарован. Он ожидал от этой первой встречи другого.

У Метнеров эти застольные беседы были «ключом к долгому творческому дню», были до предела насыщены глубоким смыслом. Обеденный круг был ареной для оттачивания интеллекта.

Рахманинов на этот раз верил, что именно в «Колоколах», грандиознейшей и, быть может, сложнейшей партитуре своего времени, его творческие способности нашли, наконец, свое полное выражение. В первую встречу с Ре в Москве он только о «Колоколах» и говорил.

Поэтому композитора несколько озадачило то, что новые друзья отнеслись к его работе если не равнодушно, то несколько рассеянно. Это насторожило Рахманинова. Он не согласился проиграть поэму ни у Ре, ни у Метнеров. В «мефистофелевском», как он выражался, присутствии философа Эмилия Карловича он всегда чувствовал себя крайне неуютно.

Но от него не ускользнуло, как и сам Николай Карлович в разговоре упомянул о том, что поэма По с ее «колокольчиками» и «колоколами» кажется ему несколько манерной. Рахманинов вдруг вовсе замолчал о «Колоколах», словно их не было.

Приоритет исполнения поэмы на этот раз перехватил Зилоти для своих концертов. По его вызову Рахманинов в конце ноября выезжал в Петербург.

В первом, камерном, концерте он играл свои фортепьянные пьесы — Вторую сонату, транскрипцию «Сирени», этюды-картины и прелюдии.

Вторая соната очень мрачная, суровая, «ночная». Ее жесткие созвучия вызывают ассоциацию с полуночным боем курантов в покинутом доме, с тютчевской «Бессонницей».

Кто без тоски внимал из нас,
Среди всемирного молчанья,
Глухие времени стенанья,
Пророчески прощальный глас!..

Публика была слегка озадачена. В то же время соната заслужила неожиданно сочувственный отзыв со стороны наиболее заклятого врага — Каратыгина.

Совсем другой была атмосфера в симфоническом тридцатого ноября. Это далеко превзошло то, что бывало когда-то на концертах Чайковского в Петербурге.

Но бушующий зал не ввел в заблуждение автора. То, что эти люди словно лишились рассудка, вовсе не доказывает, что они прониклись величием его замысла. Сама форма, в которой вошла в зал его «колокольная» симфония, — поэма, огромный хор и оркестр Мариинского театра, а может быть, и он сам за дирижерским пультом, непроницаемый, властный, суровый, — все вместе взятое не могло не потрясти их воображения.

Однако спокойнее и увереннее он стал дожидаться московского дебюта.

Генеральная репетиция была назначена на утро шестого февраля 1914 года. Бушевала метель. Выбеленные инеем стекла сеяли в зал скупой и равнодушный свет. Под потолком горела только одна люстра.

Выйдя на эстраду, Рахманинов сразу увидел единственное пустующее кресло, предназначенное Эмилию Метнеру. Философ явился только к началу второй части.

После репетиции москвичи, как обычно, двинулись в артистическую поздравлять автора. Но ни Метнеры, ни Ре не пришли. Николай Карлович спешил домой. При выходе он заметил, что в «Колоколах» его больше всего поразила красота, настоящее излияние красоты».

Ре, глубоко взволнованная, подумала, что сказать только о красоте музыки, которую они только что слышали, значило ничего не сказать.

Восьмого февраля в Москве стоял лютый мороз. На улицах неподвижно повис голубой туман. В тумане над кровлями садилось малиновое солнце. Когда Рахманинов ехал в Благородное собрание, на Театральной площади горели костры.

...Повернувшись к оркестру, он с минуту стоял, низко наклонив коротко остриженную голову.

Толпа притихла под сенью огромных электрических люстр.

Слышишь, сани мчатся в ряд,
Колокольчики звенят...

Казалось, оттуда, с морозных, одетых инеем улиц и площадей, эта песня влетела в нарядный, ярко освещенный зал и понесла на крыльях в неоглядную снежную даль.

Сани мчатся, мчатся в ряд,
Колокольчики звенят.
Звезды слушают, как сани,
Улетая, говорят,
И, внимая им, горят...

Как свежа, как молода была эта первая часть! Но всем показалось, что слишком коротка!..

А затем полился свежий, серебристого тембра голос молодой солистки Большого театра Елены Андреевны Степановой.

Слышишь, к свадьбе звон святой,
Золотой.
Сколько нежного блаженства
В этой песне молодой!

Она парила, эта песня, над волнами хоровых, колокольных и оркестровых масс. Сквозь спокойный воздух ночи, Видно, блещут чьи-то очи...

И тем неожиданнее после этой ночи золотого звона и тихих лучистых звезд человеческого счастья был медный ад набата. В нем с первых же мгновений как бы захлебнулась оттаявшая душа. Люстры вдруг померкли,

кровавые отблески пожара замерцали по сводам, сталкиваясь, настигая и опрокидывая друг друга, в злобе и гневe, в тоске и отчаянии метались звуковые громады.

И, словно неотвратимый итог борьбы, страстей и желаний, после короткой паузы раздался звук железного колокола — равнодушный, пустой, холодный. Удары его падали один за другим, медленной гулкой раскачкой отдаваясь в измученных сердцах.

Хотелось крикнуть: «Остановись, помедли!» Нет, еще...

С колокольни кто-то крикнул,
Кто-то громко говорит,
Кто-то черный там стоит...
...К колокольне припадает,
Гулкий колокол рыдает,
Стонет в воздухе немом
И протяжно возвещает
О покое гробовом.

И вдруг среди наступившей тишины послышался нежный звон арф, запели кларнеты, и вот медленно поднялась и поплыла мелодия виолончелей, теплая, нежная, неповторимая рахманиновская в каждой своей интонации, заливая весь этот черный мир волнами яркого света. И сумрачный образ смерти, поникнув крыльями, отступил в тень.

Много лет спустя взволнованно вспоминал о Рахманинове-дирижере известный русский журналист и критик Влас Дорошевич:

«...Когда в оркестре возникала нежная, прекрасная мелодия, жесты Рахманинова становились такими, словно он нес через оркестр что-то бесценное. Невероятно дорогое и страшно хрупкое. Ребенка ли, хрустальную ли вазу необычайной ювелирной работы или до краев наполненный бокал драгоценнейшего напитка... Вот-вот толкнет его какой-нибудь неуклюжий контрабас или зацепит длинный фагот — и драгоценная ноша упадет и разобьется. Нет границ прекрасному в жизни, и осторожность может быть выражена в формах идеально прекрасных...»

Все поднялись со своих мест, встал и оркестр.

И тут произошло нечто еще небывалое.

Три человека медленно поднялись на эстраду, бережно неся чей-то

дар.

С крестовины, прикрепленной к подставке, свисали, качаясь, гирлянды колокольчиков и колоколов, словно изваянных из плотной массы цветов белой сирени.

Под гром пришедшего в неистовство зала молча стоял виновник торжества. И на лице, обычно замкнутом, суровом, почти надменном, появилась смущенная, даже растерянная улыбка.

Опустив палочку, он беспомощно развел руками и глянул в колышущееся вокруг эстрады море взволнованных лиц, глаз и рук, протянутых к нему с цветами.

Он не знал, что и она, неведомая ему «Белая сирень», там, среди них, глядит на него, смеясь и радуясь его радости и смущению.

Глава восьмая УТРАТЫ

1

На пороге стоял новый, 1914 год.

Ничто, казалось, не предвещало приближения грозы. Глухие подземные толчки и раскаты долетали лишь до очень немногих.

Но чем тверже становилась внешняя видимость существующего правопорядка, тем непримиримее разгоралась борьба в сфере литературы и искусства.

Триумфальный успех «Колоколов» всполошил врагов Рахманинова, и они обрушились на него с давно не слыханной яростью. Самый сильный и наиболее язвительный из их числа, В. Каратыгин, всю мощь шквального огня направил именно на успех музыки Рахманинова у публики.

«Она, — писал он, — отвечает, так сказать, арифметически среднему вкусовому критерию широкой публики. Она преклоняется перед ним потому, что Рахманинов своей музыкой попал как-то в точку среднего обывательского музыкального вкуса...

...Дарование Рахманинова всегда движется по какой-то касательной к искусству линии, только задевает его сферу, никогда не проникая внутрь нее.

...Пышность и нарядность внешней отделки при ничтожности содержания — характерная черта большинства произведений Рахманинова... Они страшно «искренни»... Везде чувствуется живое

«переживание» некоторых, большей частью сильно патетических эмоций. Но они грубы, мелки, аффектированы, эти переживания».

Каратыгину вторили Сабанеев, отчасти Григорий Прокофьев и другие.

«Рахманинов, — позднее писал Сабанеев, — был вообще каким-то ихтиозавром на музыкальном небосводе, вымирающим крупным видом, одним из той породы, что умеют лирически вздыхать и грезить о луне и о любви в то время, когда кругом уже речи далеко не любовные...»

В ту пору их больше всего возмущало, как он, этот наследник Чайковского, вторгся во святая святых символической поэзии и попытался выразить ее божественный глагол вульгарными средствами «архаической» музыкальной речи.

Но едва ли не опаснее врагов композитора были его мнимые сторонники и друзья.

Еще год тому назад Рахманинов получил по почте книгу Эмилия Метнера «Модернизм и музыка». Очень коротко и сухо он поблагодарил автора. За шумными выпадами последнего против модернизма он учуял совсем другое. «Из-под каждой почти строчки, — писал композитор Ре, — мне мерещится бритое лицо г. Метнера, который как будто говорит: «Все это пустяки, что тут про музыку сказано... главное, на меня посмотрите и подивитесь, какой я умный!» И правда! Метнер умный человек. Но об этом я предпочел бы узнать из его биографии (которая и будет, вероятно, в скором времени обнародована), а не из книги о «Музыке», ничего общего с ним не имеющей».

Едва ли этот уничтожающий сарказм дошел в свое время до автора книги, но он почувствовал его интуицией.

Накануне концерта философ записал: «Утром... был на генеральной репетиции «Колоколов» Рахманинова. Не приемлю, хотя принципиально хвалю я буду защищать. Неприятно слышать нарядную музыку, написанную душевно глубоким композитором, не умеющим сказать существенного...

...«Колокола» — либо пустопорожнее место, либо плохо сшитые клочки пестрой нарядной материи с кровью пропитанными лоскутами, служившими перевязкой сердечных и иных ран; плохое искусство очень большого музыканта-неудачника, потуги человека без спинного хребта, психологического атомиста...»

И эти строки не дошли до того, кого они касались.

Зато композитор, хмуря брови, читал цветистые дифирамбы друзей. Неужели и правда он, Рахманинов, «певец» ужаса, отчаяния, беспросветного трагизма, бессилия, обреченности?..

«Погода у нас чудная, — писал Сергей Васильевич Гольденвейзеру из Ивановки в начале мая, — как раз сейчас все цветет: яблони, груши, терн, черемуха. «Как молоком облитые стоят сады вишневые». Сирень зацветет на днях. Я ничего не делаю. Только хозяйничаю, отчего, впрочем, хозяйство не делается лучше».

Но вскоре в письмах зазвучала совсем другая нота,

«...Лето выдалось скверное. Худшего я не помню. Скверно лично у нас, скверно кругом. И чего только нет! И чума и холера, ливни с градом, засуха, неурожай. Лично мы замешаны только в двух последних неприятностях, мною перечисленных, — но зато у меня еще была Танюшкина скарлатина... и полная неудача в работе...»

Понемногу жизнь возвращалась в нарушенную колею. Но, вчитываясь в страницы газет, Рахманинов все более хмурился. Россия семимильными шагами шла на сближение с новыми союзниками по «тройственному согласию». Улицы столицы пестрели флагами. Две недели не гасла иллюминация в честь иноземных гостей: президента Франции Пуанкаре и английского адмирала Битти. Но в звуках торжественных маршей, звучавших на страницах газет, все чаще стали проскальзывать тревожные ноты.

Вдруг столбцы запестрели заголовками: «Босния — Сараево — Франц Фердинанд».

Но и тогда кто мог подумать, что одинокий выстрел террориста увлечет за собой лавину!

Таня поправлялась очень медленно, стала покашливать. Решение созрело молниеносно: ехать в Крым. Отъезд назначили на двадцать второе июля. Но еще девятнадцатого в сумерках под дождем молодой конюх Ивашка, покрыв мешком худые плечи, привез со станции сверток газет и протянул Сергею Васильевичу с жалкой и растерянной улыбкой.

— Что ты? — спросил Рахманинов и, не дожидаясь ответа, развернул «Русское слово».

Вот что: мобилизация!

Не сразу удалось охватить случившееся во всем объеме. Только на другой день, когда Рахманинова самого вызвали в Тамбов как ратника ополчения, завеса слегка приподнялась. Уезжая в город, он посмеивался над домашними, начавшими его оплакивать. Но по дороге в Тамбов в автомобиле смешливое настроение быстро исчезло.

Бескрайнее море вокруг «зеленого острова» вышло из берегов.

По селам звонили колокола, над полями вдоль большака повисли облака пыли. Сплошной лавой катились обозы с запасными на призывные пункты.

На стоверстном пути до города Рахманинов обгонял их непрестанно. Вслед неслись пьяный гогот, свист, улюлюкание, визг гармоники, летели шапки и забористая ругань. Мелькали красные возбужденные лица, дерзко, с издевкой глядевшие прямо в глаза.

Но чуткое ухо слышало в этом диком и грозном гомоне ноту беспредельного отчаяния. И вновь уже не впервые блеснула мысль, что ему, Рахманинову, и многим другим только казалось, будто они знают народ, из недр которого вышли. Да, Россия вновь вытходит из берегов, на глазах раздаются едва затянувшиеся трещины. Безумны затеявшие эту преступную войну на свою гибель.

Вызов оказался преждевременным. До поры музыканта отпустили с миром. Но он привез с собой из Тамбова тяжелое сознание, что, с кем бы мы ни воевали, победы нам не видать.

В разгаре косьбы и молотьбы уже ощутимой стала нехватка рабочих рук.

В полдень девятого августа случилось затмение солнца. Сергей Васильевич был в саду. С гнетущим томительным чувством глядел он на почерневшее небо с мертвыми звездами, на оранжевую полосу за деревьями на горизонте. Все это выглядело как в бреду.

Неожиданно за спиной глухой стук бегущих босых ног. Оглянувшись, он увидел девушку. Словно слепая, не помня себя, она бежала прямо на него.

Он помнил Любашу еще девчонкой. Бойкая, загорелая, живая певунья и хохотушка, она глядела в Ивановке за садом. Ее звонким, от природы поставленным голоском он всегда гордился.

— Куда ты, Люба?.. — остановил он ее.

Ее лицо было залито слезами. Узнав его, она схватилась руками за голову.

— Ох, барин милый, пропали наши головушки! — срывающимся голосом крикнула она и канула в полутьму за деревьями.

Весь день в ушах у него звучал этот крик нестерпимого горя.

Сообщения газет — эта смесь страха, лжи и бахвальства — изо дня в день выбивали его из колеи. Гибель армии Самсонова, слухи о какой-то измене нагоняли ужасную тоску.

В Москве, куда Рахманиновы вернулись в конце сентября, на первый

взгляд все было по-старому. Только чуть прибавилось суеты и многолюдства да военных шинелей на улицах. Ветер трепал белые с красным крестом флаги на крышах лазаретов, по бульварам маршировали новобранцы. В воздухе ощущался слабый запах гари. В Тверской губернии горели леса.

Дома, на Страстном, чисто, уютно. Комнаты проветрены. В вазах свежие цветы. Заждавшаяся гостей Марина поставила на стол миску пахучих щей.

И мало-помалу чувство томящего страха рассеялось.

Война застала за рубежом Шаляпина; неведомо где скиталась Ре.

Рахманинов играл и играл в Москве, Петрограде, Харькове. Одних благотворительных концертов до нового, 1915 года было не меньше пяти.

Композитор неугомымо работал, но только за роялем. Рабочий стол со стопками нотной бумаги оставался запертым на замок. Мысль о концерте внушала ему неприязнь.

3

И вот в январе за две с небольшим недели Рахманинов создал одну из наиболее глубоких и совершенных композиций для хора без сопровождения — «Всенощное бдение».

Темой «Всенощной» была глубокая человечность и горячее сочувствие к людской скорби. В этом сочинении Рахманинов подошел близко к народной первооснове русской музыки, к душе самого народа. «Всенощное бдение» состояло из пятнадцати песен, связанных общей идеей. Девять были написаны на подлинные напевы знаменного письма. В шести остальных, трактуемых свободно, он сознательно подражал древним напевам.

Свой труд он посвятил памяти Степана Смоленского, долголетнего бессменного руководителя Синодального хора, кто незадолго до своей смерти приобщил композитора к сокровищницам древнейших манускриптов, хранимых в ризницах Архангельского собора.

Первое исполнение состоялось десятого марта. Публика, музыканты, критики были на этот раз единомышленны.

«Ее чудо, — писал Григорий Прокофьев, — в сплавле: в слиянии искренности и простоты».

Вечером накануне концерта Рахманинов пришел с партитурой к Тане. Он проиграл все от начала до конца. И впервые в жизни увидел

учителя таким взволнованным. Глаза у Сергея Ивановича были влажны. Он хотел что-то сказать, но, подойдя к окошку, с минуту глядел через гардину на лунную ночь. Потом медленно повернулся к гостю.

— Я поражен, — сказал он, положив руку на плечо Рахманинова.

Засиделись допоздна, такт за тактом по нитке перебирая многоцветную музыкальную ткань.

Когда Рахманинов вышел на крыльцо, месяц стоял высоко над крышей. Закурив, Сергей Васильевич помедлил уходить, глядя на красноватый огонь керосиновой лампы, светившей из окна в безлюдный переулок (Сергей Иванович не признавал электричества). Огонь то примеркал на мгновение, то разгорался снова, и Рахманинов догадался, что хозяин все еще ходит взад и вперед по гостиной. Было тихо. В саду за забором на сухие прошлогодние листья под деревьями ложился слабый морозец. Тут трудно было и поверить, что где-то шумит война.

Четырнадцатого апреля 1915 года неожиданно и нелепо умер Александр Николаевич Скрябин.

Во взглядах на музыку они с Рахманиновым давно разошлись. При встречах у Кусевицкого подчас жестоко спорили. Но, повстречавшись на улице, улыбались друг другу без тени обиды.

Москва музыкальная всколыхнулась. Можно было опровергать Скрябина, возмущаться им, но не любить его, не ценить огромного таланта музыканта, не верить в его искренность было невозможно.

Холодный дождь стучал по крышке гроба, жалил живые цветы, покрывавшие катафалк. Впереди Рахманинова в тонком летнем пальто шел с непокрытой головой Сергей Иванович Танеев. «Эх, как он так беспечно!» — подумал композитор, хотел окликнуть его, расспросить про недавно написанную кантату «По прочтении псалма», но в толпе они потеряли друг друга.

Вскоре после похорон, заглянув на неделю в Ивановку, Сергей Васильевич с семьей уехал на все лето в Финляндию, где Зоя Прибыткова нашла для Рахманиновых дачу.

На первых порах все радовало после Москвы: и шум сосновых чащ, и коврики вереска, и цветной мох на гладких камнях, и спокойное добродушие финнов. С одинаковой приязнью они поглядывали и на русских дачников и на море, когда в тихую погоду за чертой горизонта был еле слышен далекий гуркот немецких гаубиц.

В шестидесяти верстах на другом берегу бухты жили Зилоти.

Вести с войны доносились в Халилу глухо. Газеты приходили на

третий день. Не чая нового удара, композитор налаживал себя на рабочий лад.

Однажды сереньким утром возле калитки остановилась финская тележка. Рахманиновы удивились, увидев Александра Ильича. Очень бледный, совсем на себя не похожий, он сел, молча закурил.

— Скончался... Сергей Иванович, — ни на кого не взглянув, проговорил он.

Свет померк на мгновение.

— Едем, — сказал Рахманинов.

— Поздно, — ответил Зилоти, протянув смятую газету. — Шестого июля, а сегодня уже девятое.

Рахманинов послал телеграмму, а на другой день — некролог в редакцию «Русские ведомости». Поборов привычную замкнутость, он открыл не в музыке, но в словах (и в каких словах!) свою Душу.

«Скончался Сергей Иванович Танеев — композитор-мастер, образованнейший музыкант своего времени, человек редкой самобытности, оригинальности, душевных качеств, вершина музыкальной Москвы...

...Для всех нас, его знавших и к нему стучавшихся, это был высший судья, обладавший, как таковой, мудростью, справедливостью, доступностью и простотой. Образец во всем, в каждом деянии своем, ибо, что бы он ни делал, он делал только хорошо. Своим личным примером он учил нас, как жить, как мыслить, как работать и даже как говорить... Его советами, указаниями дорожили все. Дорожили потому, что верили. Верили же потому, что, верный себе, он и советы давал только хорошие. Представлялся он мне всегда той «правдой на земле», которую когда-то отвергал пушкинский Сальери.

Жил Сергей Иванович простой, скромной, в некоторых отношениях даже бедной жизнью, вполне его удовлетворявшей...

К нему на квартиру, в его домик-особняк, стекались самые разнокалиберные, по своему значению несоединимые люди: от начинающего ученика до крупных мастеров всей России. И все чувствовали себя тут непринужденно, всем бывало весело, уютно, все были обласканы, все запасались от него какой-то бодростью, свежестью... В своих отношениях к людям он был непогрешим, и я твердо уверен, что обиженных им не было, не могло быть и не осталось.

Танеев написал две кантаты, являющиеся его крайними сочинениями... В первой кантате устами Иоанна Дамаскина он пел: «Иду в незнаемый я путь». Во второй в уста господы вложены слова: «Не я ль светила зажег над вашей головой?»

Мне хотелось бы связать эти вырванные фразы и сказать, что «незнаемым» путем Сергей Иванович шел недолго: силами своего ума, сердца, таланта он отыскал свою дорогу, широкую и прямую, показавшую ему путь к последней вершине, где так ярко засиял зажженный им светильник.

И светильник этот горел всю жизнь его ровным, покойным светом, не мерк, не терялся, освещал дорогу всем другим, в свою очередь вступившим в «незнаемый» путь.

И если светильник этот погас теперь, то только вместе с его жизнью.

С. Рахманинов».

Промучившись еще неделю с концертом, он бросил его и поехал к Зилоти. Часами они бродили вдвоем по взморью. Низкое солнце не хотело садиться и слепило глаза. Александр Ильич по натуре своей был слишком здоров. Его неукротимая воля и энергия не могла мириться с долгой пассивностью.

На помощь к нему приехала Зоя, и совместными усилиями они вытащили Сергея Васильевича из «ямы», увлекли в круг нехитрых летних развлечений, на теннисный корт, на песчаный берег. С Зоей Рахманинов стал ходить по грибы спозаранку под мелким морозящем дождем, вспоминая Путьятино, и мало-помалу посветлел.

Но уже в начале июля телеграф принес весть о прорыве фронта под Варшавой, а затем и под Ригой.

Сбитые с успевших обрасти травой окопов миллионные армии дрогнули и покатались на восток, сбивая с насиженных гнезд и гоня перед собой полчища беженцев. Небывалое горе людское шло на Русь. От скрипа телег, от рева голодного скота и горького бабьего плача содрогалась земля. Шли без дорог, очертя голову, по лугам и пашням, оставляя позади холмы полусасыпанных могил.

Однажды вечером с моря уже совсем ясно до Халилы донеслись гулкие удары пушек. Над Гельсингфорсом кружили самолеты с черными крестами на крыльях.

Любезность финнов сразу ощутимо сделалась более сдержанной.

В начале августа Рахманиновы бежали в Москву.

В сентябре Сергей Васильевич впервые играл с Зилоти фортепьянный концерт Скрябина. За этим последовали концерты памяти Скрябина в Петербурге и в Москве.

Желая подчеркнуть личный характер чествования памяти усопшего,

Рахманинов давал концерт от своего имени. Он не уклонялся и от исполнения наиболее «крайних» сочинений. В программах прозвучали и Пятая соната, и «Сатаническая поэма», и «К пламени». Но само исполнение произвело настоящий переполох среди скрябинистов.

Хрупкие, призрачные образы, как бы созданные из эфирных струй, под пальцами Рахманинова неожиданно обрели плоть. Зыбкие формы подчинились стальному ритму. Характер импровизации, присущий исполнению Скрябина, уступил место железной логике, продуманному плану.

Некоторые восприняли это как «дьявольский ход» со стороны Рахманинова, как желание разоблачить, «раздеть» Скрябина, превратив его в «землю на земле».

Страсти продолжали кипеть еще и в те дни, когда Рахманинов привез своего «Скрябина» в Ростов.

Здесь впервые с начала войны он встретился с Ре, которая жила в это время в домике у своей матери в Нахичевани.

С первых же слов разговор зашел о Скрябине.

— Скрябин настоящий большой музыкант, милая Ре. Я слышу ее, эту природную музыкальность, то, с чем он родился на свет, всегда старался слышать в нем ее, и просто ведь долг одного, еще живого, музыканта перед другим, покойным, музыкантом — рассказать публике, как он слышит его музыку, — вот я и езжу по русской земле, рассказываю...

Прощаясь, он неожиданно сказал совсем другим тоном:

— Сегодня не в счет, мы с вами не разговаривали, а разговор у нас обязательно будет.

О чем — Ре не могла догадаться. Оказалось — о смерти.

Две утраты — Скрябина и Танеева, — пережитые одна за другой, не прошли даром, и вновь, как в 909-м году, страх перед неизвестным завладел его душой.

— Личного бессмертия я никогда не хотел. Человек изнашивается, стареет, под старость сам себе надоедает, а я себе и до старости надоел. Но там, если что-то есть, — это страшно.

Дрожь прошла по его лицу.

В это время мать Ре принесла блюдо поджаренных фисташек, которые он очень любил. Еще не в силах оторваться от неотвязных мыслей, гость увлекся угощением и вдруг беззвучно рассмеялся.

— За фисташками и страх ушел куда-то!

Однажды зимой к Рахманинову позвонил Станиславский и попросил приехать по неотложному делу. Рахманинов догадывался, что речь пойдет о музыке к предполагаемой постановке в Художественном театре драмы «Роза и крест».

Навстречу Рахманинову поднялся сидевший рядом со Станиславским очень стройный, изысканно одетый человек с кудрявыми светлыми волосами, следами загара на лице и острыми голубыми глазами.

— Александр Александрович Блок, — представил Станиславский, Гости быстро взглянули друг на друга. Для обоих встреча была несколько неожиданной.

Рахманинов был слегка озадачен. Перед ним сидел не «падший ангел», какого он, может быть, ожидал увидеть, но очень спокойный, очень сильный, молчаливый и, без сомнения, большой человек.

Больше всего поражала его внешняя собранность и полное отсутствие позы.

Разговор продолжался около часа. Говорил главным образом Станиславский, показывая планы постановки, режиссерские схемы, эскизы костюмов и декораций. Среди разговора искоса, не без тайного лукавства он наблюдал своих гостей, при внешнем несходстве в чем-то очень похожих друг на друга.

Блок изредка подавал реплики низким, глуховатым голосом. Минутами, казалось, он думал о своем, о далеком и снова привычным усилием направлял внимание в русло общего разговора.

Рахманинов тоже был рассеян и с напряжением старался уловить основную мысль драмы.

Потом они расстались. Сергей Васильевич взял размеченный литографский оттиск пьесы и на первых порах ничего не обещал. Он унес с собой крепкое рукопожатие сильной и дружелюбной руки.

Сквозь тихий падающий снежок за ним все еще следовал взгляд этих необыкновенных глаз — печальных, допытливых и бесстрашных.

Едва ли он, Рахманинов, в состоянии написать сейчас музыку к этой рыцарской драме, как не смог бы он вновь написать «Франческу».

Он чувствовал ее глубину и понимал, что драма о кресте и розе безмерно далека от тех туманных символов, которые в юные годы отпугивали его от поэзии Блока, но далека она и от тех новых стихов о России, которые уже начали его волновать.

Снег все падал и падал. Прохожие шли нахоясь. Из переулка, переваливаясь и трубя, выкатился огромный санитарный автомобиль. В толпе часто звучала польская речь. Еще осенью поредевшие волны беженцев докатились до Москвы.

Кружится снег,
Мчится мгновенный век,
Снится блаженный брег...

Нет, нет, не для него эта музыка!

Но образ Блока запал в душу композитора.

Может быть, эти удивительные глаза в трудные и «страшные годы России» видят дальше и зорче других? Может быть, им видна уже роковая судьба старого мира, обреченного на гибель? ...Дай гневу правому созреть, Приготовляй к работе руки... Не можешь — дай тоске и скуке В тебе копиться и гореть...

Время бесстрастно отсчитывало часы и минуты.

С большой неохотой, по настояниям Зилоти, Рахманинов поехал на камерный вечер в Малый зал консерватории, где пела его романсы молодая певица Нина Павловна Кошиц, дебютировавшая недавно в опере Зимина.

На эстраду, нерешительно улыбаясь, вышла молодая женщина в черном. Рахманинов недоверчиво поглядел на нее из дальнего угла зала, где сидел с Александром Ильичом. Вдруг он насторожился. Не самый голос поразил его, но что-то другое. Легко и свободно, одним дыханием она находила и доносила до слушающих тончайшие интонации музыки Рахманинова. словно еще тогда, в те незапамятные ивановские дни, она подслушала самое заветное, вложенное композитором в «Сирень», в его песни о весне. Уж не нашел ли он партнера для камерного дуэта, о котором так долго только мечтал?..



С. В. Рахманинов. Портрет конца 1930-х годов.



С. В. Рахманинов в своем кабинете с Сенаре.

В антракте Александр Ильич повел его в артистическую.

Увидав Рахманинова, певица смутилась. В темных глазах блеснул испуг. Краска залила ее лицо, шею.

— Что ж, — улыбнулся Рахманинов, — придется, наверное, бедному автору вам аккомпанировать, если будет на то воля ваша. Может быть, что-нибудь у нас и выйдет...

Снова в круг жизни Рахманинова по приезде из-за границы вернулся Шаляпин. Уже второй сезон он пел, как и Кошиц, в Частной опере Зимина.

Тень отчуждения между певцом и музыкантом давно исчезла. Федор Иванович был, как и прежде, весел, неукротим, неговорчив, полон неожиданных выдумок и неправдоподобных историй. Бесстрашно, во весь голос, громил ставку, двор, как и прежде без спросу врывается в рабочий кабинет композитора.

Шли месяцы... Мало-помалу Рахманинов все дальше уходил от общества, от прежних знакомств в семью, в свои тревожные раздумья. Потому с большой неохотой, только не желая обидеть старого консерваторского товарища, он пошел на свадьбу к Николаю Авьерино. Душой праздника был, разумеется, Шаляпин. Он сделал все, что в его силах, чтобы развеселить угрюмого гостя, и в какой-то мере это ему удалось.

Все же около пяти часов Рахманинов ушел один, не замеченный никем.

И с первым же порывом едкого зимнего ветра угар ночного веселья начал быстро проходить.

Страшной показалась ему Москва, забывшаяся на пороге неизвестного дня. Свинцовое небо, нависшее над скатами снежных крыш, было в движении, в тревоге и непокое. Слабый отблеск уличных фонарей ложился на хлопья стремительно пролетающих облаков.

Обогнув угол дома, он невольно вздрогнул.

Рядом, в глубокой нише парадного подъезда, пошевелилась скорченная фигура женщины, закутанная в рваный платок.

«Замерзнет!..» — подумал он. И, словно в ответ на его мысль, прозвучал с хмельной усмешкой низкий, хриплый голос:

— Не замерзну, барин! Не бойся... Не такое видели... А вот на чаек бы...

Весь содрогнувшись от горькой жалости и стыда, стыда за себя, за других, за весь мир, он высыпал на звонкие каменные ступени горсть серебряной мелочи, все, что у него было с собой, и быстро пошел прочь.

А в ушах вместе с тяжелыми толчками сердца отдавались прочитанные недавно гневные строки:

На непроглядный ужас жизни
Открой, скорей открой глаза,
Пока великая гроза
Все не смела в твоей отчизне.

Глава девятая РАССТАВАНИЕ

1

На рассвете серенького майского дня из окошка вагона Рахманинов увидел синюю пятиглавую громаду Бештау в рамке свежей салатно-зеленой листвы.

Случилось то, чего никто не мог предвидеть, и все творческие расчеты композитора были опрокинуты. Утром на третий день по приезде в Ивановку, садясь за рояль, он почувствовал сильную глубокую ноющую боль в кистевом суставе правой руки. В течение дня она не ослабела. Вся судьба, вся жизнь музыканта оказались поставленными на карту. Врачи потребовали немедленного выезда на Кавказ.

Сперва он поселился в Ессентуках в небольшом частном санатории поблизости от минеральных источников. Владелец санатория, почуяв крупную рыбу, попавшую в его сеть, окружил Рахманинова королевским почетом и комфортом.

Сюда, в эти скучные и чопорные апартаменты, однажды, как снег на голову, явился Шаляпин. Он, как водится, нашумел, повез композитора сперва на Кольцо-гору, а затем к себе в Железноводск.

Но вокруг Шаляпина всегда вертелись какие-то юркие люди, чье общество Рахманинова никак не устраивало. Вскоре Федор Иванович куда-то надолго исчез.

Почти изо дня в день Сергей Васильевич встречался со Станиславским. С ним легче становилось дышать. Его ясный насмешливый ум, казалось, обладал способностью рассекать неразрешимые ситуации. От зорких прищуренных, чуть косящих глаз ничто не ускользало. При первой же встрече Константин Сергеевич понял, что Рахманинову плохо, очень

плохо, и терпеливо начал искать выхода для него.

Но вслед за часами и минутами общения с милыми людьми наступили для музыканта дни и ночи томительного одиночества. В один из таких дней в комнате с опущенными шторами его разыскала Ре. Сутулясь в кресле, Рахманинов говорил о том, что давно не работает и нет у него желания работать от сознания своей неспособности сделаться чем-то большим, чем «известный пианист и зауряд-композитор».

Как в былые годы работалось ему в Ивановке!..

Он вспомнил о своей Первой симфонии. Все лучшее, что в нем есть, в ней уже было, но никто этого не расслышал. Если прищепить пальцами молодой побег, дерево перестанет расти. Его новаторство придушили в зародыше.

Ре, как умела, старалась рассеять этот губительный «дым» неверия.

В тот же день она уехала в Теберду, оставив музыканту тетрадь с подготовленными текстами Лермонтова и современных поэтов. Вскоре, к большому удивлению композитора, некоторые из них начали потихоньку звучать. Но тогда нерушимый «гробовой покой», поддерживаемый в его комнатах, и сами захолустные Эссендуки с кривыми глинобитными домишками, чахлыми акациями и окоченелой грязью вдруг сделались просто несносны.

Посоветовавшись с врачом, он переехал в Кисловодск.

В Кисловодском парке близ «Стеклянной струи» стоял огромный ветвистый платан. Под ним длинная полукруглая скамья со спинкой.

В ранние часы, когда Рахманинов, приходил сюда до завтрака, скамья обычно пустовала. Только раз случилось, что его опередили. На дальнем конце щебетали вполголоса какие-то дамы. Он все же сел, загородившись газетой.

Сдвинув брови, попытался расплести путаную реляцию с Западного фронта. Потом строчки смешались перед глазами.

Дамы умолкли. Он даже не заметил, когда они ушли.

Немного позднее в поле его зрения появился очень красивый и нарядный зонтик, настойчиво чертивший что-то на сыром песке. Композитор досадливо покосился из-за газеты, даже не подумав взглянуть на хозяйку зонтика.

Так продолжалось, покуда он не увидел криво нацарапанные на земле свои инициалы: «С. В. Р.».

Тогда он встал, уронив газету.

— Нина Павловна...

Глаза Кошиц смеялись из-под соломенной шляпки.

— Я все дожидалась: когда же, наконец, рассеется туча...

— Долго ждать!.. — проворчал он и вдруг улыбнулся.

Мелькнула странная мысль, что, наверное, эта встреча как-то переплетется с замыслом его новых романсов. Не потому ли он так ей обрадовался!

Нина Павловна поглядела лукаво.

— А мы поторопим.

— Кто это «вы»? — насторожился Рахманинов.

— Я и Николай Николаевич. Пойдемте...

Николай Николаевич ждал их в конце аллеи и оказался человеком лет тридцати, в белом кителе военного покроя, с остроконечной темной бородкой, каемчатыми серыми глазами и левой рукой на перевязи.

Нина Павловна назвала его доктором. Узнав Рахманинова, он шевельнул густой выгнутой бровью и, здороваясь, низко наклонил голову. Он сказал, что рад встрече, но тут же признался, что ничего не понимает в музыке, хотя и любит слушать ее, как дальний гром или шепот дождя по ночам.

Сперва они встречались не каждый день. А позднее даже часы, лишенные встречи, вызвали томящую пустоту. Так совсем нечаянно сложилось то, что Николай Николаевич однажды шутя назвал «элегическим трио».

Лечение приносило свои плоды. Боль в кисти мало-помалу утихала, пальцы обретали былую подвижность.

Но самым важным для композитора было то, что после пятнадцатимесячного перерыва он начал работать. Цикл из шести песен на слова новых поэтов-символистов, которых в свое время композитор отвергал, возник, разумеется, не случайно. Это был смелый и обдуманый шаг в творческих поисках Сергея Рахманинова. Выйдя из круга образов, вспоивших его музу, он осторожно присматривался к новым. Последние в большинстве случаев казались ему надуманными. Но с годами все чаще приходило на ум композитору, что образы эти в какой-то мере отражают в себе бег времени, эпоху, в которой он живет, и ему, как художнику, трудно от них просто отгородиться. Первый шаг был сделан в «Острове мертвых», потом зазвенели «Колокола». Теперь в шести романсах он пытался найти новое выражение в музыке для неуловимых оттенков поэтического слова.

Некоторые из московских рецензентов слегка заворчали, увидев в изысканности музыкальной речи едва ли не ренегатство. Но и в новом

естестве это был все тот же прежний Рахманинов: и в кудрявой «Ивушке» Александра Блока, и в задорном танцующем напеве «Крысолова» на текст В. Брюсова.

В белоствольной березовой чаще эхо милого голоса повторяет веселое, улетающее «Ау!». Ведет на луг, пестреющий белыми цветами:

...О погляди, как много маргариток
И там и тут!
Они цветут, их много, их избыток,
Они цветут...

А потом ранний, чуть видный в полях рассвет колыхает на крыльях сна.

Не понять, как несет,
И куда, и на чем,
Он крылом не взмахнет
И не двинет плечом.

Романсы были еще в эскизах, но три из них приблизились к завершению. Отдельные движения вокальной партии он проверял вместе с Кошиц.

Когда почему-нибудь не удавалось свидеться вечером, вечер считался потерянным.

«Дорогая Нина Павловна! — писал он на другой день. — Вчера вечером неожиданно пришел Станиславский и остался на весь вечер. Мне очень жаль, что я не смог к Вам прийти. Сегодня надеялся Вас увидеть, но «дождь пошел, и перестал, и опять пошел» («Скупой рыцарь»). Может быть, мы увидимся в 5-30?.. Все планы хороши...»

Но месяц блеснул и умчался.

Накануне отъезда Рахманинова Станиславский пришел в гостиницу «Россия» послушать новые романсы. Он слушал с напряженным вниманием, приподняв густые черные брови, и порой широкие губы раздвигала улыбка, задумчивая, удивительно нежная и немножко лукавая.

Ранним утром Кошиц с Николаем Николаевичем поехали проводить Рахманинова до Минеральных Вод.

Нина Павловна молча глядела в окошко. Николаю Николаевичу через несколько дней предстояло возвратиться на фронт. С недоброй усмешкой поминал он тех, кто тянет Россию в пропасть.

Перед расставанием речь зашла о будущих камерных дуэтах в Москве и в Петербурге в концертах Зилоти.

Когда поезд тронулся, Нина Павловна еще раз помахала ему рукой и вдруг неловко, по-детски, перекрестила на дорогу.

Еще долго вслед поезду летели ее крылатые, в пушистых ресницах, темные глаза.

Над полями висела двугорбая белая шапка Эльбруса.

Так закончилось «элегическое трио».

2

В Ивановке Рахманинова встретила горькая неожиданность. Из писем он знал о приезде отца. Василий Аркадьевич прожил в деревне без малого два месяца, был весел и деятелен, как никогда, ждал сына, а за два дня до его возвращения скоропостижно скончался от паралича сердца. Девочки с охапками цветов, вдруг притихнув, привели музыканта к могиле деда.

В Ивановке было вдоволь хлопот с уборкой. В поле вышли женщины и дремучие старики.

В свободные минуты Рахманинов занимался шлифовкой романсов, набрасывая, пока еще в уме, второй цикл этюдов-картин. Только очень уж они рисовались мрачно!..

И все же он вышел вновь из полосы тяжкого душевного оцепенения. Он думал об этом с улыбкой благодарности, вспоминая «элегическое трио».

Изредка приходили коротенькие письма из Кисловодска, сбивчивые и неровные по настроению.

Двадцать четвертого октября в концерте-дуэте Нины Кошиц с автором Москва впервые услышала новые романсы Рахманинова.

Ночью в саду у меня
Плачет плакучая ива.
И неутешна она,

Ивушка, грустная ива.
Раннее утро блеснет,
Нежная девушка-зорька,
Ивушке, плачущей горько,
Слезы кудрями сотрет...

И повсюду в эту последнюю зиму, где звучали песни в исполнении Рахманинова и Кошиц, слова любви, благодарности и сердечного волнения доходили до эстрады.

Еще и в наши дни композитор Юрий Шапорин вспоминает эти дуэты как «некое чудо исполнительского искусства».

Планы были необъятны... Москва — Петроград — Харьков — Киев... Но в декабре Нина Павловна неожиданно, не посоветовавшись ни с кем, подписала контракт с каким-то импрессарио.

«Неужели это правда?.. — писал Рахманинов. — Почему Вы ничего не сказали!»

Небо хмурилось. Конец Распутина сделался достоянием улицы. Дума кипела, как до краев переполненный котел. Разруха росла не по дням, а по часам. В Петрограде бастовали заводы. Голодные толпы женщин громили продовольственные лавки. Фронт загадочно молчал.

Седьмого января 1917 года в Большом театре состоялся еще невиданный триумф Рахманинова — композитора и дирижера: «Утес» — «Остров мертвых» — «Колокола», Три поры времени.

Несмотря на лютый холод, огромная толпа народу провожала его при разезде и долго не расходилась. Заподозрив политическую манифестацию, в толпе шныряли сыщики.

Рахманинов выехал в Петроград.

В конце февраля в столице, помимо полицейских, по улицам, подбоченьсь, гарцевали казаки. Подземная лихорадка сотрясала огромный город. Возбуждение искало выхода и находило его везде и во всем, даже в овациях любимому музыканту.

Первое исполнение нового цикла этюдов-картин посеяло замешательство в публике. Восемь из девяти были написаны в минорном ключе. Казалось, они вышли одна за другой из тютчевского «ноктюрна»:

О чем ты воешь, ветер ночной,
О чем так сетуешь безумно?
Что значит странный голос твой,
То глухо-жалобный, то шумный?..

Нет в этой зимней ночной музыке ни счастья, ни радости, ни покоя.

Но жизнь упрямо пробивается из облачных складок, бьется, пульсирует. Сколько блеска и красок в остроритмическом этюде си-минор, в этюде ми-бемоль минор! Мастерство пианиста в тот вечер дошло, казалось, до возможного предела.

«...При таких средствах его исполнительства, — восклицал Юрий Энгель, — сама его музыка кажется иногда только придатком его пианистического гения!..»

Каратыгин же договорился до того, что в нотах якобы нет того, что играет этот гениальный музыкант. В самой же музыке видны только «пошлость и бледность рассудка».

Но как ни мрачен сам по себе был этот последний фортепьянный цикл, Рахманинов нашел в себе силы закончить его в тревожном и радостном ремажоре.

В тот вечер этот ремажор прозвучал как набат. Показалось, что ярче вспыхнули люстры, озарив зал ослепительным светом. Люди начали подниматься со своих мест и с последним повелительным и торжествующим рахманиновским «да-да-да» хлынули к эстраде.

Оглушительный гром рукоплесканий потряс белые своды Дворянского собрания, еще украшенные портретами царей.

3

Прежде чем Рахманинов доехал до Москвы, все пришло в движение. Тысячелетний колосс вдруг зашатался, помедлив еще немного, рухнул и рассыпался в прах.

Вешние воды каскадами хлынули на улицы городов и погребенные под снегом поля. Солнце озарило кровли, алые полотнища кумача и толпы, бушующие на площадях, ослепленные, охмелевшие. Все полетело кувырком.

Тринадцатого марта в концерте Кусевицкого звучал концерт

Чайковского. А на другой день Союзу артистов-воинов послал весь свой гонорар от первого выступления «в стране отныне свободной... свободный художник Рахманинов».

В этом счастливом угаре не только работать — спать было трудно. Но мало-помалу в этой кипучей, взволнованной музыке стала проскальзывать нотка растерянности.

Что, собственно, происходит в России? Кто хозяин положения? Только не почтенные господа в накрахмаленных манишках, попивающие чай в палатах Мраморного дворца! Кто же еще?.. Ставка? Фронт?

На страницах газет все чаще мелькало имя Александра Керенского, истерического актера с помятым лицом. Он, как видно, пытался овладеть положением — метался по фронту в военном френче и мятой фуражке и, стоя в автомобиле, кидал зажигательные речи в охмелевшую толпу солдат. И толпа с ревом несла его на плечах.

Куда?.. Опять-таки никто этого не знал, и меньше всего сам герой минуты.

Александр Ильич возбужденно и радостно рассказывал о том, как рабочий Петроград на площади у Финляндского вокзала встречал вернувшегося из-за границы Ленина, как Ленин говорил речь с крыши броневика, как от грома оваций задрожала земля и зашатались здания.

По пути в Ивановку в середине апреля из окошка вагона композитор видел все то же взбаламученное море, алые флаги, kloкочущие вдоль эшелонов толпы в серых шинелях,

В Ивановке было пока относительно тихо. Мужики и бабы добродушно, как и прежде, кланялись незлому и нескупому барину-музыканту, деловито грузили на свои подводы хозяйское сено, зимовавшее в скирдах. На полянах молодого парка мирно и привольно паслись лошади и телята.

В округе, говорили, было куда похуже. В Козловском уезде в пух и прах разнесли помещичью усадьбу. Глубокий внутренний голос твердил Рахманинову днем и ночью, что все происходящее закономерно, как смена времени года и геологических эпох.

«Великая гроза», которую издали услышал чуткий слух поэта, приблизилась.

«Прямо на нас летит птица-тройка, — писал Александр Блок, — и над нами нависла грудь коренника и готовы опуститься тяжелые копыта...»

Долг каждого попытаться побороть в себе вековые предрассудки, укоренившиеся наперекор голосу совести, понять, что созрел, наконец, этот «правый гнев» народа и нет на свете силы, способной преградить ему путь.

«Мне отмщение, и аз воздам...»

И сбудется.

А когда все пройдет, когда схлынет пена ненависти, жизнь обретет, наверное, совсем другой смысл.

Вскоре после приезда в Ивановку Рахманинов получил письмо от молодого музыкального критика Бориса Асафьева с просьбой помочь ему восстановить полный перечень его, Рахманинова, сочинений в хронологической последовательности. Для самого композитора это было более чем кстати. И правда, кажется, пришло время подвести итог уже сделанному. Кто может предугадать, что будет дальше! В постскриптуме, отвечая на вопрос Асафьева, он написал несколько строк о Первой симфонии.

Даже теперь, двадцать лет спустя, они дались Рахманинову нелегко.

«Что сказать про нее?! Сочинена в 1895 году, исполнялась в 1897-м. Провалилась, что, впрочем, ничего не доказывает. Проваливались хорошие вещи и еще чаще плохие нравились. До исполнения симфонии был о ней преувеличенно высокого мнения. После первого прослушивания мнение радикально изменил. Правда, как мне теперь только кажется, была на середине. Там есть кое-где недурная музыка, но есть много слабого, детского, натянутого, выпяченного... После этой симфонии не сочинял ничего около трех лет. Был подобен человеку, которого хватил удар и у которого на долгое время отнялась голова и руки... Симфонию не покажу и в завещании наложу запрет на смотрины...»

Пришел май. Цвет яблонь в сумерках рассеивал под деревьями серебристый полусвет. На кустах наливались лиловые тяжелые кисти сирени. И, словно обезумев, всю ночь напролет пели соловьи.

Новый хозяин, стоя на пороге, деловито оглядывал ивановские поля. А старому следует куда-то на время уехать, собраться с мыслями, пораздумать.

Присмотревшись внимательно к окружающему, Рахманинов понял, что в данное время в Ивановке делать ему попросту нечего.

Боль в суставе руки вновь сделалась ощутимой. Посоветовавшись с ближними, в двадцатых числах мая композитор уехал в Эссентуки.

Накануне отъезда перед закатом прошел небольшой дождь. Дотемна Сергей Васильевич бродил по дорожкам и росистой траве молодого парка, где каждая ветка, каждая пядь земли была ему дорога и знакома. Он знал, что в Ивановку больше не вернется. Он твердил себе, что все кончается на свете, что глупо было бы цепляться за прошлое, отжившее. А сердце не хотело слушать...

За деревьями гасло зарево, вечер перерастал в соловьиную ночь. В чашах здесь и там в каком-то страстном исступлении били, журчали, булькали и звенели хрустальные ключи, разнося без ветра влажное дуновение пахнувшей яблонями прохлады.

А завтра, завтра уже ничего не будет. И первый шумный майский ливень навсегда смоем следы его шагов.

Так нужно!

На кавказских водах былолюдно. Но толпа переменилась. В кипучей гуще людей мелькали выгоревшие на солнце солдатские фуражки, матросские бескозырки.

Рахманинов лечил руку, читал, бродил по парку и избегал встреч со знакомыми. Он писал Александру Ильичу, прося совета. В Ивановку вложено почти все заработанное им на протяжении жизни. Он решил больше туда не возвращаться. Если он сейчас подарит Ивановку крестьянам, то долговые расписки, лежащие на ней, останутся. Таким образом ему остается работать и работать. Но при существующей обстановке он работать не в состоянии. Не уехать ли ему куда-нибудь, например в Скандинавские страны, с семьей?

Он просил Александра Ильича отнестись к нему душевно и помочь развязать узел нерешимости.

Из афиш он узнал о приезде Кошиц и вскоре встретил Нину Павловну в парке. Она то была безудержно весела, то вдруг падала духом, искала помощи и поддержки у него, который сам в ней в эти дни нуждался.

Рахманинов дирижировал «Марсельезой».

Когда концерт кончился, на террасе он неожиданно увидел Ре — и обрадовался ей.

Ночь была темная. Пахло розами, жасмином, сигарами, духами. Но все покрывал аромат нескошенных трав, доносимый свежим ветром с горных пастбищ. Вокруг фонарей роились бабочки.

Собеседница со всегдашней прямоотой убеждала Рахманинова в том, что уехать сейчас — значит потерять не Ивановку, а нечто неизмеримо более важное и дорогое: свое место под солнцем, отчизну.

Он слушал ее, как и прежде, с терпеливой добротой, но сам был где-то уже далеко.

Больше они не встречались.

В Москве дожидались письма. Суть ответа Зилоти сводилась к тому,

что с поездкой за границу нужно повременить. Слишком сложна обстановка, Шаляпин с детьми жил в Крыму и настойчиво звал к себе. Через несколько дней после недолгих колебаний Рахманиновы с курьерским поездом выехали в Севастополь.

В пятом часу на остановке в Лозовой Рахманинов вышел на вокзал. На перроне шел митинг. Войдя в зал, попытался пробраться к буфету. Вдруг горячая твердая рука сжала его локоть.

Он не сразу понял, кто перед ним.

— Доктор, Николай Николаевич!.. Какими судьбами?

Доктор почему-то в ремнях поверх кожаной куртки с защитными погонами. Загорелый, немного заросший, но веселый и в чем-то крепко уверенный. От загара словно посветлели и зорче сделались насмешливые глаза.

Куда? На фронт, разумеется! Там дела!.. Он чему-то засмеялся. Купили папирос и вышли на перрон. Доктор быстро, с любопытством взглянул на Рахманинова.

— Ну как вы? Впрочем, знаю. Трудно вам. И это понятно. Так и должно быть... Недавно видел Нину Павловну.

Рахманинов сказал, что думает уехать. Николай Николаевич вдруг сделался серьезным.

— Вот этого я бы уже никак не сделал, — сказал он, взглядевшись в собеседника с непонятной грустью. — Эх, Сергей Васильевич! Русские мы люди... Ума и таланта у нас палата, а вот терпения— ни на грош. Через три-четыре года ничего тут не узнаете. Хорошо будет. Повремените, подумайте, пока еще не поздно. Пожалеете... Вспомните меня...

Ударил второй звонок.

— Ну, — он крепко сжал руку Рахманинова, заглянул в глаза с нежной усмешкой и вместе с тем предостерегающе.

Через минуту они потеряли друг друга в бегущей толпе.

Рахманиновы сняли небольшую дачу у моря, только не в Мисхоре, где жила семья Шаляпина, а в Симеизе, на пустынном участке берега поодаль от дороги. Дни Сергей Васильевич проводил с девочками, часа два играл, (Еще пригодится, быть может!)

Но под вечер часами бродил по взморью с книжкой, заложенной пальцем. Когда читать становилось темно, садился на обрывчике, облокотясь спиной о нагретый солнцем камень. Рядом темнели кусты дрока с ярко-желтыми пахучими цветами. Над горизонтом синели тучки, порой в них поблескивали зарницы. Море в эти часы выглядело белесым, медленно

катило к берегу гладкие покатые волны, но, дойдя до камней, начинало недовольно ворчать, ворочая крупные гольши. Он внимательно вслушивался в эту воркотню. Чаще всего приходили на память музыканту русские люди, которых он знал и любил. Саша Сатин, Савва Мамонтов, Чехов, Комиссаржевская, Верочка, бабушка Бутакова, няня Пелагея Васильевна и, наконец, сам Сергей Иванович. Где они?.. И как он сам все еще бродит по свету и даже затевает какую-то новую жизнь вдали от родины!..

Часто Рахманинов ездил к Шаляпиным в Мисхор. Дети Сергея Васильевича обожали. В конце садика над берегом стояла мраморная скамейка под сенью вьющихся роз. Там чаще всего и сидели по вечерам.

Федор Иванович под шум прибоя тихонько напевал «Бурлацкую» Рахманинова.

Всю-то ночь мы темную,
Ночь осеннюю...

Голос его звучал то тепло, то сурово, то нежно, то угрожающе. Сам Шаляпин не в пример многим был весел, на что-то надеялся. От поездки Рахманинова не отговаривал, но настаивал на том, чтобы было это ненадолго.

Изредка и Рахманинов садился за рояль. Только он не любил теперь, чтобы его «нарочно» слушали.

И каждый замирал там, где его застигала музыка. Он играл одну за другой прелюдии и этюды-картины, самые лирические в радости и печали и самые русские.

Все же, повстречав своего импрессарио, Сергей Васильевич согласился выступить в Ялте с дирижером Орловым. Он играл концерт Листа. Это было последним выступлением Рахманинова в России.

Накануне отъезда из Крыма он поднялся в Аутку и с полчаса посидел с Марьей Павловной Чеховой на неосвещенной веранде. Потом она пошла проводить его до калитки. Свет из окна ложился на площадку, вымощенную галькой. С Ай-Петри шли тучи. Шумел ветер.

Так кончилось последнее затишье.

В Москве после корниловского мятежа сделалось тревожно. Вечерами улицы словно вымирали. За окнами, сотрясая стекла, проезжали броневики. Начинались грабежи.

Концерты в Москве прекратились. Да едва ли Рахманинов смог бы играть!

Но все же именно в эту пору, к удивлению ближних, он принялся за работу, давно ожидавшую, когда настанет ее черед.

Это была новая редакция Первого фортепьянного концерта. Он в корне переработал фактуру оркестрового сопровождения и приблизил партию фортепьяно к позднейшим своим сочинениям.

В процессе работы пришлось перебрать пожелтевшие страницы ушедшего, воссоздать в памяти музыку юности.

И она зазвучала в последний раз. Все, все — и поездка в Моздочек, и «Светозарный бог», и огни Ивановой ночи, и допытливые темные глаза солдатки на залитом лунным светом железнодорожном переезде...

Он работал легко, с каким-то страстным увлечением. Казалось, он просто не расслышал ударов трехдюймовок, которыми красногвардейцы выбивали засевших в Кремле юнкеров.

Вслед за концертом он написал еще одну пьесу для фортепьяно в неизбежном для композитора реминоре, помеченную четырнадцатым ноября, очень мрачную и жесткую пьесу.

До конца своих дней он почти никогда ее не играл и никому не показывал. Было в ней, вероятно, что-то слишком личное, чего не следовало знать никому. Внешне же в эту пору он выглядел очень спокойным.

А между тем в стране утверждались великие завоевания Октября.

Новая жизнь пускала первые ростки и побеги. Рахманинов заседал в домовом комитете и, когда наступал его черед дежурить, добросовестно шагал ночью у подъезда дома на Страстном бульваре, слушая одиночные выстрелы, долетавшие из глухой темноты.

Однажды на исходе ноября ему доставили телеграмму из Стокгольма. Шведское концертное агентство приглашало Рахманинова дать ряд концертов в Скандинавских странах в сезоне 1917/18 года.

«Вот этого я бы уже никак не сделал!» — прозвучал в памяти предостерегающий голос доктора.

Но все было решено: они уедут ведь только на одну зиму! Ездили же в

Дрезден, и не один раз!..

Наступили последние дни в Москве. Жену и девочек Рахманинов немного раньше переправил в Петроград.

В шестом часу вечера в конце ноября с небольшим чемоданчиком композитор ехал в трамвае, еле передвигавшемся по темным улицам Москвы. В чемоданчике был первый акт «Монны Ванны», записные книжки и партитура «Золотого петушка».

Одна Софья Александровна провожала его. Моросил мелкий дождь. То тут, то там в потемках вспыхивала беспорядочная стрельба. На вокзале их разыскал пожилой служащий, командированный концертным агентством братьев Дидерикс. Он раздобыл билет и помог Рахманинову втиснуться в набитый людьми темный вагон петроградского поезда.

Связи Зилоти и Шаляпина были неисповедимы. Без больших усилий были получены в Смольном визы на выезд всей семьи Рахманиновых сроком на один год.

Суров был в те дни зимний Петроград! По улицам и площадям, казалось, невидимо кружили строфы из не написанной еще поэмы. Она была создана полтора месяца спустя.

Черный ветер.
Белый снег.
На ногах не стоит человек.
Ветер, ветер
На всем божьем свете...

Однажды в метель на набережной Фонтанки Рахманинов услышал за спиной окрик и скрип саней.

Он посторонился.

Седок в военной фуражке и серой бекеше заслонил от резкого ветра лицо. Но глаза Александра Блока невозможно было не узнать. Они глянули в упор на музыканта, но, казалось, не узнали или видели что-то другое. Это продолжалось всего мгновение. Извозчичьи сани пропали в метельном дыму.

Подойдя к перилам мостика, Рахманинов с минуту глядел вниз на проталинку в снегу, где струилась черная ледяная вода. Потом пошел

дальше.

Навстречу по двое в ряд шагали шестеро с примкнутыми штыками в рваных австрийских шинелях, выбеленных вьюгой.

Кругом огни, огни, огни,
Оплечь ружейные ремни.
Революционный держите шаг,
Неугомонный не дремлет враг.

Последний день. Двадцать третье декабря.

Уезжали от Прибытковых. На дворе оттепель, низкое серое небо. В прихожей к дверям сдвинуты чемоданы. Все ходят озабоченные (не забыть бы чего!). Сергей Васильевич в пальто задумчиво смотрел на девочек. Притихшие, смирные, сидят, взявшись за руки, рядом на каком-то сундучке.

В его, Рахманинова, человеческой натуре, наверное, нет того сурового мужества, которое с такой огромной силой выражено в его музыке и исполнительском искусстве. Когда он смотрел на своих «гугулят», их беззащитность обезоруживала его, он терял опору в самом себе и пелена горького страха застилала сознание. В эти последние дни он вконец замучил себя колебаниями. Но внешне это ни в чем не выразалось.

Прежде чем выйти, присели в гостиной при свете коптилки (они только еще начали входить в обиход). Звонок в прихожей. Кто? От Шаляпина. Прислал на дорогу каравай белого хлеба, банку икры и короткую шутивную записочку с напутствием:

«До скорой встречи в Москве». Когда ее ждать, этой встречи?

На Финляндском вокзале сверх ожидания было не слишкомлюдно. На чисто выметенном перроне горел даже электрический свет. Провожала Рахманиновых одна Зоя Прибыткова. Прыгали стрелки

огромных светящихся часов. Еще минута у подножки вагона.

Второй звонок, третий... Из двери ускользящего вагона в последний раз махнула красивая белая рука.

Служащий в таможене покосился на книги, но, увидав детские учебники, улыбнулся. Потом, взглянув на паспорт, совсем просиял, пожелал доброго пути и счастливого возвращения.

Под зимними звездами по хрустящему снегу в открытых санях поехали «на ту сторону», где уже сверкали электрическим светом окна шведского поезда.

За мостом приступ кашля внезапно сжал горло музыканта. Он порывисто оглянулся назад, в непроглядную темноту.

Вот среди сугробов зажегся огонек. Блеснул еще раз и пропал.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ



Глава первая ПО ТУ СТОРОНУ

1

В памяти москвичей на долгие годы сохранилось первое впечатление от небольшой картины Василия Ивановича Сурикова «Меншиков в Березове», показанной на одиннадцатой выставке передвижников. Когда

Сергей Рахманинов увидел ее, ему шел четырнадцатый год, а картина висела в Третьяковской галерее уже долго. Но с той поры он никогда не мог пройти мимо нее, не остановившись.

Почему она пришла ему на память именно в тот серый декабрьский день, он понял не сразу. А когда понял, только сумрачно усмехнулся.

Правда, не сибирская рубленая изба дала ему приют, а чопорный и холодный (почему-то очень холодный) номер фешенебельной шведской гостиницы. Не пурга за окнами, а шумные нарядные толпы, гомон, веселье, огни, большой предпраздничный торг!

Был канун рождества. За окнами просторной полутемной комнаты в сумерках поминутно вспыхивали разноцветные звезды бенгальских огней. Без умолку звонили чужие «пустые», словно жестяные, колокола.

И он сам был вовсе не похож на того властного, заросшего седеющей колючей щетиной и все еще страшного в своем бессилии и падении старика с картины Сурикова. Но было что-то внутренне роднившее их.

Даже в дни крушения Первой симфонии он, Рахманинов, не испытывал такого глубокого, такого беспредельного отчаяния. Его никто не сослал и не изгнал. Он сделал это сам, по своей доброй воле.

Эти рослые, спокойные, очень румяные и самоуверенные люди, учтивые и доброжелательные, были в то же время бесконечно чужими. Подобное чувство к окружающим он за долгие годы испытал впервые.

В середине января 1918 года Рахманиновы выехали через Мальме в Копенгаген по узкому «коридору», свободному от немецких мин. С большим трудом удалось снять нижний этаж зимней дачи в одном из пригородов Шарлоттенмюнде. Первое жилье «по ту сторону» оказалось не слишком уютным.

Незнание датского языка делало на первых порах самые простые вещи сложными.

Наталья Александровна приняла на себя бремя хозяйственных забот. Чтобы облегчить ее труд, Сергей Васильевич вызвался топить печи. Усилия вдохнуть хотя бы призрачное тепло в пустые холодные комнаты отнимали добрую половину дня. Вторую он проводил у рояля. Необходимость беречь руки тяготила его. Начала трескаться кожа возле ногтей.

В феврале Наталья Александровна, поскользнувшись на льду, сломала руку. У девушки, которую нашли Рахманиновы для услуг, обнаружилась эпилепсия.

Пятнадцатого февраля Рахманинов впервые выступил в Копенгагене. Он играл свой Второй концерт с дирижером Хобергом. До конца сезона он

выступил в одиннадцати симфонических и камерных концертах. Это дало возможность расплатиться с долгами.

За эти месяцы созрело важное решение. Он понял, что творить в отрыве от всего, что ему близко и дорого, он не сможет. Это не временно, а, как видно, на долгие годы. Жизнь на чужбине и воспитание девочек потребуют больших затрат. Единственный выход — готовиться к карьере концертирующего пианиста. Гипнотический ореол, окружавший его, авторские в основном, выступления, если еще не рассеялся окончательно, вскоре исчезнет без следа. Он должен отныне полагаться только на свои руки, готовить большой и разнообразный репертуар из чужих произведений. Как художник, он никогда не умел довольствоваться внешним, средним, посредственным. Не техническое мастерство было целью, которую он перед собой поставил, но совсем другое — совершенство творца-музыканта, быть может еще не достигнутое никем.

Долгие годы спустя с улыбкой искренней приязни и благодарности музыкант вспоминал маленькую приморскую страну, приютившую его, ее трудовой народ.

На первых порах все казалось странным: и колонны велосипедистов, нагруженных разнообразной поклажей, катящихся непрерывным потоком по улицам и бульварам, и крылья огромных каменных ветряков, вертящиеся тут же среди города над головами прохожих, и невероятно зеленая трава на дамбах и косогорах, и белые рассыпчатые облака, пролетающие низко над кровлями, задевая трубы с флюгерками. Облака эти, кажется, пахнут водорослями и морем. В облачных складках сквозит бирюзовое северное небо.

— Выступления в Дании, — говорил композитор позднее, — не приносят большого материального успеха, но я делаю это просто для собственного удовольствия. Датчане в музыке, так же как и в технике, отстали примерно на сто лет. Вот почему у них еще осталось сердце. Странно наблюдать целый народ, у которого есть еще сердце! Конечно, скоро этот орган атрофируется и превратится в музейную редкость.

Но пока оно еще билось. И иногда казалось, что это стучит, не умолкая ни ночью, ни днем, сердце поэта, великого сына Дании — Ганса Христиана Андерсена.

Все рушилось в этом мире. Прибалтика, Белоруссия, Украина и Дон лежали поверженные под немецким сапогом.

Еще в июле Рахманинов получил почти одновременно три приглашения из-за океана. Альтшуллер предлагал двадцать пять концертов

в Нью-Йорке, Вольфзоны сулили контракт на два года в Цинциннати. Третье приглашение было самым привлекательным для музыканта — место дирижера Бостонского симфонического оркестра — сто десять концертов за тридцать недель.

Подумав, он отклонил все три, однако стал готовиться к отъезду с семьей в Америку, куда, как казалось ему, пушечная «гроза не долетает».

Там, быть может, он обретет покой для себя, безопасность для семьи и понемногу вернется к музыке, которая в нем замолчала.

Дав прощальный концерт в октябре, он сел вместе с семьей на маленький шаткий норвежский пароход «Бергенсфиорд» и 1 ноября 1918 года отплыл из Христиании в Нью-Йорк. Путь лежал через страшное Северное море. С потушенными огнями, весь трясясь, словно в лихорадке, «Бергенсфиорд» покорно ложился то на левый, то на правый борт, зарываясь носом в клокочущую муть. Свинцовосерое море за ржавыми решетками перил ворочало тяжелые гребнистые валы, ежеминутно вскипавшие грязной пеной. Тревожные звонки поднимали пассажиров по десять раз среди ночи. Надежда на то, что удастся счастливо проскользнуть, нередко совсем уходила. Мир, оставшийся за кормой, казался невероятным, никогда не бывшим. (Время вспоминать еще не наступило.)

Все же на девятый день они приплыли в Нью-Йорк. Тот же Альтшуллер замахал шляпой с высокого пирса и, едва закончился таможенный обряд, примчал гостей в модный в те годы отель «Шерри Незерланд» на бойком перекрестке 59-й и 5-й авеню.

Около полуночи приезжих разбудил невероятный гам и грохот на улице. Гудки автомобилей, дикий свист, вопли, вой сирен, треск, беспорядочная пальба — все сливалось в невообразимый шабаш. За окнами вспыхивали и гасли огни. Невозможно было понять, что там: массовый приступ безумия, налет цеппелинов, светопреставление...

Выглянув за дверь, Сергей Васильевич увидел коридорного, дирижирующего сапожной щеткой. На вопрос разбуженного постояльца он крикнул:

— Перемирие с немцами, сэр! — и куда-то помчался со всех ног.

Это была ночь на одиннадцатое ноября.

Наутро, раньше чем приезжие успели оглядеться, у дверей один за

другим застучались гости.

Первым был Иосиф Гофман, уже начавший полнеть, но все еще легкий, изящный, с ямочкой на подбородке и с пушистыми пепельными волосами. Его всемирная слава достигла своего апогея. Но чувство горячей приязни к русскому товарищу по искусству осталось незабываемым. Оба тотчас же припомнили дни, когда дружески встречались в Москве, Петербурге, Тифлисе без тени соперничества и зависти.

Посыпались советы и наставления. Рахманинов терпеливо выслушивал всех, но поступал по-своему. Он на долгие годы связал свою концертную деятельность с антрепризой пожилого спокойного Чарлза Эллиса и с фортепьяно фирмы Фредерика Штейнвея.

С первых же часов в Америке музыканта задержали, «заговорили», оглушили, засыпали письмами и телеграммами. При скудном запасе английских слов и полном незнакомстве с повадками оголтелых дельцов, закопошившихся вокруг Рахманинова, положение последнего могло сделаться критическим.

Но тут небо послало ему «ангела» в лице некоей Дагмары Райбер, которая без тени льстивой угодливости предложила Рахманинову свои услуги. Датчанка родом и сама хорошая музыкантша, она знала несколько языков и, главное, прекрасно разбиралась в обстановке, среди которой предстояло жить и работать русскому артисту.

Позднее Райбер вспомнила, что при первой встрече Рахманинов выглядел застенчивым, угрюмым, почти несчастным. Такая же молчаливая и еще более застенчивая дочь Татьяна вышла к гостю, держась за отцовский рукав. Четыре года Дагмара Райбер была вожатым Рахманинова в Новом Свете, куда ее не сменил на этом посту Евгений Сомов.

В мире продолжались болезненные судороги. По морям и континентам продолжала свое победное шествие «испанка», унося с собой миллионы жертв. Через неделю заболели Рахманинов и обе девочки.

Когда кризис миновал, врач посоветовал композитору длительный отдых, но, едва поднявшись на ноги, больной стал готовиться к первому выступлению.

Восьмого декабря в маленьком городке Провиденс в штате Ро-Айланд началась концертная страда Рахманинова, продолжавшаяся без перерыва почти двадцать пять лет.

Открылась эра наиболее ошеломляющего успеха а, какого когда-нибудь добивались в Америке иноземные концертанты.

Первые же выступления Рахманинова на концертной эстраде вызвали давно не виданную сенсацию в печати.

«Человек, способный в такой мере и с такой силой выражать свои чувства, должен прежде всего научиться владеть ими в совершенстве, быть их хозяином...

...Он не смотрит на своих слушателей и не игнорирует их. Он просто приказывает им слушать. Ни руками, ни лицом, ни телом он не выражает своего волнения. Он сидит, всецело отдавшись своему труду, он поглощен им, он отдает ему все свои силы, способности».

«Сам Вудро Вильсон, — восклицал другой рецензент, — не способен облечь себя в маску такого непроницаемого академического бесстрастия!»

Это было, разумеется, не случайно. С первых же дней Рахманинов интуицией почувствовал, что теперь, как еще никогда раньше, ему придется защищать себя, свой мир, свою душу от пошлого и праздного любопытства, доходящего до открытой наглости.

Вместе с Дагмарой Райбер еще два маленьких скромных человека пришли на помощь музыканту. Это был прежде всего помощник Эллиса — Чарлз Сполдинг, бесменно сопровождавший композитора в пути. Сергей Васильевич полюбил его за спокойный покладистый нрав и тонкое чувство юмора. Он умел рассмешить Рахманинова при всех обстоятельствах и с невозмутимым хладнокровием отражал самые яростные наскоки репортерской братии. Вторым был пожилой румяный Джубер, настройщик рояля от фирмы «Стейнвей».

После фортепьянного вечера в Нью-Йорке на Рахманинова налетели сразу трое с блокнотами и безапелляционно потребовали раскрыть им программы этюдов-картин и прелюдий.

Он поглядел на них сверху вниз из-под тяжелых век.

— Ах, ведь это для меня, — сказал он, — а совсем не для публики. Я не верю в то, что художник обязан до конца раскрывать свои карты. Пусть каждый дорисовывает от себя то, что он чувствует...

Но сама природа его музыки осталась чуждой американским критикам.

Последний концерт в апреле был дан в пользу «Займа победы» и обставлен с небывалой помпой. Бисировали Хейфец и Рахманинов. Тут же на эстраде был организован какой-то аукцион. Когда фирма механических фортепьяно купила его исполнение до-диез-минорного прелюда за миллион долларов, композитор был сперва ошеломлен, но, поняв суть рекламного трюка, разочарован. Фирма сделала на своей покупке превосходный бизнес.

На лето Рахманиновы сняли дачу близ Сан-Франциско. «Вот где, — подумал он, войдя ранним утром на веранду, — можно собраться с

мыслями, перевести дыхание...» По дощатой лестнице он спустился к берегу. Нежаркое солнце, слабый солоноватый ветерок колыхнули в памяти что-то пережитое в ранней юности. У причала лениво плескалась густая, как светло-лиловое масло, вода, качая белые моторные лодки на привязи. Над голубой бухтой кричали сева­стопольские чайки. А белый город в легкой дымке, рассыпанный там, на дальнем берегу, по высоким лесистым холмам, повис над водой. Дыхание бриза несло запах цветов и хвои, колыхало позолоченные солнцем широкие листья винограда.

«Здесь хорошо, — писал он Дагмаре Райбер, — и воздух как в раю...»

Но «рай» пришел раньше времени и лишь разбередил незатянувшиеся раны.

Рахманинов вновь замкнулся. Через несколько дней он начал готовиться к новому концертному сезону.

3

Контракт был подписан на двадцать семь симфонических и сорок два камерных концерта. В программах камерных были Моцарт, Шопен, Мендельсон, Лист. В симфонических все еще преобладали Второй и Третий концерты, а также Первый — Чайковского.

Отзывы у прессы о концертах в большинстве благожелательные. Впрочем, всяко бывало...

Некто Олин Доунс, преодолев все препоны, добился у Рахманинова интервью о Третьем концерте.

— Верите ли вы, — спросил он, — что композитор, будучи настоящим гением, раскрывая всю глубину, силу и искренность чувств, в то же время может быть популярным?

Доунс сделал роковой просчет: он не предвидел того, что ухо музыканта в состоянии улавливать тончайшие интонации человеческого голоса.

— Да, я верю, — очень спокойно ответил Рахманинов, — верю в то, что можно быть серьезным, иметь о чем рассказать людям, оставаясь в то же время популярным. Я верю в это. А другие — нет. Они думают точно так же, как и вы.

Слова были подчеркнуты столь красноречивым движением длинного пальца, что интервьюер вдруг онемел, словно пойманный с поличным, и, не проронив ни слова более, откланялся.

Но аудиторию, показавшуюся ему в далекие годы «ужасно холодной»,

словно подменили.

В первые годы его концертные фирмы тратили огромные деньги на рекламу. Но вскоре надобность в этом отпала.

Его узнавали повсюду. Однажды на железнодорожной станции его поразил обыкновенный носильщик.

— Ах, как вы сегодня играли, мистер Рахманинов! — проговорил он.

Не раз случалось, что маленькая продавщица табачного магазина, краснея до ушей, просила разрешения «только пожать его руку».

Неожиданные и ненавязчивые проявления любви и заботы, встреченные в пути, всегда глубоко трогали его и волновали. Со своей стороны, он, как художник, готов был отдать им, этим людям, все самое лучшее, что у него было.

Однажды среди зимы в захолустном городишке в горах Айдахо разразился неистовый снежный шторм. Лишь немногие смельчаки (в большинстве безоглядная молодежь) рискнули добраться до концертного зала, похожего на большой бревенчатый сарай. Малочисленная аудитория не смутила музыканта. По его собственным словам, он играл для них, как ему редко удавалось в жизни.

Мало-помалу один за другим долетали до него голоса друзей, развеянных бурей по свету.

Отвечая Николаю Авьерино в Афинь, Рахманинов писал:

«Как бы бедно ты ни жил, это ничто по сравнению с тем, как живут сейчас в Росший (шел голодный 22-й год). У меня там мать и сестра. И я ничего не в состоянии для них сделать. Но боже тебя сохрани приезжать сюда. Поезжай в Лондон, Париж, но забудь о «Принцессе долларов». В таком же роде он ответил и Р. М. Глиэру, собиравшемуся в те годы совершить концертную поездку по Америке.

«Я счастлив, — писал Рахманинов Метнеру, — что могу «достать» до Вас... Что до чувства отчужденности, я должен сознаться, что тоже испытываю ее здесь. Я вижу мало настоящих искренних музыкантов. Очевидно, Вы последний оставшийся в живых».

Но едва кончилась гражданская война и были сняты рогатки, начала свою деятельность АРА — Американская администрация помощи, и Рахманинов смог, наконец, «достать» до Москвы, до родных и друзей, оставшихся в России.

Вереницы посылок и денежных переводов через АРА и просто по почте потекли на родину в адрес писателей, музыкантов, учителей — всех, кого он знал и о ком только слышал, по адресам университетов, школ, консерваторий и театров, всех, о чьей нужде он дознался стороной.

Это продолжалось не год и не два, но долгие годы. В ответ на его имя плыли через океан груды писем с выражением любви и горячей благодарности.

Хор Мариинского театра — семьдесят подписей. МХАТ «Ваши вечные должники».

Письма он читал. Но устных излияний на эти темы сторонился и даже побаивался.

«Он любил делать людям добро, — писал А. В. Оссовский, — но старался делать его по возможности тайно».

Бежали месяцы. Девочки подрастали. Сперва обе поступили в русскую школу. Но Ирина вскоре, выдержав вступительный экзамен, поступила в колледж. Виделся с ними он лишь урывками, в коротких промежутках между концертными «рейсами». От этого перемены резче бросались в глаза.

Почему-то его смущала их бойкая английская речь, входившая между сестрами в привычку. Его собственная и в ту пору и гораздо позднее оставалась медленной и принужденной.

В то же время разница между девочками чем дальше, тем становилась все более заметной.

«Старшая, — писал он композитору Вильшау, — жизнерадостная и любит Америку. Младшая... сумрачная и терпеть не может Америку. Разница у них этим не ограничивается, точно от разных родителей дети. Часто меня радуют, еще чаще огорчают. Впрочем, где те родители, что своими детьми довольны?..»

Лето 1921 года Рахманиновы провели на даче у лукоморья большой океанской бухты, в пятидесяти милях от Нью-Йорка. Поблизости поселились москвичи Евгений Иванович Сомов с женой и матерью, близкие друзья Сатиных в Москве.

«Воздушные ванны» на широкой приморской автостраде, купание, рыбная ловля, моторные лодки, яркое и немного «колючее» солнце на белом как снег горячем песке — все понемногу вливало свежую кровь в усталое тело. Рахманинов окреп, загорел, изредка начал даже улыбаться.

Новая осень и новая страда. Нередко, вырвавшись из бури овец, Рахманинов делался мрачным и нелюдимым.

«Вот уже четыре года, — писал он Вильшау в Москву, — как я много занимаюсь на фортепьяно. Я делаю успехи, но, право же, чем больше играю, тем больше вижу свои недостатки. Вероятно, никогда не выучусь, а если и выучусь, то накануне смерти разве. Материально я обеспечен... Зато

здоровье портится, да и трудно ожидать обратного, если вспомнить, что всю мою жизнь почти я не ощущал покоя из-за самонеудовлетворения. Раньше, когда сочинял, мучился от того, что плохо сочиняю, теперь — от того, что плохо играю. Внутри себя ощущаю твердую уверенность, что могу делать то и другое лучше. Этим и живу».

В личной жизни с годами Сергей Васильевич становился все более замкнутым. Правда, в кругу немногочисленных близких и, разумеется, русских друзей он преображался, любил посмеяться и сыграть партию-другую в винт или преферанс, порадовать гостей новыми записями для своей великолепной «виктролы» (подарок граммофонной компании «Виктор»). За столом, как и встарь, он был радушный и хлебосольный хозяин. Но от публичных банкетов и обедов уклонялся с необыкновенным упорством. Американцы, в массе своей весьма общительные, никак не могли этого понять. Только раз, уступив настойчивым просьбам Дагмары Райбер, он нехотя пошел на обед в какой-то Богемский клуб. (Обед в его честь?!. Чего ради? — он так и не понял.) Написанная секретарем и вызубренная по шпаргалке речь так и осталась произнесенной. Чтобы утешить Дагмару, он сыграл ее любимое переложение «Сирени».

После этого его оставили в покое.

Окончив сезон, Рахманинов выехал один в Лондон, где не бывал ни разу с начала войны. Но в конце мая 1922 года вся семья съехала в Дрезден, где уже второй год Рахманиновых дожидались Сатины. Вечерами на даче за городом съезжалась шумная молодежь. Тут хозяин не уходил из круга общего веселья и нередко давал тон затеям. В просьбах поиграть никому не было отказа, хотя перед тем, как правило, он проводил по пяти часов за роялем.

Ранней осенью в самом начале сезона кто-то подсказал музыканту идею нанять для поездок отдельный вагон, который сочетал бы в себе гостиницу, рабочий кабинет и средство передвижения.

В вагоне было пианино, отличная спальня и повар-служитель. Первое утро по дороге в Бостон в лесах Адайрондэкс, пахнущих росой и грибами (совсем как в Путятине), его очаровало.

Но вскоре Рахманинов охладел к затее. Свистки и шум станционных маневров по ночам не давали покоя. Пианино звучало мертво и глухо. Хозяину «крытого фургона» сделалось тесно, душно и одиноко в стальной коробке, и еще в декабре он от него отказался.

В апреле 1923 года Рахманинов писал Никите Морозову, что сочинением уже пятый год он не занимается и редко его тянет к этому занятию. Лишь тогда, когда он вспоминает о двух крупных сочинениях,

начатых до отъезда из России. «Начать что-нибудь новое представляется мне трудностью недостижимой... Таким образом, твои советы и новые сюжеты должны пойти в мой портфель и лежать там до моего «пробуждения» или «возрождения».

Ко дню пятидесятилетия композитора прибыло письмо из Москвы с поздравлением, бесчисленными подписями и юбилейная кантата с музыкой Р. Глиэра на текст В. Р. Вильшау.

Мы из родной твоей страны
Шлем нежный, пламенный привет.
Желаем долгих, долгих лет
И новой творческой весны.
Огнем горят сердца друзей:
Виват! Рахманинов Сергей!

В Америке никто, исключая самых близких, не вспомнил про годовщину. Тем глубже тронула музыканта искренняя и единодушная память москвичей.

Не потому ли всего через несколько дней после того он совсем непривычными для себя словами откликнулся на письмо Михаила Николаевича Римского-Корсакова.

«Хочу Вам от себя сказать, как высоко здесь ценится творчество Николая Андреевича, как его здесь почитают. Такие вещи, как «Золотой петушок», «Шехерезада», «Светлый праздник» и «Испанское каприччио», играют всеми обществами ежегодно, вызывая неизменно те же восторги. На меня же лично в особенности три первые произведения действуют болезненно. От сентиментальности ли, может быть мне присущей, от моего ли уже пожилого возраста или от потери Родины, с которой музыка Н.А. так связана (только Россия могла создать такого художника), исполнение этих вещей вызывает у меня постоянные слезы».

Еще в апреле, проезжая окраиной города, Рахманинов увидел из автомобиля театральную афишу. В правом верхнем углу был знакомый

графический знак с чеховской чайкой. Остановив машину, он с минуту стоял, не веря своим глазам.

Это был анонс за четыре месяца вперед о предстоящих в Америке гастролях Московского Художественного театра.

Лето проходило в ожидании. А когда день настал, он принес Рахманинову еще одну радость. Вместе с «художниками» приехал Федор Шаляпин.

Начало концертного сезона Рахманинов отложил на этот раз до 18 ноября, чтобы не пропустить ни одного вечера, ни одного спектакля.

Весь правильный распорядок жизни полетел кувырком. Вторжение Москвы, России в жизнь Рахманиновых было настолько властным и неотразимым, что весь тот беспокойный взбаламученный мир, к которому они за пять лет еще не успели привыкнуть, на время как бы перестал существовать. Молодой соснячок на даче в Лонг-Айлэнде вдруг зашумел под ветром совсем как в Подмоскovie. И в шуме океана послышалась давно знакомая «черноморская» нота.

По четырехполосной автостраде одна за другой катились из города открытые машины. Первыми были Москвин, Лужский с женой и Федор Шаляпин. Федор Иванович был еще в расцвете сил. Призрак страшного недуга, с которым ему суждено было бороться до последней минуты, был пока скрыт за далью лет. Его неукротимое веселье било ключом.

Никто не умел так смешить Рахманинова, как он. Никто так не изображал дырявую гармошку и пьяного гармониста, которого ведут в участок. И все, что он показывал хотя бы в двадцатый раз, звучало у него как новое.

Рахманинов, схватившись за виски, хохотал до слез.

— Я влюблен в Федю, как институтка, — говорил он.

Шаляпин уехал на гастроли в Сан-Франциско. Но «русская осень» только еще начиналась.

В свободные вечера у Рахманиновых собирались недавно приехавшие Фокины, Зилоти, Станиславские, Книппер, Качалов, Москвин.

Вспоминали незабываемые вечера в Аутке у Чехова. Когда Сергей Васильевич слушал говорок Москвина, лицо у него делалось совсем детское, морщины куда-то исчезали.

А со сцены, словно сон об ушедшей навеки жизни, звучали «Царь Федор», «У врат царства», и «Дядя Ваня», и «Месяц в деревне».

Но всему на свете приходит конец.

«Сергей Васильевич провожал нас на пристань, — рассказывал Станиславский. — Поднимаясь по трапу, я взглянул на него. Сутулясь,

стоял он молча и сосредоточенно всматривался в даль моря».

Сатины в Дрездене жили замкнуто. Софья Александровна заботилась о родителях, работала в биологической лаборатории. Как и прежде, много трудилась, читала, думала. Только в письмах на родину изредка высказывала себя чистая русская душа.

«...Я бесконечно благодарна судьбе, — писала она Е.Ю. Крейцер, — что она дала мне возможность опять увидеть всю красоту, величие и душу нашего народа...»

Еще ярче та же нота прозвучала в письмах к Марине:

«...Сколько передумано, перечувствовано за это время, что мы расстались; как глаза открылись на многое из того, на что прежде, если не с благоговением, то с уважением и затаенной завистью смотрела, а теперь пропади они пропадом! Как, с другой стороны, недооценивала, любила, но не чтит все русское! Какое великое счастье, что я русская. Только сейчас не я одна, а мы все, и Сережа в первую очередь, поняли и до дна почувствовали, что это за великая страна!»

Встречи и впечатления этого года не прошли для композитора даром. Душевное оцепенение как бы начало понемногу проходить. Это чувство было для него знакомым. Темная стоячая вода дрогнула, колыхнулась и закружилась медленно в поисках выхода для себя. Пока он, как художник, еще не видел его.

Однажды в Швейцарии Николай Карлович Метнер, озабоченно глядя на старого друга кроткими голубыми глазами, спросил очень осторожно, почему все же он не попробует сочинять.

Рахманинов ответил не сразу.

— Как же сочинять, — проговорил он со слабой улыбкой, — если нет мелодии! Если я... — подумав, добавил он, — если я давно уже не слышал, как шелестит рожь, как шумят березы...

Глава вторая КЛЕРФОНТЭН

С той поры как Рахманинов впервые приехал на лето в Европу, его не покидала мысль об уходе из Америки на восток в более или менее отдаленном будущем, если не на Родину, то все же туда, ближе к милому пределу.

Он хорошо понимал, что время для этого настанет еще, может быть, не скоро.

Между тем связи со Старым Светом крепили.

Осенью 24-го года в Париже князь Петр Григорьевич Волконский сделал предложение Ирине. В письме к Марии Аркадьевне Трубниковой Сергей Васильевич писал о дочерях, что одну уже потерял, а другую не надеется удержать надолго.

С уходом Ирины семья не только поредела, но и как бы «притихла». Большой дом в Нью-Йорке оказался никому не нужным. Рахманиновы сняли небольшую скромную квартиру в относительно тихом районе города, где и прожили последующие восемнадцать лет (вернее зим, на лето в первые годы обычно уезжали во Францию).

Лето 25-го года началось плохо. Давнишняя невралгическая боль в правом виске осложнилась опухолью глаза и привела композитора в клинику.

Едва музыкант начал поправляться, как нелепая смерть бурей ворвалась в семью. В августе неожиданно овдовела Ирина. Утрата оставила после себя след горечи и смятения.

Сезон закончился рано. Но «творческая тишина», которую пытался создать для себя композитор, не давалась. Сперва потребовался музыкальный адрес к шестидесятилетию Глазунова. Затем неожиданно приехал Владимир Немирович-Данченко с эфемерным проектом постановки «Пиковой дамы» на сцене «Метрополитен-Опера» под управлением Рахманинова.

Письма шли нескончаемой вереницей.

Неисправимо доверчивый и неискушенный в практических делах Николай Карлович Метнер сетовал на скардность издателей-«бизнесменов».

«Существуют, — писал в ответ Рахманинов, — три категории композиторов:

...1. Те, что пишут популярную музыку для «рынка».

2. Модную, то есть модернистскую, музыку и, наконец, —

3. Пишущие «серьезную, очень серьезную музыку», как говорят дамы.

К последней категории имеем честь принадлежать и мы с Вами. Издатели очень охотно печатают сочинения первых двух категорий, так как это

хороший «бизнес», а последней — крайне неохотно... Иногда у издателя еще появляется надежда, что автор серьезной музыки приближается к столетнему юбилею или, что еще лучше, что он уже умер и его сочинения могут поэтому сделаться популярными. Но эта надежда никогда не бывает серьезной. Беляев был единственным исключением. Он печатал только серьезную музыку и потерял на этом все свое состояние... Гутхейль, напечатавший почти все написанное мной, одновременно издавал тысячи популярных романсов и вальсов, иначе ему пришлось бы повеситься...»

В конце письма он советовал Метнеру смириться и безропотно принимать условия, которые ему предлагают.

В итоге трехмесячного уединения появился не новый фортепьянный концерт, а всего лишь несколько фортепьянных переложений на темы Фрица Крейсlera и на свою собственную — «Маргаритки».

Накануне отъезда в Европу весной композитор признался Владимиру Вильшау, что охотно писал бы ему чаще, «...если бы не окающая здешняя жизнь, отнимающая вместе с работой весь твой день, и постоянная спешка сделать то, что надо в смысле работы, и то, что не надо и, в сущности, бесцельно, в смысле всяких посещений, отписок, приставания, предложений...»

...Единственного, чего нет в этой стране, это покоя. Впрочем, и в Европе трудно его доставать стало. Или я не умею его устроить, или его быть нигде не может. Так все я спешу с непроходящим сознанием, что не поспею!..»

Только к исходу сентября 1926 года концерт был, наконец, завершен.

В письме к Метнеру он признался, что его больше всего ужасает длина партитуры — сто десять страниц. Все же он возражал против метнеровекого определения «длины» музыкальных сочинений.

«...Можно ли считать вообще, что музыка настолько неприятная вещь, что чем меньше ее, тем лучше?.. Естественно, есть пределы объема музыкальных произведений, и книг, и художественных полотен. Но в этих пределах не длина композиций создает впечатление скуки, но, напротив, скука создает впечатление длины. Песня в две странички, лишенная вдохновения, выглядит длиннее, чем «Кармен» Бизе, а шубертовский «Доппельгангер» кажется мне грандиознее симфонии Брукнера...»

Помимо концерта, была еще одна работа, совсем новая. Он хранил ее в тайне почти по день исполнения.

Наконец в марте концерт предстал на «уд толпы и поругание критики. В последнем Рахманинов не сомневался и не ошибся. Еще в процессе

работы он нимало не обольщал себя по поводу концерта. Вся фактура его тяжелая, вязкая, грузная, лишена былой прозрачности. Местами встречается несвойственная Рахманинову разорванность мысли. Колорит сочинения — «зимний, жесткий, лишенный радости и тепла». Это не речь художника, обращенная к человеческой душе, но долгие томительные поиски какого-то образа, который непрестанно ускользает, не находя своего воплощения.

Едва в ушах автора смолк гром оваций, как перед глазами замелькали язвительные строчки:

«...Новый концерт остается всецело в XIX веке, словно его написал Чайковский...», «Струя Мендельсона...», «...Монотонность трактовки...», «...Внимание блуждает...», «Бледная тень Шумана», «...Много сказано, но ничего важного...»

Таков был общий тон. Но «Три русские песни» для хора с оркестром получили в среде критиков несколько иной резонанс.

Едва ли до них дошло существо замысла, выношенного и выстраданного композитором за годы молчания. Но сама необычность манеры изложения создала у многих впечатление глубокой музыкальной драмы.

История песен не совсем обычна. Первую — «Через речку, речку быстру» — он узнал еще в Москве в далекие годы. Вторую — «Эх ты, Ваня, разудала голова» — услышал от Шаляпина. Третью принесла ему известная в те годы певица Надежда Плевицкая в дни памятной «русской осени» в Нью-Йорке.

Бесхитростный рассказ про горькую женскую долю с первых же тактов захватил композитора своей глубокой искренностью. Страх, тоска, покорность в ожидании мужнего суда и какая-то отчаянная безнадежная удаль — все было в этих строчках.

Белилицы, румяницы вы мои,
Сокатитесь со лица бела долой:
Едет, едет мой ревнивый муж домой...

Еще тогда, аккомпанируя Плевицкой, он нашел острый ритмический подыгрыш, голоса и подголоски будущей партитуры.

Но попытки добиться записи у граммофонной компании «Виктор» не

увенчались успехом. «Кто станет слушать песни на непонятном (варварском) языке!»

Неуспех концерта (хотя сам Рахманинов и не ждал успеха!) оставил надолго тяжелый след в памяти композитора. На вопросы друзей о его творческих планах он только молча хмурился.

Как ни был он удручен, по приезде в Европу Сергей Васильевич подумал прежде всего не о себе, а о Метнере. Николай Карлович был нездоров, подавлен неудачами, материальной нуждой. Затаив свое наболевшее, Рахманинов постарался вдохнуть былую веру в душу старого друга и сумел с присущим ему тактом поддержать Метнеров материально.

Только в августе по настоянию жены Рахманинов согласился поехать на две недели в Швейцарию ради полного и совершенного отдыха (который был для него хуже каторги). Он кротко пообещал только «дышать, гулять и любоваться видами (черт бы их побрал!)».

Дочери композитора в это время путешествовали по Европе.

В конце письма к старому другу Ю. Конюсу Рахманинов без видимой связи добавил: «Это мудро устроено, что смерть убирает постепенно старшее поколение, давая дорогу молодым. Подумайте, что могло бы быть иначе: сколько шума и неприятностей! Старшие должны уходить в сторону, довольствоваться друг другом и размышлять об ошибках молодости».

Под дымовой завесой шутки зрела решимость навсегда отказаться от творческой работы и остаться только пианистом до конца своих дней.

Лето за летом Рахманиновы проводили во Франции. Но, лишь попав в Клерфонтэн, композитор впервые почувствовал как бы слабое дуновение былого приволья, былого покоя, утраченных им навсегда. Трудно было даже вообразить себе такую деревенскую глушь вблизи Парижа, по соседству с чопорной резиденцией президента Франции Рамбуйе. Просторный тесовый дом, соловьи, запах скошенных трав и цветов, заросшие ряской пруды, скирды сена, старые липы. Даже вечерняя прохлада, казалось Рахманинову, как в Ивановке, пахла «дымком» от полевого костра.

По воскресеньям, как правило, из Парижа наезжала русская молодежь. Тяжело работая изо дня в день шоферами, малярами, модистками, в швейных и прачечных, юноши и девушки, увезенные с родины еще детьми и выросшие на чужбине, радовались отдыху, свободе и безудержному

веселью в гостеприимном деревенском доме, где все до мелочей было «порусски». Зачинщиками всяких выдумок были, как правило, сыновья Шаляпина — Борис и Федор.

Подолгу в Клерфонтэне гостила чета Сванов.

Альфред Сван был английский теоретик-музыковед и немного композитор, жена его Екатерина Владимировна — москвичка родом. За долгие годы жизни в России оба впитали русское простосердечие и щедро отдавали его в общении с друзьями. Рахманинов любил Сванов и называл их «Гуси-лебеди».

Метнеры жили по соседству в Монморанси.

С приходом Николая Карловича часто затевалась игра в «бубнового короля». Метнер, весьма импульсивный по натуре, всегда горячо реагировал на проигрыш. Рахманинова это веселило. За дело брались Ирина и Татьяна. Когда дочерям не удавалось всучить гостю злополучного штрафного короля, тут уже Сергей Васильевич сам начинал волноваться.

В Клерфонтэне впервые прозвучал посвященный Рахманинову Второй концерт Метнера для фортепьяно. Акомпанировал Юлий Конюс. Всех слушавших взволновала великолепная темпераментная токката.

Однако для самого Метнера его встречи с Рахманиновым нередко бывали источником тайных огорчений.

Метнер вел замкнутый образ жизни и считал свое искусство чем-то вроде священнодействия, ради чистоты которого он готов был примириться с нуждой и лишениями. В общении с друзьями-музыкантами он был ненасытным, неистощимым собеседником. Рахманинова же, как и в былые годы, всякие философствования на музыкальные темы отпугивали и смущали.

«Я знаю Рахманинова с юношеских лет, — сказал однажды Николай Карлович. — Вся моя жизнь шла параллельно с его жизнью, но ни с кем я так мало не беседовал о музыке, как с ним... Творец должен быть в какой-то мере расточительным. Если бы Рахманинов хоть на короткое время перестал быть деловым человеком, он снова начал бы сочинять. Но он по рукам и ногам связан разными обязательствами, у него все рассчитано по часам...»

А вот что Рахманинов сказал о своем друге:

«...Весь образ жизни Метнера в Монморанси очень монотонен. Художник не может черпать все изнутри: должны быть внешние впечатления. Я ему сказал однажды полушутя: «Вам нужно как-нибудь ночью пойти в притон и как следует напиться. Художник не может быть моралистом...»

Ответ Метнера не дошел до нас. Смог ли тишайший Николай Карлович вообразить себя в противоестественной для него роли ночного гуляки, мы не знаем.

Под конец лета 1928 года Рахманиновых навестил приехавший из Москвы выдающийся русский актер Михаил Чехов.

Свой первый приезд в Клерфонтэн он вспоминает с присущим ему юмором. Перешагнув порог кабинета Рахманинова, Михаил Александрович в безотчетном волнении отдал земной поклон великому музыканту земли русской. Подняв голову он с изумлением увидел перед собой коленопреклоненного Рахманинова. Оба немного сконфуженные — гость и хозяин, — поднялись с коленей, обнялись и неудержимо расхохотались. Маленькая интермедия еще долго служила поводом для веселья за столом.

Концерт в начале осени в Лондонском Альбертхолле надолго запомнился слушателям и концертанту, хотя по разным причинам. На протяжении двух часов он играл, терзаемый жесточайшей невралгией. Тотчас же после концерта он выехал в Париж к врачу. Никто из присутствовавших в зале ничего не заподозрил. О том, какова была игра Рахманинова в этот памятный вечер, нам рассказал один из английских рецензентов.

О сонате Шопена:

«...Он отбросил все привитое штампом и модой. То, что он дал, был его, С. Рахманинова, перевод текста, его собственная потрясающая версия. Для слушающих сонату си-минор... она не оставляла почвы для аргументов и спора. Логика этой вещи была неотразимой, план — непоколебимым, интерпретация — повелительной. Нам не оставалось ничего другого, как благодарить звезды, что мы жили на свете, когда жил Рахманинов, и слышали его во всей мощи его божественного гения, воссоздавшего наново этот шедевр. Один гений протянул руку другому. И при этом нельзя забывать, что Шопен остался Шопеном...»

Но никакие рецензии не могли убедить музыканта. Ни ночью, ни днем его не покидала мысль, что его свершения намного ниже возможностей. В тех крайне редких случаях, когда он был собой доволен, ему чудились недовольство и холодность публики.

Он внимательно прислушивался к отзывам одного Иосифа Гофмана.

«...Многое в Вашем концерте, — писал Гофман, — меня изумило. Но мазурка была превыше всего. Рубинштейн говорил мне однажды во время урока, что, когда я выучусь играть мазурки Шопена, то дальше учиться будет уже нечему. Так почему же вы учитесь?..».

Письмо было адресовано: «Премьеру пианистов С. Рахманинову».

Отвечая, Сергей Васильевич заметил, что «человек должен учиться всю жизнь».

Только неискушенному глазу могло показаться, что Рахманинов, «связанный по рукам и ногам деловыми обязательствами», ненасытный в достижении новых высот в своем магическом искусстве, ничего не видит вокруг себя, не знает, как живут люди по ту сторону блестящей витрины, не слышит, как до глубоких недр своих содрогается самый страшный, самый чудовищный город вселенной.

«Случалось, — вспоминает Альфред Сван, — поздно вечером после трудного концерта возвращаться пешком. Путь лежал лабиринтом еще людных и очень грязных переулков. На перекрестках шел поздний торг. В воздухе висел тяжелый запах бензина и гниющих овощей.

Рахманинов глядел на мир людской нищеты зорким, мудрым, печальным, все замечающим взглядом».

Композитор молчал.

Перед отъездом в Европу компания «Стейнвей» просила его продирижировать тремя концертами из собственных сочинений.

Рахманинов ответил, что публика не интересуется его сочинениями, кроме Прелюдии до-диез минор, и, очевидно, уверена, что ничего лучшего он написать не в состоянии.

Когда заходила речь о его популярности и славе, он любил вспоминать случай из своей практики.

Эго случилось по приезде в Англию. Когда пароход начал пришвартовываться к пристани, он увидел на берегу целую толпу фотографов и репортеров. Покорившись неизбежному, композитор начал медленно спускаться по трапу. Он еще не дошел до его половины, как вся орда газетчиков, словно сдунутая ветром стая воробьев, рванулась в сторону и побежала к другому трапу. Оказалось, что на том же пароходе прибыли чемпион по боксу и популярная кинозвезда. Собственный рассказ неизменно приводил его в веселое настроение.

Один из корреспондентов настойчиво допытывался у композитора, почему он не выступает по радио.

Рахманинов ответил:

— Радио недостаточно совершенный инструмент для интерпретации музыки. В то же время оно позволяет слушать ее слишком комфортабельно. Я не думаю, чтобы можно было чувствовать себя очень уютно, слушая

действительно великие произведения. Чтобы воспринимать хорошую музыку, нужно быть интеллектуально настроенным и эмоционально восприимчивым. Вы не можете быть таким, когда вы сидите дома, положив ноги на спинку стула. Слушание музыки вещь более трудная. Нельзя просто «всасывать» ее в себя!..

Не один раз писалось о том, что с уходом за границу замкнутость Рахманинова, как человека, еще возросла. В то же время столбцы современных композитору газет и журналов пестрят высказываниями его по разным вопросам, нередко в духе вовсе не свойственной ему откровенности. Думается, что его потомки и биографы должны подходить к этим высказываниям с большой осторожностью. Нет сомнений, что многое в этом печатном наследстве не принадлежит Рахманинову. Изумляясь беззастенчивости пишущей братии, он в первое время пытался протестовать и опровергать, но вскоре махнул рукой.

Об этом не следует забывать, как бы велико ни было искушение принять все за правду, как бы ни хотелось нам полнее восстановить дорогой для нас образ человека и музыканта.

Не один раз видные литераторы предлагали Рахманинову свои услуги в качестве историографов его жизни в искусстве. Один из них, англичанин Ричард Холт, сделал свое предложение в весьма тактичной форме. Характер задуманной им книги вызывал у Сергея Васильевича интерес. Не имея времени для переговоров, Рахманинов доверил их Софье Александровне Сатиной, чья жизнь все время шла рядом с жизнью музыканта. Весь его долгий и трудный путь она провожала глазами любящей сестры. Он был уверен, что никто лучше, чем она, не сумеет преградить путь малейшей нескромности. Именно в эту пору Софья Сатина начала свой многолетний труд собирания по крупинке жизненной и творческой биографии Сергея Рахманинова. И если сейчас мы что-то знаем о нем достоверно, то именно ей в первую очередь мы этим обязаны.

Холт умер, не приступив к задуманному труду.

В середине второго лета в Клерфонтэн приехал Оскар Риземан — обрусевший остзейский немец, в свое время окончивший консерваторию в Москве. С ним Рахманинов встречался еще у Гольденвейзера. Искренний энтузиазм к задуманной биографической книге и присущая Риземану манера доверчивого простодушия сделали свое дело. Скрепя сердце Рахманинов согласился ему помочь.

Гуляя с гостем в клерфонтэнских рощах, он кое-что рассказал о себе, а затем направил его к Софье Александровне.

Эта встреча через некоторый срок имела далеко идущие последствия,

которые в ту пору еще трудно было предвидеть.

Уезжая, Риземан пригласил Рахманиновых к себе в Швейцарию. Он жил на озере Четырех Кантонов.

Едва ли приглашение было бы принято. Но именно в эти дни пришла, с большим опозданием, весть о смерти Любови Петровны Рахманиновой. Всю жизнь и при всех обстоятельствах Сергей Васильевич помогал матери материально. Но переписывались они редко.

Она никогда, еще в давние годы, не пыталась, а может быть, просто не умела подойти к сыну ближе, теплее. А его несмелые попытки на этом пути встречала холодно.

Что пользы теперь беречь свою совесть, допытываться, почему так сложилась их жизнь, когда все счета покончены навсегда.

Но в Клерфонтэне среди постоянного шумного многолюдства сделалось композитору непереносимо тяжело. Мигом собравшись, он вдвоем с женой выехал в Швейцарию на автомобиле.

В дороге давнишние раздумья об уходе из Америки и постройке собственного гнезда вновь вернулись к композитору.

В ранних сумерках, выехав из Люцерна по дороге Аксенштрассе, он глянул на озеро, зыбившееся оловянным блеском под набежавшим мелким дождем, и вдруг остановил машину у обочины.

— Ты помнишь это место? — спросил он жену.

Подумав немного, она вспомнила. Да, это была та же массивная, увенчанная деревьями скала, нависшая над тихой водою. Они много раз любовались ею в дни медового месяца, почти тридцать лет тому назад.

Сейчас из-за деревьев выглядывала какая-то довольно уродливая постройка. На полуразрушенных воротах белела табличка «Продается». Они проехали мимо. А через два дня он сказал Наталье Александровне, что купил скалу и хочет на ней строиться.

Она только всплеснула руками. Это безумие! Им, обоим выросшим в степном приволье, поселиться в горах над водою на этом огромном камне, ночью и днем омываемом дождями... Одна мысль об этом внушала ей ужас и отвращение.

Он не стал спорить и промолчал.

Глава третья СЕНАР

Рахманинов всегда был далек от той мышинной суетни, которая шла непрестанно в эмигрантских кружках и группах. Попытки вовлечь его самого в орбиту каких бы то ни было политических махинаций были тщетны. Композитор общался с немногими, по преимуществу с музыкантами, кому также чужда была эта шумная ярмарка живых мертвецов.

Он верил непоколебимо в то, что каждый должен сам расплачиваться за сделанные им промахи и ошибки.

Но, погруженный в свой труд, в свои раздумья, он, наверно, просто проглядел минуту, когда над его родиной зажглось, замерцало хмурое утро. Позднее он с болью понял, что какое-то роковое для него мгновение потеряно безвозвратно.

Напрасно теперь он пытался на страницах московских газет разглядеть черты новой жизни. Когда друзья писали ему о шумном успехе, который неизменно сопровождает концерты из его произведений, он верил им только наполовину. Кому он сам и его искусство нужны в этом кипучем, целеустремленном мире! Если он сегодня вернется домой, на него взглянут, пожалуй, как на одного из тех, кто творит пресловутое «русское дело» за столиками парижских кафе. И кто такой он сам в конце концов? Арион — «таинственный певец», выброшенный грозой на чужой берег, или просто незадачливый пассажир, отставший от поезда, который ушел далеко вперед.

Если композитор, как он писал, никогда не ходил «на собрания и конференции, на которых русские пытались объединиться», то организаторы этих собраний настойчиво, годами, шли за ним по пятам. Им нужен был, разумеется, не он сам, а его имя, прогремевшее на двух континентах. Совсем нечаянно их ожидания увенчались успехом.

В январе 1931 года под одной из деклараций, опубликованных в связи с выступлением Р. Тагора о народном образовании в СССР, в числе многих подписей появилось имя Рахманинова.

Декларациям всякого рода в те далекие годы не было числа, и эта, без сомнения, забылась бы, как забывались другие. Но случилось иначе. Роль «услужливого медведя» сыграл на этот раз давнишний приятель Рахманинова, в прошлом дирижер Мариинского театра Альберт Коутс.

Отличный и талантливый музыкант, прекрасный интерпретатор русской музыки, он, подобно очень многим своим товарищам по искусству, был до предела наивен в вопросах политического такта.

Таковыми же, как это ни странно, оказались и организаторы его московских концертов.

Именно в эти дни, непосредственно последовавшие за опубликованием злополучной декларации, и было объявлено три «экстренных симфонических концерта» Коутса. Гвоздем программы были «Колокола» Рахманинова, показанные с еще небывалым блеском: хор и оркестр Большого театра, солисты Нежданова, Петров.

Кое-кем это выступление было воспринято как открытый вызов. И тут еще многочисленным, по-разному замаскировавшимся российским декадентам и формалистам всех направлений представился долгожданный случай. Последовал ряд шумных резолюций, смысл которых сводился к одному уничтожающему слову — бойкот.

Рахманинов внешне был, как всегда, невозмутим. Наедине со своей совестью он не мог не сознаться, что и на этот раз Москва кругом права. Не только ему, но и его музыке путь на родину закрыт навсегда.

Композитор молчал.

Никто не знал, что у него на душе. Одна только музыка его выдавала.

«...Его игра, — писал «Бруклинский орел» о концертах в Калифорнии, — всегда блестяща, но на этот раз блеск был бездушным...»

Одно письмо из Клерфонтэна, написанное в начале лета, приподнимает края завесы. «...Последние события обрушились на нас, как гроза. Не стоит больше жить на земле!.. И мне кажется, что худшее еще впереди».

2

Постройка дома на скале требовала больших затрат и циклопического труда. Но ничто не могло поколебать музыканта, даже то, что, если верить Бедкеру, бассейн озера Ури издревле славится как одно из самых дождливых мест в Европе.

Однажды вечером на исходе лета в Клерфонтэне приехавший накануне из Парижа Альфред Сван осторожно осведомился о творческих замыслах композитора.

Сергей Васильевич бросил на гостя косой лукавый взгляд.

— Я только что написал вариации для фортепьяно на тему «Фолиа» Корелли... — И, подумав немного, добавил: — Ну что ж, пойдёмте наверх.

Он играл, перелистывая рукопись, но лишь изредка поднимал на гостя глаза.

Слушатель весь насторожился, стараясь не проронить того неповторимо важного, что принудило композитора нарушить долгий обет

молчания.

К этой древней португальской мелодии «Фолье» в свое время обращались Вивальди, Керубини, Бах и Лист. Мало того, как выяснилось позднее, «Фолья» была известна еще задолго до того, как ее нашел Арканджелло Корелли. Глубокая и суровая сдержанность напева, сосредоточенность большого человеческого чувства приковали к себе внимание композитора. Но не холодная стилизация, не реставрация старины стали движущей силой сочинения.

С первых же тактов Сван почувствовал внутреннее духовное сродство «Ла Фольи» с темой Третьего фортепьянного концерта. Одна за другой вариации вели слушателя лабиринтом сложных мелодических и ритмических фигур, словно чья-то неторопливая рука переворачивает страницу за страницей книгу большой беспокойной жизни художника.

— Вот эта сумасшедшая беготня, — говорил Рахманинов, продолжая играть, — нужна затем, чтобы скрыть тему...

Какую тему?.. «Ла Фолью» или другую, более глубокую и важную?

Неразрывная связь музыки с жизнью, прожитой в искусстве, ощутима едва ли не в каждом такте. Никакая «беготня» не в состоянии ее заглушить. В третьей вариации рокочет зловещий подголосок ре-минорной прелюдии (в темпе менуэта), в четвертой явственно сквозят черты мрачной хоральной вариации «на тему Шопена». В пятой на фоне зыбких качаний и мерцаний встает, как живое виденье, «неуловимой сверкнув красотой», лик самой «музыки».

...И отразился,
И покачнулся.
Не то улыбнулся,
Не то прослезился...

Но глубина и страстность душевных порывов остается скованной какой-то безвестной скорбью. Только семнадцатая вариация поднимает ненадолго край завесы. Это как бы далекое эхо одной из самых пленительных песен юности Рахманинова «Не пой, красавица». Оно возвращается снова и снова, чтобы напомнить «другую жизнь и берег дальний». Не тот ли берег, к которому мысленно простирает свои большие, прекрасные, могучие и бессильные руки великий русский художник?..

Вскоре шумные, стремительные каскады смывают навсегда дорогой и заветный образ.

Но последняя, завершающая страница вариаций исполнена как бы тихого раздумья перед нерешенной загадкой молчаливого ожидания, может быть, надежды. Что там дальше за приотворенной дверью?.. Столь необычное завершение крупного замысла чем-то напомнило Свану заключение «Колоколов».

Окончив играть, Рахманинов о чем-то задумался, потом взглянул на замороженного слушателя и опустил глаза на свои пальцы.

— Сосуды начинают лопаться, образуются кровоподтеки, — проговорил он тихо своим медленным низким голосом. — Дома я помалкиваю об этом. Но это может случиться в любом концерте. Тогда несколько минут я не смогу играть. Наверно, старость!.. А в то же время отнимите у меня концерты, и мне конец.

После первого исполнения вариаций в ноябре известный критик и теоретик Яссер пророчил, что «новое сочинение, бесспорно, займет одно из крупнейших мест в вариационной литературе и будет заигрываться пианистами до потери сознания».

Но он ошибся. И по сей день Вариации на тему Корелли — одно из глубочайших и, быть может, прекраснейших сочинений Рахманинова — незаслуженно остаются в тени.

Зимой композитор писал Метнеру, что проиграл Вариации примерно пятнадцать раз, но только одно исполнение было хорошим. «Мною руководит кашель в публике, — писал он. — Когда кашель усиливается, я склонен сократить количество вариаций. В одном городишке кашель был так силен, что я сыграл только десять. В Нью-Йорке я довожу до восемнадцати. Впрочем, я думаю, Вы будете играть все двадцать и не захотите кашлять...»

Он закончил письмо шутливо, слегка перефразируя слова пушкинского Варлаама: «Плохо, сыне, плохо! Ныне христиане скупы стали, деньгу любят, деньгу прячут. Мало богу дают...»

Апогеем сезона был концерт в Чикаго. В программе «Остров мертвых», этюды-картины, Третий концерт.

В одном порыве поднялся весь зал. Все оставались стоять, покуда оркестр отгремел свои фанфары и после того как Рахманинов вывел к рампе дирижера Стона.

«Никогда в жизни, — писал рецензент, — я не видел такого восторга ни в симфоническом, ни в камерном концерте, ни в опере. И никогда, по моему глубокому убеждению, успех не был таким заслуженным. За

непреходящую красоту этой музыки, которую он внес в духовные богатства мира, радость всегда будет жить в нашей благодарной памяти».

Почти накануне отъезда в Европу Рахманинова посетил Иосиф Яссер. Беседа шла о разработанной Яссером 19-ступенчатой тональной гамме. Рахманинов в разговоре вскользь выразил сомнение в правильности пути, избранного современными композиторами, и в их искренности. Яссер возразил, что новое в музыке выражает прежде всего не чью-то индивидуальность, но безостановочный ход истории. Поэтому едва ли можно порицать за это современных музыкантов, живых и мертвых. Не кажется ли Рахманинову, что в наши дни несколько поздно сомневаться, скажем, в искренности Дебюсси или Скрябина!

Рахманинов проговорил, весь как бы погруженный в прошлое:

— Ну, Скрябин... это совсем особый случай...

Была необыкновенная теплота в интонации его голоса. Точно он пожалел рано ушедшего и, как казалось ему, «заблудшего» товарища юных лет.

Рахманиновы приехали в Швейцарию в конце марта 1932 года.

Будущий дом уже обрел свое имя — «Сенар» (Сергей и Наталия Рахманиновы).

Шли дожди. На площадке щебень, грязь, лужи воды.

Но к концу лета участок стал неузнаваем. Трава зазеленела, высадили в грунт лиственницы, клены, серебристые ели. Больше всего Рахманинов хлопотал вокруг берез, приживавшихся не очень охотно. Над берегом уже темнели сосны, серебрились плакучие ивы.

В разгар всех этих событий, в мае месяце, Татьяна вышла замуж за Бориса Юлиевича Конюса. «Вот и старость!» — подумал музыкант с невеселой усмешкой.

Под конец лета он устал. Творческие замыслы были принесены в жертву будущему Сенару.

Финансовая депрессия в Америке и в Европе родила чувство всеобщей подавленности. Люди искали иных возбудителей.

«Огромный пустой зал... — писал Рахманинов. — А позавчера на футбольном матче было пятнадцать тысяч человек. Через пять-десять лет концертов больше не будет... Армия голодных артистов будет маршировать в Вашингтон, где их будут избивать резиновыми дубинками. Так им и надо! Пусть не играют на фортепьяно и не занимаются чепухой...»

В сарказмах композитора было, по сути, очень мало веселого.

Совсем не в пору подоспел шестидесятилетний юбилей. Торжества были задуманы на широкую ногу. Но, едва речь зашла о публичном

чувствовании, концертная администрация почему-то воспротивилась. Устроители были возмущены и оскорблены. Однако пришлось смириться. Празднества ограничились поднесением лаврового венка после концерта и дружеским обедом в скромном ресторане.

Курьезная опечатка в одной из американских газет о предстоящем «восьмидесятилетии» композитора сперва насмешила его, но тут же напомнила, что годы идут.

Под конец сезона в Сан-Антонио произошло нечто напугавшее близких музыканта. Едва он кончил играть, острая боль пронзила его спину. Лишь после того как опустили занавес, ему помогли встать и уйти.

Во время болезни он с жадностью читал письма Чехова. Эти письма были неожиданностью для композитора и сделались неисчерпаемым источником радости до конца его дней. «Какое наслаждение! — повторял он. — Какой мудрый и прекрасный человек... И как жаль, что лишь после смерти я узнал, каков он был на самом деле. Но это естественно. Мы узнаем только после того, как теряем...»

Часто в сумерках, когда он закрывал глаза, ему слышался шум ветра среди молодых кипарисов и хруст морской гальки под неторопливыми шагами хозяина ауткинской дачи.

В Сенаре из россыпей щебня, гравия и битого кирпича поднимались стены и своды дома. На его проект вместе с архитектором он затратил не меньше времени и труда, чем на создание любой из своих крупных симфонических партитур. Деревья буйно зазеленели. Глаз уже угадывал основные массивы будущего парка.

Казалось, что все трудное уже позади и ничто не стоит более между Рахманиновым и его новым замыслом. Но все пошло прахом.

В хлопотах и трудах композитор почти забыл о существовании Риземана и его книги. Велики поэтому были ужас и недоумение музыканта, когда в одно прекрасное утро ему прислали сразу вторую корректуру внушительной книги на английском языке.

Одно уже заглавие просто ошеломило.

«Воспоминания Рахманинова, рассказанные О. Риземаном». Бесцеремонность и нелепые домыслы, которые автор пытался выдать за подлинные, дословные высказывания композитора, неуместные рассуждения о характере и привычках благополучно здравствующего человека показали последнему верхом человеческого бесстыдства.

Он немедленно снесся с лондонским импрессарио Иббсом и наложил свое «вето» в первую очередь на заглавие книги. «Снимите его, и тогда

можете писать все, что вам угодно!»

Риземан впал в отчаяние. Именно заглавие — счастливая находка издателя. Он, Риземан, разорился от затрат на переводчика. Наконец у автора разыгрался жестокий приступ грудной жабы. Боясь, как бы Риземан не умер (что и случилось год спустя), Рахманинов забросил все дела и сам принялся за работу.

Горько сетуя и чертыхаясь, композитор трудился над собственной биографией. Книга от этих трудов едва ли выиграла, но выглядела теперь хотя бы чуточку скромнее.

«Книга прескучная, — говорил он позднее, хмуря брови. — И неправды много. При этом больше не я рассказывал, а Риземан сочинял и выдумывал».

Когда же, наконец, этот ненужный труд был завершён, лето пошло на убыль, и он понял, что время садиться за рояль.

— Вы не устали, Сергей Васильевич?

— Я устал? Нет. Совсем нет.

Чего только он не играл! Но на «бис», почти как правило, — «Тройку» Чайковского, «Контрабандиста» Шумана, иногда свои «Маргаритки» и обязательно — фатальный Прелюд до-диез минор.

Лондонский пианист Бенно Моисеевич рассказал композитору о письме одной титулованной дамы, просившей исполнить прелюд. При этом она спрашивала: «...выражает ли прелюд агонию человека, еще живого, которого заколачивают в гроб гвоздями?..»

Глаза Рахманинова весело блеснули из-под тяжелых век.

— Если прелюд рисует ей такую картину, — сказал он, — я на вашем месте не стал бы ее разуверять.

В артистической, как всегда, была толпа. Рахманинов стоял прямо, пожимая руки, подписывал программы, стараясь ничем не показать того, что он едва стоит на ногах от усталости. Люди шли нескончаемой вереницей: пугливые девушки, не в силах промолвить ни слова, протягивали руки в поношенных перчатках, дряхлые русские старички благодарили за «Московские колокола» (опять прелюд!) и бормотали что-то невнятное, имевшее смысл полвека тому назад. Мальчишка с артистической шевелюрой глянул на музыканта снизу вверх, как на колокольню, и пискнул: «Я тоже играю Аппассионату!»

Они утомляли его. Но жить без них он не мог.

— Я не буду хорошо играть, если меня запрут в сигарном ящике, — сказал он однажды. — Мне нужен контакт и живые люди.

Наконец Сенар был готов.

«Все еще пока голо, — писал композитор Сомову, — но на некоторых деревьях уже видны нежные почки. Это значит, что мы приехали в самое любимое мое время. Каждый день буду наблюдать, как распускаются цветы и деревья...»

Солнце сияло на глетчерах и снежных полях, венчавших зубчатые гребни на том берегу. И все это опрокинутое лежало в тихом зеркале не тронутой ветром озерной воды.

Радость пришла (пусть ненадолго!) в награду за долгие годы борьбы и труда. В ушах звучали страницы еще не написанной партитуры. Но он знал, что следом придет еще что-то, может быть самое важное для него.

В комнаты через широкие, без переплетов, окна косыми снопами падал весенний свет на мебель и желтые квадратики паркета, натертого до зеркального блеска.

Еще не схлынула волна первой радости, как у ворот затрубил грузовой автомобиль. Рабочие бережно внесли в вестибюль обернутый в бумагу великолепный концертный рояль — подарок Сергею Рахманинову от Фредерика Стейнвея.

В мае пришлось уехать на две недели в Париж ради пустячной операции, а затем на месяц на озеро Комо. Но и во сне и наяву он видел один Сенар, представлявший ему самым безмятежным уголком на земле.

Европейское небо между тем перестало быть безоблачным. Над Германией нависли тучи. Появился какой-то дотоле неведомый Гитлер, по-видимому бесноватый. Однако его слушают, за ним идут, и бог знает, к чему это может привести.

Первого июля 1934 года Рахманиновы вернулись «домой».

Странно и как-то неправдоподобно звучало в ушах это слово. Вскоре приехали Ирина и Татьяна с мужем. Сенар пережил второе рождение.

А еще через день-два композитор с головой ушел в работу.

Уезжая в Европу, он просил Сомова выслать ему несколько партитур: «Китеж», «Всенощное бдение», «Золотого петушка».

Но вместе с партитурами прибыли два письма, засланные в Нью-Йорк.

Их получение вызвало у Рахманинова давно небывалый прилив творческих сил.

Одно письмо было от Коутса. Он с радостью сообщал, что бойкот отошел в прошлое и сочинения Рахманинова вновь зазвучали на эстрадах

Советской России.

Второе — из Москвы от Владимира Вильшау. Он рассказывал о концерте в Большом театре. В программе были «Прометей», «Поэма экстаза» Скрябина, а во втором отделении — хоры Мусоргского и «Три русские песни» Рахманинова.

«Я сидел во втором ряду, — писал Вильшау, — занавес поднялся. На сцене был оркестр. За ним в два ряда сидел хор. Второй ряд встал. Молчание — ни кашля, ни шелеста. Мое сердце стучало. Голованов поднял палочку почти внезапно. Громко прозвучали мужские голоса. «Через речку, речку быстрюю», потом женские — с тоской и досадой — «Эх, Ваня...» Но когда на ускоряющемся пиччикато полилась третья — «Белилицы, румяницы вы мои», я просто онемел. Душа не вынесла больше, и слезы покатались по моим щекам. Не могу сказать, как глубоко я был потрясен. Поцеловать тебя мало за эти песни. Только человек, страстно, самозабвенно любящий свою родину, мог их написать. Только человек русский до глубины души. Я первым закричал «Бис!». Успех был огромный, и хор повторил их».

Едва ли еще кому-нибудь из русских музыкантов довелось с такой поистине трагической силой выразить всю глубину невыплаканной женской доли.

Может быть, музыка «Белилиц» возникла и тайно жила в сознании композитора задолго до того, как он впервые услышал слова.

Откуда они, эти занимающие дух подголоски виолончелей?

...Только было всей моей-то тут беды:
У соседа на беседе я была,
Супротиву холостого сидела,
Холостому стакан меду поднесла...

Может быть, они пришли к нему в серых осенних сумерках вместе с дымом полевого костра еще там, там, в невыносимые годы, в отъезде поле за Ивановкой? Или он услышал их в своем встревоженном сердце в лунный вечер на далеком степном переезде?..

Глава четвертая «СВЕТЛИЦА ТИХАЯ»

Лето 1934 года сулило композитору творческую удачу, и на этот раз обещание было выполнено. За семь недель Рахманинов создал одно из наиболее блестящих своих произведений — Рапсодию для фортепьяно с оркестром на тему скрипичной пьесы Николо Паганини. Тема в свое время была уже использована Листом и Брамсом.

Рахманинов пошел своим путем и разработал тему в форме большого цикла вариаций. Программа сочинения, как обычно, осталась в тайне. Если сам композитор гораздо позднее, в конце тридцатых годов, в письме к балетмейстеру Фокину и приподнял край завесы, то, думается, едва ли содержание Рапсодии может быть сведено к эффектному сценическому сюжету.

Ее «музыка рисует трагедию богатой артистической личности, могучему расцвету которой, жажде красоты и духовной свободы противостоит непобедимая злая сила».

Один из критиков заметил уже после смерти композитора, что в «Рапсодии... живые краски уступают место суровой графике, певучая лирика — токкатной виртуозности, костяной четкости...» Едва ли это верно! Тема центральной вариации Рапсодии, прозрачная, как бы овеянная волшебным светом, поднимается до уровня прекраснейших мелодий Рахманинова, созданных в пору творческого расцвета.

Закончив свою «Легенду о Паганини», он впервые за долгие годы вновь испытал то чувство глубокого удовлетворения, какое и в молодости лишь изредка к нему приходило.

Но если лето дано человеку не только как творческий досуг, но и как время для восстановления растроченных сил, то на этот раз музыканту оно просто не удалось.

В конце августа он писал Софии Сатиной в Нью-Йорк: «...Здесь Иббс. Он сообщил мне новость: у меня почти сорок концертов в Европе. Если добавить к этому еще двадцать пять в Америке, то все это должно закончиться похоронной процессией и поминальным обедом...»

Та же нота звучит и в письме к Вильшау в Москву. Про Рапсодию он упомянул, что хочет сдать ее в печать только весной, а предварительно попытается сыграть ее в Нью-Йорке, а потом в Лондоне, чтобы сделать необходимые поправки.

«...Вещь довольно трудная, надо начинать учить, а я с каждым годом все ленивее делаюсь на работу пальцев. Норовлю отделаться чем-нибудь

стареньким, что в пальцах уже сидит...»

Много радости композитору доставляли внуки. Софийке Волконской исполнилось восемь лет. Девочка была смышленная и богато одаренная музыкально.

Саше Конюсу весной минул год. Рос тихий, спокойный и, подобно деду, молчаливый. Они охотно проводили время вместе, занятые каждый своим, и оставались друг другом довольны.

Настала осень, и вновь завертелась чертова карусель! За окошком вагона в ранних сумерках понеслись метеорным потоком, вспыхивая и погасая, станционные огни, зеленые, голубые и алые. Он был в пути «40 дней и 40 ночей».

Вскоре после премьеры Рапсодии в ежемесячнике «Музыкальный рекорд» за ноябрь 1934 года было опубликовано одно из очень немногих интервью с Сергеем Рахманиновым, заслуживающих безусловного доверия: «Композитор как интерпретатор».

Он не пытался утверждать, что композитор всегда лучший исполнитель своих произведений, несмотря на то что Лист и Рубинштейн оба были композиторами. Если его собственное исполнение своих произведений отличается от исполнения чужих, то лишь потому, что он лучше знает свою музыку и подходит к исполнению так сказать «изнутри».

«...Не всегда композитор является идеальным дирижером — интерпретатором своих сочинений. Мне довелось слышать трех великих художников-творцов — Римского-Корсакова, Чайковского и Рубинштейна, дирижировавших своими произведениями, и результат был поистине плачевный. Из всех музыкальных призваний дирижирование стоит особняком — это индивидуальное дарование, которое не может быть благоприобретенным...»

Дирижеру необходимо огромное самообладание, спокойствие (но отнюдь не безмятежность, не равнодушие!), совершенная уравновешенность мышления и полный самоконтроль.

«...Дирижируя, я испытываю нечто близкое тому, что я ощущаю, управляя своей машиной, — внутреннее спокойствие, которое дает мне полное

владение собой и теми силами — музыкальными или механическими, которые подчинены мне...»

Он считает, что есть два качества, присущие композиторам и обязательные для интерпретаторов.

Первое — дар воображения, способность воображать с такой силой, чтобы в сознании возникла яркая, отчетливая картина произведения,

умение воплотить ее в музыке. Он думает, что «композитор-интерпретатор, чье воображение столь высоко развито от природы... имеет преимущество перед артистом только интерпретатором».

Второе — чувство музыкального колорита. Оно было присуще Антону Рубинштейну в высочайшей степени.

Его, Рахманинова, игра изо дня в день бывает разная. «Пианист — раб акустики. Только сыграв первую пьесу, испытав акустику зала и ощутив общую атмосферу, я знаю, в каком настроении проведу весь концерт...»

В каком-то отношении это нехорошо для него, но ему кажется, что «для артиста лучше никогда не быть заранее уверенным в своей игре», чтобы избежать рутины.

Считает ли он, что жизнь артиста-исполнителя отрицательно влияет на его творчество?

Это во многом зависит от индивидуальности артиста. Например, Штраус и Рубинштейн способны были разграничивать сочинение и исполнительство чуть ли не по часам в рамках одного дня.

«...Лично я нахожу такую двойную жизнь невозможной. Если я играю, я не могу сочинять, если я сочиняю, я не хочу играть... Возможно, это потому, что музыка, которую мне хотелось бы сочинять, сегодня неприемлема. А может быть... причина совсем иная... Уехав из России, я потерял желание сочинять. Лишившись родины, я потерял самого себя. У изгнанника, который лишился музыкальных корней, традиций и родной почвы, не остается желаний творить, не остается иных утешений, кроме нерушимого безмолвия нетревожимых воспоминаний».



С. В. Разников.



С. В. Рахманинов с женой в саду у озера на вилле Сенар.

В. Рахманинов с женой в саду у озера на вилле Сенар.
Сезон был закончен в Испании.

В Сенаре в последних числах марта 1935 года стоял жуткий холод. В тумане сквозили горы, покрытые снегом до самой подошвы. И все же для композитора это был рай!

Детей и внуков ждали в этом году не раньше июня. Стало быть, впереди два месяца невозмутимой тишины. Они были нужны ему, чтобы вывести в море огромный корабль нового замысла. Он вынашивал его годами, хранил в этом «нерушимом безмолвии нетревожимых воспоминаний», а может быть, сам того не сознавая, носил его в сердце своем всю жизнь.

В свое время указывалось, что главная тема Третьей симфонии Рахманинова основана на мелодии древнего духовного стиха «Светлица тихая». До сих пор эта догадка не нашла своего четкого подтверждения. Первоисточник напева не был обнаружен. Остается предположение, что

еще в далекие годы в числе многих других тема была занесена в записную книжку композитора и дожидалась своего часа.

Все в этой мелодии привлекало Рахманинова: плавность ритма, неторопливая истовость движения, как в знаменных напевах, передающая глубокую сосредоточенность души человеческой, нерушимую веру в свою правоту.

От поры до времени она приходила к нему на память, особенно в минуты глубокого отчаяния, которое иногда им овладевало. И порой у него мелькала мысль, что, может быть, в этом напеве, простом и величавом, таящем возможности широкого развития, и скрыт тот истинный образ родины, России, который он так настойчиво искал в музыке еще в свои молодые годы?..

Десять лет отделили Вторую симфонию от Первой и почти тридцать лет — Третью от Второй.

Тема во всех трех одна, но не одинаковы смысл, глубина и средства воплощения. Нет сомнения в том, что та же симфония прозвучала бы совсем по-иному, если бы он создал ее на родине.

В начале тридцатых годов, будучи в Каннах, Сергей Васильевич навестил русского писателя Ивана Алексеевича Бунина. Дойдя до калитки крошечного садика, он увидел небольшую, очень ветхую дачу. Внизу, над деревьями и скатами черепичных крыш, голубыми блестками сверкало море.

Жена писателя Вера Николаевна проводила его на пристань. Возле дощатого причала, среди других, качался большой белый бот с подвернутым парусом. На корме, расставив крепкие босые ноги, одинокий матрос в белой шапочке, темном свитере и парусиновых штанах подвязывал блок на гафеле. Издали Рахманинов принял его за мальчика, но, подойдя вплотную, понял свою ошибку. Все же только по глазам, серым и зорким, можно было узнать его. Холодно вопрошая, они взглянули на гостя. И вдруг привычная маска этой бунинской ледяной сдержанности дрогнула. Он сразу же все припомнил: Ялту, Чехова и даже «Ноктюрн» Майкова о тополях и гальционах. Как ни странно, с той поры они встречались мельком всего лишь несколько раз. Бунин и обрадовался, и почему-то смутился, и, чтобы сгладить минутную неловкость, тотчас же предложил гостю пройти под парусом до ближайшего мыска. Оба с юных лет любили шлюпочный спорт. Затаив улыбку, Рахманинов глядел на твердые жилистые руки Бунина, загорелые и огрубелые от ветра и соли.

Позднее часа два просидели на веранде. И тут во многом они резко разошлись, даже поспорили. Невозможно было устоять перед той

ослепительной, поражающей силой ясновидения, непогрешимой точностью глаза, с какой этот большой русский художник двенадцать лет спустя здесь, на чужом берегу, воскрешал образ исчезнувшей России. Оба, и гость и хозяин, каждый по-своему любили ее. Но в душе гостя не было отклика на непримиримую враждебность ко всему происходящему там, наяву, с которой не мог расстаться. Бунин. Его острый озлобленный ум тщетно искал для себя какого-то выхода. В его сарказмах сквозила бессильная и безнадежная тоска. Рахманинов слушал его с чувством жалости и досады.

Обоим равно претила та шумная и бессмысленная возня, которую вели вокруг русские эмигранты. Бунин в общении с «собратьями по перу» был подчеркнута неприятен. Один, наедине с совестью, он таил от всех свою любовь, ненависть и неизбывную боль. В страшные дни войны, в жестокой нужде, почти в нищете, он не пошел ни на какие сделки с врагами русской земли. Рискуя жизнью, сам в течение четырех лет укрывал у себя на даче журналиста, которому грозила смерть от рук оккупантов.

Оба, и гость и хозяин, любили ту, которой нет. Другой они не знали. Один не умел, а другой не хотел узнать.

— Кто же мы здесь? — спрашивал музыкант. — Что же нам, русским художникам, есть чужой хлеб за океаном или тут, в Приморских альпах, беречь свою смешную, никому не нужную «дворянскую честь», даже не попытавшись понять то, что происходит там, по ту сторону?.. — И не получил ответа.

Так и расстались они с грустью, но каждый при своем, ни в чем не убедив друг друга.

Незадолго до смерти Бунин писал Телешову в Москву: «...Я сед, худ, но еще ядовит. Очень хочу домой...»

И вот сейчас в Сенаре, ранним апрельским утром, Сергею Васильевичу почему-то пришла на память эта давняя встреча.

Горы и водная гладь пропадали в тумане. Но над самым берегом среди густой муравы стояли три молодые березки, его гордость и предмет неустанных трудов и огорчений. На ветвях чуть колышутся пурпуровые сережки, вздрагивают едва раскрывшиеся клейкие листочки.

Так же вот стоят они где-то на берегу Оки и будут стоять вечно, над лугом и над пашней будут звенеть жаворонки, с поля веять в лицо теплым березовым дымом и чьи-то до странности знакомые глаза будут глядеть на него с заботой, укором и печалью.

Ну что ж? Одной заботой боле,
Одной слезой река шумней,
А ты все та же — лес, да поле,
Да плат узорный до бровей.

Он провел ладонью по глазам.

Медленно выходя из тумана, поднимались над озером, сверкая посеребрёнными инеем зубцами, сумрачные утёсы Пилата.

Среди лета по настояниям жены Сергей Васильевич нехотя оторвался от работы над симфонией и согласился поехать на пять-шесть недель в Баден-Баден, чтобы подлечить сердце и ревматизм.

В Германии повеяло чем-то новым. По аллеям курортного парка маршировали молодчики в коричневых рубашках под отрывистый лай военной команды. Рахманинов косился на них с плохо скрытым недоумением. Но когда немцы, предъявив музыканту счёт за первые две недели пребывания в санатории, отказались принять от него чек из швейцарского банка, он был возмущён. Когда же ему со всякими обиняками объяснили, что корень недоразумения только в том, что он русский, чаша перелилась через край, и он заявил о своём немедленном отъезде.

Ни объяснения, ни извинения главного администратора и банка, мигом пошедших на попятный, его не поколебали. Прекратив лечение, уже начавшее приносить плоды, он вернулся в Сенар.

В августе 1935 года первая и вторая части симфонии были завершены в эскизах. Симфония была задумана трехчастная, но скерцо было включено как центральный эпизод второй медленной части.

Его тяготил вынужденный долгий перерыв в работе.

В мире не стало покоя. Самолеты Муссолини жгли ипритными бомбами сорговые поля и соломенные хижины абиссинцев. Разгоралось пламя войны в Испании.

В октябре началась восемнадцатая одиссея русского музыканта по северо-восточным штатам.

За окошком, подернутом паром, бежали холмы, золотые, багряные и алые рощи бабьего лета. Улыбаясь осеннему низкому солнцу, мелькали то опрятные белые домики, обшитые тесом, то назойливо яркие щиты рекламы «Стандард ойл», «Лаки страйк», «Кока-кола» и «Чуингэм-риггли». Сплетаясь и расплетаясь уходили вдаль дороги. Вереницами, стаями и

целыми табунами катились по ним тысячи автомобилей всех цветов радуги. Среди нарядных «бьюиков», «паккардов», «крайслеров» и «шевроле» держал путь и совсем скромный серенький «форд», в котором этой осенью странствовали по дорогам Новой Англии, Среднего Запада и Калифорнии советские журналисты Ильф и Петров, первооткрыватели одноэтажной Америки. Их все интересовало: заводы Форда и «фабрики снов» Голливуда, плотины и небоскребы, страшные джунгли Чикаго и «лучшие в мире» музыканты, а больше всего — жизнь простого трудового люда и, разумеется, социальные контрасты «эры процветания» в этой огромной стране, где все одновременно восхищает и ужасает, вызывает жалость и порой отталкивает. Великодушие, гостеприимная щедрость и исступленная алчба, талант и бездарность, несметные богатства и беспросветная нищета.

3

В плане концертного турне Рахманинова по Европе на январь — март 1936 года впервые значилась Варшава.

Эта поездка волновала музыканта. Он знал, что это будет не Россия, но сама близость русского рубежа заставляла сердце биться быстрее.

Зима выдалась снежная. За окнами вагона все было бело. Уже проехав Калиш, он по привычке обратился к проводнику спального вагона по-немецки и был поражен (даже вздрогнул от неожиданности), получив ответ на почти чистом русском языке. В глазах у маленького подтянутого человека в синей тужурке блеснуло что-то теплое, радушное, словно родное. На перроне улыбались постаревшие лица варшавских музыкантов. Цветы, вспышки магния. Но когда он вышел на широкое крыльцо, воспоминания нахлынули на него с такой неодолимой силой, что на минуту он потерял нить мыслей.

Снег, извозчики, шубы и лица прохожих, этот тонкий голубоватый дымок февральского дня, повиснувший над площадью с непогашенными фонарями...

Наверно, он висит и там, за Столицами, за чертой, которую ему не дано перешагнуть.

В гостинице, когда седой усатый метрдотель, похожий на Мазепу, пообещал доставить пану музыканту к кофе по-варшавски настоящий московский калач, он даже засмеялся от радости, что весьма редко с ним случалось вне дома. Не беда, если принесенный ему крендель даже отдаленного родства с калачом не обнаружил. Сердце весь этот день

колотилось без устали.

Слабый ветер из-за Вислы доносил запах древесного дыма.

А следующий день принес музыканту совсем неожиданную встречу. В зале была Елена Рудольфовна Рожанская-Винтер. Ее место было на балконе, вдали от эстрады. Оттуда Рахманинов показался ей таким же, как был прежде, — легким в движениях, молодым. Но это первое впечатление рассеялось, едва она переступила порог артистической.

Она невольно ахнула: старик!..

Он сразу узнал ее, вышел из толпы окружавших его ей навстречу. Ее поразили глаза его, задумчивые, усталые и очень грустные, несмотря на огромный успех концерта.

Они отошли к окошку и проговорили несколько минут. Он припомнил Путятино, сестер Страховых (он встречался с ними в Париже), «Сирень», Иолу Шаляпину. Лицо его озарилось улыбкой.

Чувствуя, что заняла слишком много у него дорогого времени, Рожанская протянула руку и спросила, когда и где они теперь встретятся.

— Не знаю и, увы, не знаю, придется ли нам встретиться вообще. Я больше живу в Новом Свете, чем в Старом.

— А вы разве не думаете вернуться домой, на родину?

— Вряд ли это мне удастся.

— А я вот мечтаю об этом.

— Может быть, я еще горячее и больше, чем вы, стремлюсь туда, но слишком много препятствий.

Он вдруг изменился в лице и как бы стал тяготиться встречей. Они простились, чтобы не встретиться никогда.

В Англии его настигла неожиданная скорбная весть о кончине Глазунова. Весть эта разбередила старую рану. Умереть на чужбине... Он знал, что какая-то решающая минута и для него потеряна бесповоротно. Поздно!

Время ушло далеко вперед. Он остался. Да и не в нем самом те «преграды», о которых он говорил Рожанской! Тысячи невидимых нитей, семья, дети, внуки уже приковали его к этому чуждому миру, в котором он живет и трудится сверх человеческих сил.

Но где бы он ни был, его долг до последнего вздоха делать свое «русское дело», потому что каждый звук, каждая нота, записанная им, сошедшая с клавишей под его пальцами, — для России, ее народа, для ее славы.

В Париж Сергей Васильевич приехал только к концу сезона, в апреле 1936 года.

Когда он встал из-за рояля, привычный гром оваций хлынул из зала. На сцену вереницей потянулись цветочные подношения. Одно из них приковало его взгляд.

В небольшой корзине из золотистой соломки качались тяжелые грозди белой сирени.

«Невозможно!..» — пробормотал он и, сдержанно кланяясь, подошел ближе к рампе. Среди цветов он увидел карточку и на ней знакомые инициалы «Б. С.».

Тайна «Сирени» была раскрыта незадолго до выезда композитора из России.

Ф.Я. Руссо, киевлянка, жена врача, утратившая все, чем дорожила в жизни, в самую критическую минуту неожиданно вновь обрела веру в правду, в добро, найдя для себя душевную опору в музыке Рахманинова, которую страстно любила.

Желание выразить свою горячую благодарность великому художнику красной чертой прошло через всю ее последующую жизнь.

На другой день он писал в Москву «Белой сирени»: «...Вы продолжаете быть ко мне все так же милы и добры, как раньше, и балуете меня своим вниманием и памятью».

Еще осенью прошлого года в письме Владимиру Робертовичу Вильшау он признался, что здоровье его делается дрянным.

«...Разрушаюсь быстро! Когда оно было — отличался исключительной ленью; когда оно стало пропадать — только и думаю о работе. Признак того, что к настоящим талантам не принадлежу, ибо считаю, что, помимо способностей, настоящему таланту полагается и дар работоспособности с первого дня осознания своего таланта. Я же в молодости делал все, чтобы его заглушить. Не в старости же ждать возрождения! Таким образом, повисить итог моей деятельности теперь уже трудно... Это значит, что в жизни своей я не сделал всего того, что мог, и что сознание это не сделает моих остающихся дней счастливыми...»

Эти невеселые строки написаны в разгар работы над Третьей симфонией, которую многие считают вершиной всего творческого пути Сергея Рахманинова. Он писал это письмо на пороге нового концертного сезона. Зимой и весной ему предстояло выступить в семидесяти концертах в Америке и Европе. Это была та беспощадная, непримиримая требовательность к себе, которая сделала его великим художником.

Весной 36-го года в письме тому же адресату он заметил, что к концу каждого сезона он идет «под хлыстом»; говоря о репертуаре, признался, что своих вещей играть не любит. Ставит в программу «две-три штучки для

видимости». Любимые его программы — это Шопен, Лист, потом Бах, Бетховен, Шуберт. «...Модернистов не играю. Не дорос!»

Лучшим скрипачом назвал Фрица Крейсlera, лучшим пианистом — Иосифа Гофмана (когда тот в ударе). Лучшим дирижером — Артуро Тосканини, лучшим оркестром — филладельфийский.

Две моторные лодки покачивались на привязи подле пристани.

Одна — широкая, белая, устойчивая, надежная — для семейных выездов с детьми.

Вторая — быстроходная. Ее он водил только сам, никому не доверяя. Ее длинный, красного дерева корпус с золоченой надписью «Сенар» был выстроен «на сто лет». На «Сенаре» музыкант нередко состязался в скорости с озерными пароходами.

Каждое утро, если только не было проливного дождя, ровно в половине девятого внизу у пристани раздавался мерный удаляющийся стук мотора.

Получасом позже он возвращался. И с боем стеклянных курантов на камине Сергей Васильевич, чуть порозовевший на озерном ветерку, входил в столовую.

Всегда спокойный, немногословный, очень подтянутый, он даже в своей любимой домашней клетчатой куртке выглядел безупречно одетым.

В конце мая незыблемый распорядок жизни был отчасти нарушен ради приезда четы Сванов, которых Сергей Васильевич очень любил. Вслед за Сванами приехал из Лондона Иббс — европейский импрессарио Рахманинова — для согласования программы концертов на будущий сезон.

За час до обеда Рахманинов предложил гостям прокатиться по озеру. Вечер выдался на диво. Озеро было тихим, как пруд.

Оторвавшись от пристани, «Сенар» птицей полетел по гладкой воде, отразившей вечернее небо и синий контур Пилата.

Пристань уже исчезла из виду за мысом, когда Иббсу пришло на ум показать мастерство. Вопреки обыкновению Рахманинов охотно передал ему руль, а сам сел на скамью с гостями. Но едва он успел сесть, как произошло нечто невероятное. Иббс, дородный, круглолицый, румяный и очень самоуверенный человек в очках, хотел, очевидно, сделать крутой вираж, но лодка закружилась и стала быстро крениться на левый борт. Рахманинов встал, большими шагами подошел к растерявшемуся Иббсу, оттолкнул его и взял руль в свои руки. Винт уже громко трещал в воздухе, борт касался воды, и тяжелый бот готов был опрокинуться и накрыть собой пассажиров. Екатерина Николаевна Сван закрыла лицо руками. В эту

минуту лодка выровнялась и, описав полукруг, легла на обратный курс. Никто не проронил ни слова. Молча вышли на пристани. Только войдя уже на веранду, Рахманинов глянул лукаво на все еще бледного Иббса и тихо засмеялся.

— Ну, ну!.. Только, чур, ни слова Наташе, а то она не позволит мне больше кататься на лодке!

В незапамятные годы он писал Ре: «Всего боюсь: мышей, крыс, жуков... разбойников... темноты...»

Страх перед смертью, перед неведомым тяготил его годами. Но вот сейчас, когда она пролетела так близко, что едва не задела его темным крылом, он этого страха почему-то не почувствовал.

Гости уехали, и вновь симфония овладела его помыслами неразделимо. Финал, как и все вообще финалы, за немногими исключениями, удовлетворял его мало. Но ему казалось, что в целом симфония хороша, правдива и, главное, нова по замыслу и воплощению.

И настал день, когда на последнем листе партитуры появилась бисерно-мелкая надпись: «Кончил. Славу богу. С. Р. 6. VI. 1936 г.». Но еще до тридцатого июня он продолжал править отдельные голоса.

А затем ради артрита на левом мизинце скрепя сердце пришлось почти на месяц уехать. В пользу лечения он верил мало.

«В источнике Экс ле Бэн, по-моему, самая обыкновенная вода... и вокруг этого сооружен целый город, казино, курзал и т. д....»

...А у нас в Сенаре цветут флоксы и лилии...»

В июле он писал Вильшау:

«...В рулетку я не люблю играть; за дамами ухаживать поздно; знакомств не завожу; работать не позволяют; даже читать не рекомендуется. Ну и что же? Зеленая тоска! Считаю дни до отъезда... До нашего дома отсюда на автомобиле 344 километра. Приятно будет удрать...»

В Сенаре дни и часы он считал совсем по-другому. На первых порах, пока не настало время играть, он с утра до вечера работал в саду, где почти все было создано из ничего своими руками. Нередко уже в сумерках белела среди клумб его длинная согнутая фигура. В садовых перчатках он без усталости выбирал осколки камней из густого дерна, чтобы ему привольнее было дышать.

В погожие дни под ветвистым кленом в саду пили чай «по-ивановски» — с булочками, куличом и спелой малиной. Разговоры за столом, разумеется, были тоже «ивановские». В коротких репликах Сергея

Васильевича, жены и дочерей оживали тени исчезнувших лет. Гувернантка внучки Софиньки Леля Малышева прожила без малого пятнадцать лет в семье. Когда она слушала эти рассказы, ей казалось, что она видит все наяву: и сестер Скалон, барышень за пяльцами, и липы, и пруд, и березы молодого парка, слышит скрип ворота и раскатистый смех Александра Ильича Зилоти. И неизменно во всех воспоминаниях незримо жила Марина, «наша Маша», бесценный незабываемый друг всей семьи.

В 22-м году удалось выписать Марину на несколько недель в Дрезден. Но год спустя она скончалась в Москве от молниеносного рака...

Лето шло на ущерб.

Читая по утрам газеты, композитор чем дальше, тем больше хмурился. Мир уже сотрясали первые пароксизмы лихорадки. В Испании кипела война. И нередко Рахманинову мерещилось эхо далекого грома, долетавшего в этот рай из глухих горных ущелий.

4

В октябре 1936 года в Ливерпуле состоялся, наконец, фестиваль русской музыки, задуманный еще до войны, в 1913 году дирижером Генри Вудом.

Тотчас после фестиваля, не дожидаясь рецензий, Рахманинов выехал в Америку и сразу же окунулся в лихорадочную работу перед премьерой симфонии. Он правил голоса днем и ночью, дома и в дороге. Сдав выправленные листы в одном городе, он переезжал в другой, где его ждали новые. В купе спального вагона, на вокзалах в ожидании пересадки он сутулился над зелеными оттисками линотипа.

Вскоре начались репетиции. Он сидел в ложе, следя за каждым штрихом в оркестре, за палочкой и седеющей головой Леопольда Стоковского. Иногда он улыбался, порой же хмурился и, стиснув руки, привставал с места.

Настало шестое ноября.

По гулу праздничной толпы он старался угадать, как примет она его детище — Третью симфонию. Восторженно? Едва ли.

Может быть, только горсточка русских, рассеянная здесь и там в огромном зале, почувствует эту музыку, его исповедь, обращенную туда, на восток, к его народу.

Но вот и она, его «Тихая Светлица», как бы из дали времен мерной поступью кларнета, виолончели и валторн входит в зал.

Она звучит как эпитафия к эпическому повествованию.

И вдруг словно взвился нежданным всплеском занавес. И за ним... За ним даль неоглядная степей, могучих вековых боров, медленных рек, богатырских туч. Ее широкий напев соткан из множества подголосков. В них и шелест осин, и гул ветерка, и «минорная терция кукушки».

А каков оркестр! Где сыскать другой подобный! Хорош и Стоковский. Эти мелодии у него в руках звучат широко, привольно. Все же славянская душа!

Вот восемь виолончелей повели нежную горделивую, как бы свадебную, песню. Она льется, как вешний ветер.

...и ласково лицо мое целует ива
своей дрожащею листвою.

Все еще ясно пока.

Но вот отголоски глухой тревоги. Колорит меняется, мрачнеет, гармонии жестки, дыхание прерывисто. Неведомая сила рвет, мечет серебристую ткань музыки. Так внезапный порыв жесткого ветра дробит и ломает отраженные в чистой и ясной воде облака, цветы и деревья. Мгновение, и все смятено, все в страхе и тревоге. Лес гудит перед бурей. Ветер гнет вековые сосны. И снова, но уже грозно, предостерегая, звучит у туб, «прорастая главой семью семь вселенных», тема «Светлицы», тема России, тема судьбы и прощания с родиной. Она уходит и вновь возвращается. Она и нежна, и раздумчива, и печальна, и страшна, и неумолима! Она звучит на валторнах и адажио голосом вещего певца-баяна под нежный перезвон арф, перекликаясь с «Волшебным озером» Лядова, и идет, как гроза над полями, неся с собой холод и сумрак свинцовых туч, сотрясая раскатами грома небо и землю.

И вновь... в небе тают облака...

Чудный день! Пройдут века —
Так же будет в вечном строе
Течь и искриться река
К поля дышать на зное...

...Злобно бушует жестокий вихрь в финале симфонии, и все-таки ему приходится в конце концов отступить перед колокольным перезвоном в заключительном эпизоде.

Что ж, как всегда, — шум, овации, цветы, туш оркестра. А в глазах у людей отблеск недоумения.

Не их, не этих людей, по-своему и одаренных душевно и непосредственных, всколыхнет до глубины души русская симфония!

Запестрели газетные столбцы и заголовки.

«Симфония — превосходная работа по музыкальной концепции, композиции и оркестровке. Рахманинов, как всегда, консервативен в гармонии, но он доказал, что для достижения оригинальности вовсе не нужно писать музыку сплошных диссонансов, чего требуют ультрареалисты».

«...Симфония — это богато разработанная драматизация его чувств о России, его воспоминание. Любовь, дружба, утраты. Это мысли, высказанные в музыке, которые не могут быть выражены иначе...»

Но были и другие.

«Прием у публики и критиков кислый, — признался он в письме к Вильшау летом будущего года. — Запомнился больно один отзыв: во мне, то есть в Рахманинове, Третьей симфонии больше нет. Лично я твердо убежден, что вещь эта хорошая. Но... иногда и авторы ошибаются!»

Только немногие русские в Америке отозвались на симфонию душевно. Отвечая на письмо дирижера Асланова, Рахманинов сказал, что сбережет письмо как поддержку для себя до того дня, когда «волны страха и сомнений» снова на него нахлынут.

Но еще раньше на него накинута репортеры.

— Мы слышали, что это ваше прощальное турне?

— Я еще ничего об этом не слышал.

— Где теперь ваш дом?

— В поезде, — сумрачно ответил музыкант. — В пульмановском вагоне.

— Кем вы считаете себя прежде всего: пианистом, дирижером или композитором?

— Я не знаю. И критика мало мне в этом помогает.

— Что вы скажете о «Колоколах»?

— Я люблю «Колокола», — вздохнув, проговорил он. — Когда они звенят тут, я думаю о России...

В детройтской газете за февраль 1937 года сохранилось характерное

описание одной из репетиций:

«...Вниз по лестнице из артистической прозвучали по-военному размеренные шаги. Он смотрел прямо перед собой. Он не сказал никому ни слова. На нем была черная пара и наглухо застегнутые коричневые перчатки. У двери он на минуту задержался. Виктор Колар (дирижер) кивнул, повернулся к оркестру и сказал:

— Джентльмены, мистер Рахманинов!

Грянули аплодисменты музыкантов.

Минутная пауза. Пианист сел, снял свои перчатки, глянул на клавиатуру, потом на дирижера. Колар постучал «внимание!», и музыка началась. Репетиция была более официальной, чем концерт. Даже когда Колар или сам Рахманинов останавливали оркестр, композитор сохранял торжественный вид человека, созерцающего с высот свои собственные поля. Было ясно, что он не терпит никаких отклонений в осуществлении своего замысла...»

В Лондоне успех был шумный. Критика — так себе... Иббс даже не показал ему номера «Таймс», сказал, что убьет одного человека. Он не смеет писать так бесстыдно!

Париж встретил композитора холодным ветром и мелким летучим снегом. Но на эстраде вновь ждала его белая сирень.

В Сенаре фен сотрясал дом и ставни.

«Я тоже трясусь от страха, что одно из моих деревьев будет сломано, — писал музыкант, — холод поистине собачий. После ледяного утра фен меняет направление, делается теплее. Кто-то даже кричит, что выглянуло солнце. Я впопыхах натягиваю мой свитер, башмаки, шарф и дождевой плащ. Вишни чуть приоткрыли ротки своих бутонов, но деревья голы. Чтобы использовать позднюю весну, сажу много деревьев...»

Лето не принесло ничего нового. Слишком тяжелой была душевная дань, которой потребовала от него симфония.

В июне он писал Вильшау:

«...Читаю сейчас книгу И. Ильфа и Петрова «Одноэтажная Америка». Прочти непременно, если хочешь познакомиться и узнать Америку. Много там интересного.

Есть несколько смешных строчек про меня. Это единственное место, где я нашел неправду!»

Он еще раз перечел строки (со слов «знакового композитора») о том, что Рахманинов перед выходом в артистической рассказывает анекдоты. «Но вот раздастся звонок, Рахманинов поднимается с места и, накинув на

лицо великую грусть российского изгнанника, идет на эстраду...»

Он улыбнулся. Нет, нет, не то... Эти милые путешественники, наверно, не бывали да и не могли быть в его концертах в России. И в те годы, еще не будучи «изгнанником», он, выходя на эстраду, был точно таким же. Те, кто хорошо его понял, знают, что эта его защитная маска, обусловленная единственно очень серьезным «без тени панибратства» отношением большого художника к своему искусству. Что до «великой грусти», то это особый разговор.

В одной из бесед с дружески расположенным к нему американцем, помимо его воли попавшей в печать, он говорил еще совсем недавно:

«Вы не можете знать чувств человека, у которого нет дома... понять бездомную неприютность нас, пожилых русских людей. Даже воздух в вашей стране не тот. Нет, я не сумею вам этого объяснить... Моя привязанность к России слишком сильна. Если добрые американцы не могут понять, что я чувствую, мне очень жаль. Но мне ясно, что я должен остаться тем, чем я есть».

В сентябре в Сенар приехал погостить Владимир Александрович Сатин. И сразу же после его приезда из угловой гостиной понеслись звуки, которых хозяин Сенара обычно не любил. Заговорило долго молчавшее радио. Посторонние шумы и трески в эфире всегда раздражали его. Но на этот раз их не было. Чистый и ясный женский голос диктора неожиданно произнес:

— Говорит Москва.

Рахманинов, сидевший с книгой в соседней комнате, повернул голову.

— Папа! — окликнула его Татьяна. — Скорее! «Сирень».

Он остановился в дверях. Он услышал незнакомое имя певицы Глафиры Жуковской, потом ее теплый чудесный голос.

Все пришло в нем в ужасное смятение, хотя внешне он не выдал его ничем.

Москва вскоре пропала среди шорохов и слабых потрескиваний. Но в следующий раз композитор пришел к репродуктору уже сам, без зова.

Выступал краснознаменный ансамбль. Рахманинов глядел в окно на серое облачко на том берегу. Но как он вслушивался в этот новый для него мир, неожиданный, все еще непонятный и все-таки бесконечно родной! Какая молодецкая хватка, какой чекан ритма, удаль, насмешливая, озорная!..

Застрочили пулеметы, пулеметы,
В бой идут,
В бой идут большевики!..

А потом «Ноченька».
Во время обеда Софинька дотронулась до его локтя.
— Дедушка, какая, по-твоему, самая музыкальная нация?
Он был, казалось, где-то далеко. Подумав немного, глянул сверху вниз на внучку.
— Какая?.. Конечно русская, Софушка!

Сергей Васильевич опустил крышку рояля.
Засветил голубовато-молочный тюльпан настольной лампы.
На столе все было очень просто. Во всем образцовый порядок. Хрустальная чернильница, бювар. Слева, в ореховой рамке, — Татьяна с трехмесячным голеньким Сашкой.

Огромное, до полу окно без переплета полузадернуто соломенной шторой, второе отворено в сад. Справа на столе, под рукой, стопка недавно полученных писем.

Михаил Михайлович Фокин задумал ставить в Лондоне балет на музыку его Рапсодии. «Каков же сюжет?» — допытывался он.

Проснувшись ночью, композитор долго думал над этим, но ни к чему не пришел.

Вот еще почта из Лондона. Впервые после двадцатилетнего перерыва он согласился дирижировать для «Рекордов». Он беспокоился за свои руки.

Конечно, только ради симфонии он пошел на этот риск. А между тем о симфонии-то и была в Лондоне «плохая пресса»! Как он писал о нем, этот журналист?

«...Или план и замысел противоречит способностям Рахманинова, или он потерял стимул бороться за свои убеждения, или понял, что ни против чего не стоит бороться?.. Эта опасность грозит каждому международному артисту, если он лишен возможности черпать силы и питать свой гений в изгнании...»

Как же так!.. Неужто ему одному говорит его «Светлица», слышны в ней и «Степь» Чехова, жаждущая певца, и левитановская Русь, и голоса его ушедшей молодости!..

Но вслед за прессой пришло письмо от сэра Генри Вуда.

Можно ли было усомниться в искренности и чистоте помыслов этого удивительного человека и чудесного музыканта?

«Мой дорогой сэра Генри!

Я прочитал о «бедной прессе». Это, конечно, огорчило меня, но, когда пришло Ваше письмо и я узнал, что Вам нравится моя симфония, я был рад и забыл все свои печали...»

Перед глазами промелькнуло лицо, обрамленное темной бородой. Голос и чистосердечный смех сэра Генри полны тепла и душевного здоровья, но в глазах притаилась застенчивая грусть.

Погасив лампу, Рахманинов через веранду вышел в сад. В темноте, пахнувшей хвоей, цветами л дождем, прозвучал негромкий скрип его шагов.

Стоя под лиственницей, он курил, провожая глазами огни уходящего парохода.

Вздор! Пусть пишут и думают о нем, что им угодно... Но там... Что скажут там? Как примет его симфонию та, к кому обращена эта исповедь утомленного сердца? Поймет ли? Поверит ли?.. Вот что для него единственно важно.

А ты все та же — лес, да поле... —

вспомнилось ему. Он улыбнулся.

Ветер пробежал по воде. Лиственница закачала косматыми ветвями.

Главе пятая ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ

1

Ни в Англии, ни во Франции, ни в Цюрихе, ни в Нидерландах еще не чувствовалось приближения перемен. В одной только Вене гул наступающей грозы был уже явственно слышен. Под окнами отеля, где остановился Рахманинов, ночью маршировали толпы с факелами, раздавались истерические вопли: «Аншлюсе! Аншлюсе! Хайль Гитлер!»

На улицах царило возбуждение. Взад и вперед метались оголтелые мотоциклисты в кожаных шлемах. Прохожие шарахались в стороны.

Венскую публику, обычно весьма восприимчивую к музыке, словно

подменили. Композитор несколько не удивился, когда его уведомили, что назначенное исполнение «Колоколов», как и все вообще концерты, отменено по причине политических событий.

Рахманинов вернулся в Лондон.

Через неделю в Дублине у него спросили, где он встретил самую лучшую аудиторию.

— Нет плохих аудиторий, — ответил он. — Есть только плохие артисты.

Европа жила, как на вулкане. Никто не знал, что будет дальше.

«Я очень нерешительный человек, — писал Рахманинов. — Если мы поедem в Сенар и заварится каша, мы окажемся в ловушке. Но уехать, покинуть Танюшу, мне сердце не позволит».

И в эти дни раздумий и колебаний в Париже разразилась катастрофа с Шаляпиным, надолго оттеснившая на задний план все, что Рахманинова тревожило и волновало.

Еще в 1935 году, в последний свой приезд в Нью-Йорк, беседуя с дирижером Фивейским, Федор Иванович говорил, что не хочет пережить своей славы, но признался, что с жизнью расстаться ему легче, чем с театром.

— Хотелось бы мне закончить свою карьеру вместе с Сергеем Васильевичем, как вместе ее начали... Вот приближаются пушкинские торжества. Хочу на прощание спеть оперу Рахманинова «Алеко», как пел ее в начале моей карьеры в Петербурге... Моя последняя мечта — проститься с театром в образе Алеко. Но я создам такой образ, что сам Пушкин воплотится во мне. И вместе с ним мы уйдем в область легенд и преданий...

Он говорил о том, что опера написана Рахманиновым наспех, либретто неудачно и что сам Алеко на протяжении спектакля только скрежещет зубами.

— А ведь в Алеко Пушкин выводит самого себя. Ведь он и правда бродил с цыганами...

Тут Фивейский вылил на него ушат холодной воды.

— Что же вы убийцу Земфиры хотите сделать Пушкиным!..

Спорили долго и решили в корне переработать либретто, добавить к нему еще две картины — пролог и эпилог, в котором открывается, что повесть о Земфире была только сон, приснившийся поэту.

Ключом к эпилогу станут пушкинские строки:

Но счастья нет и между вами,
Природы бедные сыны!
И под издранными шатрами
Живут мучительные сны...

Жена Фивейского вызвалась написать либретто и так удачно справилась со своей задачей, что Шаляпин тотчас же повез написанное в Сенар к композитору.

Рахманинов колебался, и не потому, что на три года был связан контрактами. Возможно, что он просто не верил на этот раз, что 67-летний Шаляпин сможет перевоплотиться в 22-летнего «беса арабского».

Также уклончиво он ответил на просьбы Пушкинского комитета разрешить постановку оперы в прежнем виде.

— «Алеко» — моя юношеская работа, — сказал он. — У меня есть мысль переделать ее. Вот освобожусь от концертов...

Так он и не освободился...

«Очень нужно было спрашивать у Сергея Васильевича! — ворчал Александр Ильич Зилоти, один из организаторов Пушкинского комитета. — Поставили бы, и только! Он бы и слова не сказал».

Федор Иванович внешне сильно переменялся. Черты лица заострились, платье висело на нем, как на вешалке, но, бросая вызов судьбе, он все еще гордо нес голову на могучих плечах.

Врачи всеми тогдашними средствами боролись против диабета, год за годом подтачивавшего организм. А тем временем другой, более страшный недуг подкрадывался втихомолку.

Еще в Англии до Рахманинова дошли слухи о том, что дуб упал. Он не поверил, покуда не приехал сам.

Тут ужасная правда дошла до его ушей: злокачественное заболевание крови.

12 апреля 1938 года Шаляпина не стало.

Через неделю композитор писал Софии Сатиной:

«...Уже восемь дней как Федор умер. В Париже я бывал у него два раза на день... Перед моим уходом он стал говорить мне, что, когда поправится, напишет новую книгу для актеров об искусстве сцены... Сердце его работало через силу. Я остановил его и сказал, что у меня тоже есть план: когда перестану играть, напишу книгу, темой которой будет Шаляпин. Он улыбнулся и слабо сжал мою руку. На этом мы расстались.

Навсегда...»

Эпоха Шаляпина кончилась.

Среди сотен венков, покрывавших могилу, был один со скромной надписью на ленте: «Моему другу. С. Рахманинов».

Тем же именем были подписаны теплые проникновенные строки, напечатанные в русской парижской газете:

«Умер только тот, кто позабыт...» Такую надпись я прочитал в давние времена на кладбище. Если мысль верна, то Шаляпин никогда не умрет. Умереть не может, ибо этот чудо-артист с истинно сказочным дарованием бессмертен...»

Эти скорбные дни не прошли без следа. Мысль о близости последнего рубежа вновь сделалась неотвязной. Порой он пытался отгородиться от нее шуткой.

«Склероз!» — писал он Сомову и жаловался, что подчас забывает самые обыкновенные будничные слова. Приходится дополнять речь жестами. «...Вчера по радио из Парижа мы слушали речи о «Мэтре Рахманинове», потом было сыграно шесть моих «Рекордов»... Чудеса! Они употребляли такие громкие эпитеты! Наверно, они не знают, что у меня склероз...».

В августе Генри Вуд исполнил симфонию Рахманинова.

Композитор писал дирижеру:

«...Когда я начал считать тех, кто любит ее, я загнул три пальца. Вторым был скрипач Буш, а третьим, простите меня, я сам...»,

Внешне за последний год он заметно осунулся. Но на озабоченные вопросы друзей неизменно отвечал:

— Со мной ничего страшного. Я устал — это правда. Но умирать еще не собираюсь.

Не было больше сомнений в том, что кризис в Европе приближается. Однако желание свидеться с Татьяной, ее мужем и внуком пересилило все страхи. Рахманиновы снова приехали в Швейцарию весной 1939 года.

Балетмейстер Михаил Фокин, побывавший в Сенаре в мае, воспламенился идеей постановки в Лондоне балета «Паганини» на музыку рахманиновской Рапсодии. Он принялся за дело с присущим ему юношеским энтузиазмом. В какой-то мере он заразил им и автора, еще на родине мечтавшего о музыке для балета. Раздумывая о либретто,

Рахманинов писал Фокину:

«...Сегодня ночью думал о сюжете, и вот что мне пришло в голову... Не оживить ли легенду о Паганини, продавшем свою душу дьяволу за совершенство в искусстве, а также за женщину?..»

Но неожиданно из Сенара пришли плохие вести.

Утром двадцать седьмого мая, в день рождения Ирины, Сергей Васильевич поскользнулся на паркете и со всего своего роста упал навзничь. Удар был столь жестоким, что он почти лишился сознания. Вызванный из Люцерна врач признал только ушиб. Пролежав неделю, Рахманинов еще месяц опасно передвигался с палкой. Хромота осталась на два с лишним года. Были, возможно, и другие повреждения, не уловленные рентгеном.

Балет «Паганини» имел шумный успех.

По замыслу либреттистов, вариации, в которых звучит тема хорала «Диес Ире», олицетворяли собой нечистую силу. Но среди этой бесовской вакханалии вдруг воцарилась тишина, и три девушки медленно закружились в лунном луче под звуки пленительного ноктюрна. Этот эпизод, еще раз повторенный в апофеозе, вызвал бурю восторга у публики.

Больного композитора на премьере представляли дочери Ирина и Татьяна.

Однажды в ранних сумерках, подстригая розовые кусты подле ворот, Рахманинов увидел за калиткой пожилого человека в соломенной шляпе. Смущенно поклонившись, тот назвался сотрудником «Музыкального курьера» и попросил разрешения побеседовать. В нем не было и тени присущей всем «газетчикам» развязного апломба.

Подумав немного, композитор впустил его вопреки укоренившейся привычке. Дотемна они курили в камышовых креслах на террасе, ведя вполголоса неторопливый разговор без участия карандаша и блокнота. Чутье не обмануло на этот раз музыканта. Существо беседы было опубликовано с большим тактом.

Рахманинов говорил с остановками низким, ровным, глуховатым голосом.

Он чувствует себя призраком, блуждающим в чуждом мире. Он не может отказаться от старой манеры письма и принять новую не может. Его музыка, его реакция на музыку остались прежними, теми же, что в России, где он прожил счастливейшие годы своей жизни. И это обязывает его пытаться творить прекрасное. Новые формы музыки происходят, как ему кажется, не от сердца, а от ума. Ее композиторы больше рассуждают, чем

чувствуют. Они не способны заставить свои творения, по выражению Ганса Бюлова, «ликовать». Они размышляют, анализируют, вычисляют, вынашивают, но только не «ликуают».

Может быть, они сочиняют в духе времени. А может быть, этот «дух времени» еще не нашел своего выражения... Ему кажется, что эти соображения отвечают на вопрос собеседника о том, что он понимает под современной музыкой. Почему она новая? Она стареет сразу же после рождения.

Он надеется, что не все сказанное будет опубликовано, по крайней мере до его смерти.

«Я не буду очень обрадован, — пошутил он на прощание, — если какой-нибудь формалист отхватит мне пальцы, которыми я дорожу для фортепьянной игры. Это не политика. Я просто держу свои мнения про себя. Я вообще слышу за молчаливого человека. В молчании залог безопасности»».

В июне дошло до Сенара долго странствовавшее письмо из Москвы от В. Р. Вильшау.

«Сирень в цвету, — писал он. — Это время года и сирень всегда напоминают мне тебя. Здесь каждый играет твои концерты, Рапсодию, «Корелли», прелюды. Играют хорошо, но не так, как ты...

...На концерте Игумнова я встретил несколько молодых пианистов. Они спросили меня, что я знаю о Рахманинове: «Пишете ли вы ему? Пишет ли он вам? Ах, если бы он был здесь, мы понесли его на наших плечах!»

Отвечая, Рахманинов писал о неизбежном отъезде из Европы, об организуемом осенью в Америке фестивале из его сочинений. Ему лично фестиваль этот представляется как бы подведением итогов.

«Наступает время, когда ты уже не сам ходишь, а тебя ведут под руки. С одной стороны, как бы почет, а с другой — поддерживают, как бы ты не развалился... Знаю одно, что, работая, чувствую себя внутренне как бы сильнее, чем когда отдыхаю...».

Традиционный европейский фестиваль музыки после оккупации Австрии был перенесен из Зальцбурга в Люцерн. У большинства участников не было желания ехать в город, захваченный гитлеровцами.

Кроме Рахманинова, выступили европейские эмигранты: из Италии — Артуро Тосканини, из Германии — Бруно Вальтер и из Испании — Пабло Казальс.

Фестиваль был обставлен с большой помпой. Всеобщее внимание привлекал магараджа Индорский, маленький смуглый толстяк в чалме с

длинным хвостом, занявший со своей свитой сорок мест в зале.

Рахманинов играл Первый концерт Бетховена и свою Рапсодию.

Итак, жить в Сенаре оставалось всего четыре дня. Шестнадцатого августа Рахманиновы должны были быть в Париже, а восемнадцатого — на пароходе.

Последний день был оравлен шумным вторжением семейства магараджи, изъявившего желание осмотреть дачу знаменитого музыканта. Только к вечеру утих, наконец, этот гам.

Ночью Наталия Александровна слышала из комнаты мужа покашливание и слабый запах табачного дыма. Около часу тихонько звякнула дверь на террасе.

Газеты в Париже пестрели паническими заголовками. По улице Риволи громыхали танки. С часу на час ждали объявления мобилизации.

Что было на душе у Татьяны Сергеевны, никто не знал. В этом она была дочерью своего отца. Она, шутя, пререкалась с Сашкой, прямо глядела в глаза застенчивыми темно-серыми глазами и просила о ней не тревожиться.

— Я не пропаду. Помни это! — твердила она отцу.

Он купил ей крохотную, увитую виноградом, зимнюю дачу в сорока милях от города.

Глядя на дочь, он думал: «До чего же Таня похожа на бабушку Бутакову!» Словно раньше он не замечал этого сходства....

Двадцать третьего августа в сумерках огромный корабль с погашенными огнями, ведомый буксиром, вышел в море.

Такова была шутка судьбы! Первому и последнему рейсу Рахманиновых в Америку через океан сопровождал тот же тайный страх. Под тяжелым колышущимся покровом океанской воды глаза немецкой субмарины подстерегали корабли. Под ударом ее смертоносной торпеды равно беззащитны были и маленький шаткий «Бергенсфиорд» и огромный плавучий город «Аквитания».

Наступил вечер, и в потемках пропали огни Франции.

Возвращение Рахманиновых из Европы было окутано строгой тайной. Мысль о встрече с репортерами внушала композитору отвращение. Неоценимую помощь в этом оказал капитан «Аквитании», не объявив

имени музыканта в списке пассажиров.

Весть о мобилизации во Франции настигла путешественников в дороге.

Поздним вечером, когда пустели палубы корабля, Сергей Васильевич выходил на корму и глядел с непонятным упорством на пенистый след от винтов, бегущий по темной беспокойной воде на восток. Глядел долго, покуда утомленные глаза не застилались слезами. Дул сильный южный ветер. В разрывах облаков временами мигали звезды.

Как ни странно, но именно в эти горькие часы он почувствовал первое движение нового замысла, которому, как он думал, суждено подвести конечный итог его долгой и трудной жизни в музыке.

Пробыв два дня в раскаленном Нью-Йорке, переехали на дачу в Лонг-Айленд.

Внешний покой плохо мирился с постоянным страхом за судьбу дочери, зятя и внука.

При всей нелюбви к радио Рахманинов часами просиживал возле репродуктора, ловя противоречивые вести из Европы.

С наступлением длинных вечеров на даче сделалось неудобно. Бывало, и в Ивановке его всегда тяготили эти осенние потемки в деревне. Потянуло в город, к освещенным улицам.

Рахманиновский фестиваль состоял из трех концертов. В последнем прозвучали Третья симфония и «Колокола».

Композитора глубоко тронуло приветствие от певцов Вестминстерского хора, прочитанное руководителем последнего доктором Вильямсом:

«Одной из величайших радостей, доставшейся нашей молодежи, было петь вместе с филладельфийским оркестром под Вашей дирижерской палочкой. Вы ведь знаете, что они все влюблены в Вас, как в человека. Может быть, это звучит несколько наивно и сентиментально, но они говорят, что Вы самый милый и очаровательный человек в мире... Это относится к Вашей абсолютной искренности и Вашему большому благородству...»

Когда Сергей Васильевич из-под тяжелых век глянул на обращенные к нему юные лица, восторженные, сияющие, что-то дрогнуло у него в душе.

Ценой огромного напряжения душевных и физических сил достался ему этот фестиваль.

Едва ли не впервые за эти двадцать лет он вновь поднял свою «магическую палочку», так поразившую молодежь Вестминстерского хора, и под ее взмахами как бы заново родились и «Остров мертвых», симфония

и «Колокола».

Он неизменно отклонял все предложения дирижировать лучшими оркестрами, боясь за свои руки пианиста.

За долгие годы концертных поездок Рахманинов редко и мимолетно бывал на западном побережье.

Когда среди зимы 40-го года он подъезжал к Сан-Франциско, словно иным теплым ветром повеяло ему в лицо. На каждом шагу ему мерещились то Минеральные Воды, то Севастополь, то Одесса.

Два дня сряду он с огромным успехом играл свой Второй концерт в Голливуде с Леопольдом Стоковским.

Если эта старая и, как ему казалось, до предела заигранная вещь все еще способна так волновать людей, значит он жил не даром. Значит, он все еще нужен. Значит, от него ждут того, что ему еще осталось им рассказать.

Дача в Лонг-Айленде лежала в стороне от поселения. Сосновые рощи, дюны, лодочная пристань, миля пустынного песчаного берега.

Сперва Рахманинов много читал, чаще всего «Историю России» Ключевского, возился на клумбах с цветочной рассадой.

Потом пристрастился к шлюпочному спорту. Неизменным спутником его был Федор, коренастый, смуглый, черноморский морячок родом из-под Керчи, заброшенный судьбой на край света. Был он искушен в морской службе, сменял хозяина за рулем и содержал моторный бот в клинической чистоте. Было Федору, наверное, за сорок. В темных кудрявых волосах завилась первая нить серебра. Под стать Рахманинову был он спокоен, задумчив и несловоохотлив. Каждый думал про свое. Федор на носу бота обычно мастерил что-то из обрубка дерева, чуть слышно про себя напевая. Ему и на ум не приходило, что Сергей Васильевич, чутко прислушиваясь к нехитрому напеву, иногда украдкой за ним наблюдает. Кого-то неуловимо напоминало ему это простое, спокойное, немного скуластое русское лицо с каемчатými светло-серыми глазами. И вдруг он вспомнил...

Тоже ведь Федор был!.. Федор и Арина. Широкая теплая волна, издали набежав, залила Душу.

Не знал и Рахманинов, что его попутчик тоже порой следит за ним втихомолку озабоченным взглядом. Случалось Рахманинову задремать во время полуденного дрейфа. Подогнув под голову руку, он лежал на решетчатой скамейке, чуть покачиваясь в такт колыбанию бота. А Федор глядел, перестав дышать на лицо музыканта, изборожденное жизнью, трудом, временем и страданиями.

И во взгляде Федора сквозила порой суровая и нежная жалость.

Потом, тихонько вздохнув, он вновь начинал вертеть свою деревяшку ловкими, узловатыми, черными от загара пальцами.

Когда на море становилось слишком уж шумно, композитор часами сидел на опушке соснового леса, заложив пальцем книгу.

Когда-то в разговоре с Ре он сказал, что до сорока лет надеялся, а после сорока только вспоминает. Что ж, пришло, пожалуй, время подвести итог этим надеждам и воспоминаниям!

Во что на этот раз выльется его замысел, он еще и сам хорошенько не знал. Снова симфония? Пожалуй, нет.

Думы его были полны Татьяной. Ее письма, не слишком частые, направляли весь ход его душевной жизни. В них была вся она: одновременно и твердая и душевная, спокойная и очень замкнутая. В каждой строчке сквозила нежная и застенчивая любовь к отцу.

Муж ее с первого дня войны был на фронте. Как жила она совсем одна со своим мальчишкой на этой виноградной лозе?

Шли недели. И вдруг эта странная, будто не настоящая война обернулась катастрофой.

Немецкие моторизованные колонны через Голландию и Бельгию, опрокинув слабый заслон, хлынули на равнины Северной Франции.

Несколько дней Рахманинов ходил как потерянный, сжимая руки в невыразимом отчаянии, вдруг весь поседевший.

На пятые сутки пал Париж. Тогда внешне он успокоился, замолчал и вернулся к прерванной работе, не потому что лично для себя видел в ней выход, спасение от душевных невзгод... Нет, ему казалось, что теперь, как художник, он не смеет больше молчать. Какое бы бремя ни лежало у него на душе, он должен именно сейчас рассказать средствами своего искусства о том самом важном, что он вынес из пройденного долгого жизненного пути: как жил, боролся, что страстно любил и ненавидел, чему верил и в чем отчаялся.

Его новое сочинение не должно быть просто повторением того же образа родины — России, который он пытался выразить в трех своих симфониях. Существо нового замысла вытекает скорее из противопоставления двух миров — прошлого и настоящего, русского и чужого. Естественно, и средства выражения придется найти совсем иные, не утратив при том единства стиля, органической связности целого.

Еще недавно ему казалось, что он ко всему привык и со всем смирился. Вопреки многому, что отталкивало его в окружающей жизни: крикливой, назойливо лезущей в глаза и уши рекламе, вопреки самодовольству сытых, неистовому припадочному темпу и жесткому

машинизированному ритму, которому здесь, за океаном, подчинены все помыслы и желания людей, — он готов по-своему даже полюбить ее. Нельзя же видеть всегда и везде только черное!

Жизнь странствующего музыканта изо дня в день сталкивала его с множеством простых и незаметных людей: шоферы, станционные носильщики, настройщики фортепьяно, кассиры, продавцы. Когда они узнавали его, их ненавязчивые заботы и внимание, их бесхитростная радость всегда глубоко трогали и волновали композитора.

Он думал, что сможет и дальше так жить, ревниво храня в глубине «нерушимого безмолвия» свои «нетревожимые» (и никому здесь не нужные) воспоминания.

Теперь он понял, что он, Рахманинов, слишком русский в каждой мысли своей, в малейшем движении души.

Публика безотчетно поддается обаянию его искусства, может быть, его личности. Но злобные исподтишка покальвания критиков далеко не случайны. Не только потому он был им в какой-то мере неприятен, что упрямо не хочет идти в ногу с их веком, цепляясь, как им казалось, за отжившее, архаическое, но прежде всего потому, что при всем блеске его имени, его мировой славы он был и остался для них чужаком, пришельцем из враждебного, варварского мира.

Года два тому назад в Париже в одной из книжных витрин на набережной Сены он увидел пожелтевший томик сытинского издания Алексея Константиновича Толстого. С жадностью он раскрыл его и натолкнулся на былинку «Садко».

Если в юности, в Москве, эти незатейливые, а подчас и довольно наивные строфы звучали несколько приподнято и театрально, то сейчас они обрели для музыканта совсем новый смысл, какой, наверно, и не снился их автору.

...Что пользы мне в том, что сокровищ полны
Подводные эти хоромы,
Услышать бы мне хоть бы шорох сосны,
Прилечь бы на ворох соломы!..

Почему-то теперь эти строки каленым железом жгут усталую душу старого русского музыканта.



С. В. Рахманинов.



Вас Клибери и К. Кондрашин на могиле Рахманинова близ Нью-Йорка.

Это были три большие симфонические пьесы, несхожие по характеру, но связанные глубоким внутренним единством.

В первоначальном наброске тематического плана он назвал их «Утро», «Полдень» и «Вечер». Позднее, по свидетельству Софии Сатиной, она видела другие: «День», «Сумерки», «Полночь». Но в партитуре, сданной в набор, не было заглавий, и, думается, вовсе не потому, что в английском словаре не нашлось слова, отвечающего русскому «Сумерки», а лишь оттого, что на этот раз ему, больше чем когда-либо, хотелось скрыть программу от нескромных глаз.

Пусть каждый слушает и читает по-своему, а его замысел останется при нем и вместе с ним ляжет в могилу.

Музыка первой части (тооката) пронизана жестким, почти механическим ритмом. Не для того ли композитор влил в музыкальную ткань эти «колючие» интонации, как бы осколки разорванной темы, чтобы ярче в их оправе зазвучала одна из прекраснейших мелодий в истории русской музыки. Как лебяжий плач об ушедшей юности, она развивается и плывет по ветру вдаль. Не так ли еще на заре новгородских дней пела и звала за собой звонкая свирель пастушонка Савки?..

Музыка тоокаты до предела насыщена тревогой, ожиданием. Но только ее заключение разгадывает загадку.

Долгие годы втайне от самых близких люден тема Первой симфонии,

быть может главная тема всей его жизни, жила в душе музыканта. Таилась, чтобы сорок пять лет спустя еще раз прозвучать в его лебединой песне.

Не об отмщении, а о прощании говорила она на этот раз, вместе с ним уходя в сумерки долгой и трудной жизни.

Отмщение там, впереди.

Все там: мысли о смерти, пароксизмы раскаяния и, наконец, ночь.

Но прежде душе суждено пройти через этот медленный сумрачный вальс, не находя в нем ни прощания, ни выхода, ни отрады.

Как за мутным окошком ночного поезда, без видимой связи бегут тени и силуэты прожитой жизни В непроглядной тьме лежат поля прошлого. Одной любви под силу их озарить.

И он чуял, как из глубочайших недр памяти могучая, еще небывалая волна поднимает на гребень то, что казалось ему похороненным навеки.

«Вскипи же, вскипи, темная чаша! Раскрой невидимые миру тайники радости и страха, красоты и боли, желания и проклятия на суд пробудившейся совести!»

4

Рахманинов работал с девяти утра до одиннадцати вечера с перерывом на обед в один только час.

Такая безрассудная трата сил смущала и пугала его близких. Десятого августа 1940 года он принялся за инструментовку. Его неотступно преследовала мысль, что времени осталось мало, что даже ценой страшного риска он должен завершить сочинение, которое было для него дороже всего написанного.

Ему чудился страстный срывающийся полусшепот Шаляпина-Сальери:

...Друг Моцарт, эти слезы,
Не замечай их. Продолжай, спеши...

Он горел нетерпением услышать свое сочинение в оркестре и обещал Юджину Орманди, которому оно было посвящено, прислать переписанную партитуру к декабрю.

Найдено было, наконец, и заглавие. Сперва он думал о

«Фантастических танцах», потом написал просто «Танцы», однако побоялся: а вдруг раструбят в печати, что Рахманинов написал сюиту для джаза! И вот, наконец, «Симфонические танцы». Правда, были уже такие у Грига. Но разве это важно!..

Важно, чтобы заглавие наглухо скрыло, зашифровало внутреннее естество его замысла.

«У композитора всегда свои идеи, — сказал он однажды корреспонденту. — Я не думаю, чтобы их нужно было раскрывать...»

В сентябре он играл «Танцы» Фокиным, Горовицам и Шаляпиным — Борису и Федору.

С началом сезона напряжение еще возросло.

Фотокопии корректурных листов следовали за композитором в дороге. Он правил их в вагоне, в гостиницах, на вокзалах и пересылал в Филадельфию.

Многим навсегда запомнилось выступление Рахманинова в Детройте.

«...Этот 67-летний артист продолжает совершенствоваться и становится живым чудом на земле. Кажется, что он играет и творит с такой же легкостью, как и двадцать лет тому назад, и идет вперед с каждым новым сезоном. Легенда утверждает, что Лист был величайшим пианистом всех времен. Но Лист, как многие это забывают, закончил свою исполнительскую карьеру на 38-м году. Легенда относится к той поре его жизни, когда его мышцы были тверды как сталь и мысли не обременены усталостью долгого пути. Мы присутствуем при рождении более удивительной легенды о потрясающем исполине музыки, который на пороге восьмого десятка способен влить в свои пальцы юношескую силу и подчинить их музыке более высокого уровня, чем тот, которого когда-либо достиг молодой Лист!»

Услышав «Танцы», Фокин вновь загорелся идеей балета. Но чтение партитуры, которую дал ему автор, оказалось ему не под силу.

«Я жалкий музыкант!» — с грустью признался он.

Пришлось отложить затею до выпуска «Рекордов» с записью «Симфонических танцев», обещанных композитору еще летом. Но с грамзаписью неожиданно начались осложнения. Пошли непонятные для композитора трения между оркестром и компанией «Виктор». Решение спора затянулось на годы.

В рождественский вечер ради Софиньки и ее подруг Рахманинов появился возле елки в белой шубе с бородой деда-мороза.

Веселье омрачила мысль о судьбе Татьяны и внука, За прошедшие

полгода ни звука не долетело до Рахманиновых из-под железной пяты, раздавившей Францию.

Остаток коротких зимних каникул он провел в Филадельфии с Юджином Орманди и его оркестром.

Этот огромный разноплеменный коллектив сплошь состоял из превосходных музыкантов, как бы спаянных единым симфоническим дыханием. Многие из них знали Сергея Васильевича по двадцать и более лет, а некоторые еще по Москве. Они считали его своим, гордились им неимоверно, затаив дыхание ловили каждый взгляд его, каждое слово.

И он знал их почти наперечет и готов был в трудную минуту прийти на помощь любому.

Они сделали все, что было в их силах. Но даже для такого ансамбля овладеть за короткий срок партитурой «Симфонических танцев» оказалось непосильной задачей. Это пришло позднее. Однако он чувствовал, что его партитура близка им и понятна.

После генеральной репетиции в начале января Рахманинов встал и обратился к оркестру. Он поблагодарил их за труд и за горячую искренность, вложенную в исполнение. Потом сказал:

— Когда-то я сочинял для великого Шаляпина. Теперь он умер, и я пишу для нового большого художника, для вас...

Его не удивил и не расстроил суховатый прием в Нью-Йорке. Он ждал этого.

Рецензии были пестры по тону и настроению.

«...Несмотря на новизну, — писал один рецензент, — оно не достигает уровня его прежних сочинений... Слабое подражание «Пляске смерти» Листа... Рандеву привидений. В финале он перещеголял в новизне Равеля, Р. Штрауса и Сибелиуса. В общем же впечатления сумбурны... Конечно, Рахманинов делает с оркестром, что он хочет, нагоняет дрожь на слушателей, но...»

Дальше он не стал читать. Только пробежал заметку Олина Доунса. (Старый грач! При том не всегда и не слишком доброжелательный.) Но на этот раз Доунс изменил себе.

«...Природа, воспоминания, мечты. Мертвое море печали, мелодии, яркое чувство оркестровых красок и чудесная музыка...»

На последнем, четвертом концерте в Филадельфии, внутренне негодуя на холодок в зале, Орманди поднял оркестр и тут же, на эстраде, обратился к автору.

— Они, — сказал дирижер, указав на музыкантов, — счастливы и горды вашим посвящением и поручили мне поблагодарить вас за

доставленную радость.

В вагоне по дороге в Сан-Франциско не спалось. Он курил, и дым струйкой уходил через круглую узорную решеточку у изголовья.

Приподняв край занавески, Рахманинов стал глядеть через одетое инеем стекло на морозную лунную ночь высоко в горах. Поезд, чуть слышно постукивая, катился на подъем. Темные ели сбегали к полотну по искрящемуся снежному насту.

В конце марта, согласно уговору, он продирижирует в Чикаго Третью симфонию и «Колокола». После дирижерских концертов он некоторое время не мог играть. Потом — отдых. Теперь для него это прежде всего простор для черных мыслей.

«Симфонические танцы» были еще в нем. Не покинули его, как это бывало обычно с законченными сочинениями. Как ни странно, эта сумрачная музыка притупляла душевную боль. Вкладывая ее в строки своей партитуры, он сам, как человек, испытывал облегчение.

Не случайно его так волновала судьба «Симфонических танцев». Он принес их на суд тех, кто вознес его на щит всемирной славы. И получил ответ.

Ответ был подсказан им на этот раз безошибочной интуицией. Если не поняли, то почувствовали его слушатели, что в последний раз прозвучал для них голос русского художника, который всеми своими помыслами и до последнего вздоха не здесь, в этом мире, нарядном и богатом, но там, на невидимом, дальнем берегу.

Без слов, одним гусельным перебором отвечал Садко морскому царю:

...Богатством твоим ты меня не держи.
Все роскоши эти и неги
Я б отдал за крик перепелки во ржи,
За скрип новгородской телеги...

Глава шестая «ОДИН ИЗ РУССКИХ»

Силы убывали с каждым выступлением. Рахманинов знал это, но

упрямо твердил свое:

«Отнимите у меня концерты, и я изведусь!»

Единственно, чего удалось добиться близким после отъезда из Европы, это короткие, на две-три недели каникулы среди зимы, обычно в январе.

В окрестностях Лос-Анжелоса на большой территории среди апельсиновых, персиковых садов и темной хвои были разбросаны десятки маленьких, на две-три комнаты, домиков, оборудованных всем необходимым для комфорта и обслуживаемых персоналом большого отеля, расположенного в стороне.

Это и был так называемый «Сад Аллаха». Всегда безоблачное небо, плавная линия голубых, увенчанных снегом гор висела в чистом и легком воздухе над темными кронами деревьев. Это призрачное лето среди глубокой зимы, вдали от гостиничной сутолоки и исступленного грохота городов дарило усталой душе тишину — сокровище из сокровищ.

Поблизости, на городских окраинах, жило немало русских. Все они — художники, музыканты, скульпторы, актеры, макетчики, декораторы и костюмеры — трудились на студиях Голливуда. У каждого вдоволь было забот и огорчений. Но каждый старался на время покинуть их у ворот «Сада Аллаха», забыть дневной и ночной страх за завтрашний день, за кусок хлеба, который, право, не так уж легко было добывать в этом «божьем раю», на «фабриках снов»!

За чайным столом на веранде в кругу яркого света дышалось легко, радостно было отогреть душу в звуках милой русской речи, увидеть, как улыбка разгладит морщины на лице у радушного хозяина, дожидаться минуты, когда он, как бы нехотя, мимоходом сядет к роялю.

Они гордились им. И каждый, уходя в темноту, навстречу неизвестному «завтра», чувствовал себя щедро одаренным, душевно обласканным и согретым.

В конце сезона Рахманинов принял сотрудника журнала «Этюд».

Композитор говорил вполголоса, с долгими паузами, как бы что-то вспоминая.

Творчество композитора, по его словам, должно вытекать только из внутренних побуждений. Ни одно по-настоящему крупное и значительное произведение не было создано по заранее подготовленным формулам и штампам. Музыка в конечном счете должна быть выражением личности композитора. Она выражает его родную страну, его веру, любовь, книги, которые его волновали, картины, которые он любил. Время меняет только технику, но не призвание. В его собственных сочинениях он сознательно не

пытался быть ни оригинальным, ни романтическим, ни национальным. Он только писал музыку, которую слышал внутри себя. Он русский музыкант, и его родная страна положила печать на его темперамент, взгляды, убеждения и внешний облик. Поэтому его музыка — это русская музыка. На него влияли и Чайковский и Римский-Корсаков, но сознательно он ни одному из них не подражал. В этом не было нужды потому, что он брал музыку прямо из сердца. Если в нем была любовь, гнев, печаль, вера, эти настроения находили свое выражение в музыке. Она становилась или красивой, или задумчивой, или жесткой, или печальной.

Новое лето в Лонг-Айлэнде чем-то было непохоже на прошлое.

Светило солнце, чист и свеж был морской воздух, так же шумели сосны на дюнах, пестрел маргаритками луг на опушке парка.

Только океан был другим. День за днем над горизонтом висела серая мгла, ряд за рядом катились тяжелые белогривые гребни наката. С утра до вечера над бухтой металась чайка, плачущим криком надрывая сердце.

Вечером становилось подчас совсем неудобно.

Месяц, окутанный дымкой, висел на юге. С широких ступеней веранды было видно, как ворочалась беспокойная ночная вода, застилая белый песок каскадами серебряной пены.

Там, справа, за темным сосняком, где плоский кремнистый гребень выходил из-под дюн к самому берегу, с пушечным громом сотрясая землю, била океанская волна. Белые смерчи взлетали выше деревьев. Слышно было, как на веранде тихонько позванивали стекла.

Медленно взмахивая крыльями, над берегом пронеслась большая птица, наверно альбатрос.

В промежутках между ударами с далекой танцевальной площадки долетали обрывки джазовой музыки.

Обычно американские радиопередачи раздражали композитора: крикливая музыка, трески, смешение важного с пошлой чепухой.

Но в то утро, погруженный в свои мысли, он медлил уходить к себе, курил, глядя в окошко.

И слащавые звуки блюза вдруг оборвались на полутакте...

На рассвете моторизованные полчища Гитлера, подкрепленные тучами самолетов, обрушились на Советский Союз.

Всегда, даже в тесном домашнем кругу, он контролировал свои чувства. Но с первого же часа близкие поняли, какую тяжесть положила на душу музыканта эта новая война.

В первые недели на исход ее он смотрел мрачно.

Слишком свежи были впечатления последних месяцев и недель. Разве есть сила на свете, способная противостоять этой чудовищной, дьявольской машине, которая все давит на своем пути? Польша, Норвегия, Дания, Нидерланды, Франция, Греция, Югославия безропотно легли под гусеницы танков. Через Кипр щупальца перебросились в Египет. Англия чуть дышала.

Теперь настал черед России.

Ему мерещились толпы обезумевших от страха людей, которые, бросая скарб, бегут по сожженным полям в тучах пыли. Дым от горящих деревень слепит их глаза. Они не смеют их поднять даже к небу с мольбой о помощи, потому что там, как и везде, одна смерть. На толпы, на обломки железнодорожных составов с воем пикируют стаи самолетов с крестами на черных крыльях.

В то же время композитора глубоко оскорбляла та пораженческая болтовня, тот исступленный вой, который извергало большинство эмигрантских газет и собраний по адресу Советской России.

Их злорадство, их циническое «чем хуже, тем лучше» вызывали у композитора чувство тяжелой ненависти.

Но если он, Рахманинов, не с ними, то с кем же тогда? Если он, старый, надломленный уже человек, не в состоянии вернуться сейчас к своему народу и разделить его страшную судьбу, то разве не может он выразить свои чувства как-то иначе? Но как?..

У него есть имя, пока оно еще что-нибудь значит. Он готов вернуть его России, если этим сможет ей помочь.

Однажды вечером в конце лета под морозящим дождем кто-то позвонил у ворот. Рахманинов сам подошел к калитке, всматриваясь в коренастую мужскую фигуру в дождевике.

— Федор?.. — удивленно окликнул он.

— Да, — ответил моряк. — Пришел проститься, Сергей Васильевич. Еду.

— Куда?..

— Домом, — затаенным суровым торжеством прозвучал ответ.

Оказалось, что Федор нашел в генеральном консульстве земляка и добился своего. Его устроили на траулер, направляемый в Мурманск в составе каравана судов. Федор торопился. На прощание обнялись.

Композитор еще долго стоял у ворот, всматриваясь в потемки.

Он нимало не сомневался в том, что открытое публичное выступление в пользу родной страны вызовет бурю в стане ее врагов. Но он знал также, что есть много колеблющихся, не знающих, с кем идти. И таких огромное большинство. К ним в первую очередь он должен прийти на помощь.

Так приблизился концерт первого ноября. Рахманинов, всю жизнь ненавидевший рекламу, решил на этот раз широко опубликовать в печати, что весь сбор с этого концерта он отдает на медицинскую помощь Красной Армии. Он не ошибся. Не только в эмигрантских кругах, но и в некоторых американских «сферах» неслыханный шаг Рахманинова был встречен враждебно.

Маркс Левин, администратор Рахманинова, метался взад и вперед, пытаясь примирить крайние мнения. Наконец был найден некий компромисс: объявление о помощи России было напечатано не в афишах, но на программах. Откуда, разумеется, оно впоследствии попало и в газеты.

Только немногие счастливицы, побывавшие на этом концерте и сохранившие память о нем, с годами поняли, кого мы потеряли вместе с Рахманиновым. Играл ли он в жизни своей когда-нибудь так, как в тот вечер?

После концерта Рахманинова засыпали письмами. Писали колеблющиеся, писали те, кто сами пытались собирать средства на помощь отчизне, благодарили за то, что он открыл им глаза, помог увидеть правду. Шипели и «осы», но до поры втихомолку.

Как ни пытались хитроумные дельцы убедить музыканта направить собранные средства через американский Красный Крест, он не уступил и переслал их через своего импресарио генеральному консулу СССР в Нью-Йорке.

«...Это единственный путь, — писал он, — каким я могу выразить мое сочувствие страданиям народа моей родной земли за последние несколько месяцев...»

В марте при отсылке в Москву закупленного оборудования он написал в адрес ВОКСа:

«От одного из русских посильная помощь русскому народу в борьбе с врагом.

Хочу верить, верю в конечную победу.

Сергей Рахманинов».

Выступление музыканта не было забыто.

Один из последних концертов сезона состоялся в Чикаго. Тут

анонимный рецензент выпустил слегка позолоченное жало:

«...Несмотря на дождь на улице, зал кипел и гремел бурей оваций. И все же... внутренний эффект от концерта был угнетающим. Программа из сочинений одного Рахманинова это все равно, что обед из семи блюд с заливным из белуги на каждое блюдо. Он не более заслуживает занимать собою весь вечер, чем Рeger, Франк или Сен-Санс...»

За этим следовало многое, чего не стоит повторять. Друзья Рахманинова негодовали. Сам же он только улыбнулся.

Россия вопреки всем прогнозам продолжала отчаянно бороться. В декабре весь мир всколыхнула весть о битве под Москвой.

Всего за несколько месяцев и в характере и в самом облике музыканта совершился, казалось, глубокий перелом. Внешне он постарел сразу на много лет, совсем поседел, лицо потемнело, избородилось сетью глубоких морщин, сделалось слегка одутловатым. Он не выглядел больше высокомерным. В этом, наверно, больше не было нужды. Один молчаливый задумчивый взгляд из-под тяжелых век надежно охранял мир его души от праздного и назойливого любопытства. Увидав Рахманинова впервые в эту пору, каждый сказал бы, что перед ним человек старый, глубоко погруженный в свои раздумья.

Вести от Татьяны доходили очень редко, окольными путями. Он пересылал деньги через сторожа Сенара, но не был уверен, что они доходят по назначению.

Рахманиновых часто навещали пианисты Йосиф Гофман, Артур Рубинштейн, дирижер Бакалейников.

С последним Рахманинов выступал среди лета в природном амфитеатре Голливуд-Бул. Котловина среди лесистых гор сама звучала, как огромная морская раковина. На скамьях, расположенных подковой, разместилось свыше тридцати тысяч человек. Он играл Второй фортепьянный концерт, и огромная масса людей слушала затаив дыхание, словно чуя, что слушать его осталось уже недолго.

В это лето почти созрело трудное и важное решение. Он готовился прекратить концерты, заняться композицией и осесть в Калифорнии по крайней мере до конца войны.

По совету друзей он купил небольшой дом в Беверли Хиллс. При доме был крошечный сад с цветами и несколькими деревьями. При покупке его больше всего обрадовали две березы, правда росшие на соседнем участке, и огромная лиственница, стоявшая прямо напротив крыльца. Может быть, она напомнила ему онежскую старую ель!..

Большую часть дня он проводил за планировкой садика на своем

участке. Когда уставала спина, не спеша поднимался в будущую мастерскую над гаражом. Она была еще пуста. На полу валялись стружки. Сидя на подоконнике, он, обхватив руками колени, глядел в сад.

В самом начале осени скоростижно скончался Михдил Михайлович Фокин. «Симфонические танцы» потеряли своего хореографа.

«Какая ужасная утрата! — писал Рахманинов Сомову. — Шаляпин — Станиславский — Фокин — целая эпоха в театре. Теперь все кончено. Кто теперь займет их место! Остались, как говорил Шаляпин, одни «ученые моржи»...»

Сезон начался двенадцатого октября 1942 года в Детройте.

— Конечно, я опять буду играть для России, — сказал Рахманинов журналисту. — Америке помогают все, а России лишь немногие.

Подходила пятидесятая годовщина с начала концертной деятельности Сергея Васильевича Рахманинова.

Чувства его двоились. Дома у себя он настрого запретил даже заикаться о ней. Боялся, как бы не затрубила печать. Мысль о чествованиях, речах и банкетах среди ужасов войны была ему просто ненавистна. Все же, наверно, он был слегка уязвлен, когда в день юбилея лишь один-единственный филадельфийский журналист вспомнил о нем.

После концерта собралась за ужином горсть самых близких друзей да старик Стейнвей послал в калифорнийский дом в дар композитору новый великолепный рояль. Этим и ограничилось чествование.

Зато как глубоко был тронут музыкант, получив из советского посольства в Вашингтоне толстую пачку московских газет!

Москва, ожесточенная, полуголодная, погруженная в потемки под немолчной грозой бомбежек, нашла время вспомнить о своем блудном сыне и даже организовала выставку, посвященную его деятельности.

На одном из стендов висел его масляный портрет, присланный 85-летней Анной Даниловной Орнатской.

Сергей Васильевич однажды полушутя заметил, что он создан на восемьдесят пять процентов музыкантом и только на пятнадцать — человеком. Это верно, лишь постольку, поскольку отражает его всегдашнее стремление затушевать, скрыть от нескромных глаз этого, как ему казалось, «серого, никому не нужного и ни для кого не интересного человека».

Товарищи по искусству, общавшиеся с ним на протяжении десятков лет, судили его совсем иначе. С присущим ему романтическим пафосом свою мысль выразил Иосиф Гофман.

«...Никогда не было на свете души чище и святее, чем у Рахманинова! — воскликнул он. — И только поэтому Рахманинов стал великим

музыкантом, а то, что у него были такие превосходные пальцы, явилось чистой случайностью».

И по-своему, вероятно, он был не так уж далек от истины.

Коренные этические основы души музыканта — глубочайшая искренность, человечность, непримиримость к лжи и позе во всех проявлениях, горячая отзывчивость к людскому горю — нашли яркое и полнозвучное выражение в музыке Сергея Рахманинова.

С другой стороны, для него, как для человека, вся его жизнь, очевидно, имела музыкальный смысл. Он страшился даже подумать о том, что эта музыка для него перестанет звучать.

Близкие помнили, как он рассердился однажды, когда врачи предписали ему полный отдых.

— Они думают, наверно, что я буду сидеть на солнышке и кормить голубей!., — проворчал композитор. — Нет, такая жизнь не для меня. Лучше смерть...

Однако к исходу шестинедельных каникул он пожаловался на непривычную тяжесть. Появился кашель, боль в левом боку. Эти симптомы у семидесятилетнего музыканта, как неизбежный итог полувековой концертной страды, никого сами по себе особенно не насторожили.

Началась вторая половина сезона.

В Колумбус Огайо на концерт Рахманинова приехали Сомовы, хотя композитор просил их не делать этого. «Буду плохо играть», — писал он.

Внешний вид музыканта был ужасен. На вопрос о самочувствии вместо привычного «Первоклассно. Номер один!» он проговорил задумчиво: «Что-то плохо», — и добавил, что не вмоготу становится играть.

Елена Константиновна Сомова осторожно заметила, что ему нужно прекратить концерты и заняться композицией.

— Я слишком утомлен для этого... Где мне найти былые силы и огонь!

Она напомнила ему о «Симфонических танцах».

— Да, — чуть оживившись, подхватил он. — Я сам не знаю, как это получилось...

Но вот в Чикаго двенадцатого февраля 1943 года его встретили такие овации, что он воспрянул. Очень редко он бывал так доволен своей игрой. Он играл Первый концерт Бетховена и свою Рапсодию.

На другой день он почувствовал резкую боль в левом боку. Врачи установили слабый плеврит и посоветовали поехать на солнце.

Турне продолжалось. Он играл, задыхаясь и преодолевая боль.

Он отказался отменить концерт в Ноксвиле. В программе был Бах, Шуман, Лист, Шопен и Рахманинов. Он с потрясающим подъемом сыграл

си-минорную сонату Шопена.

Но это было все, что он смог сделать.

Отменив ряд концертов, он выехал в Новый Орлеан. Под жарким зимним солнцем кипел разноплеменный южный город в устье великой реки. У причалов за окнами гостиницы кричали и звонили в колокола допотопные пароходы времен Марка Твена.

— Ну вот, — говорил композитор. — Отдохнем день-другой на солнышке, а затем в Техас.

Однако наутро было принято решение уехать в Калифорнию на зимние квартиры.

Он не может играть. Ему нужен врач. Только в этом он, по его словам, «узколобый националист». Признает только русских врачей.

— Есть в Калифорнии один такой — москвич. Я поговорю с ним про свой бок, потом мы вспомним далекие годы. Будет хорошо для тела и для души.

Трое суток пришлось ожидать возможности выехать и еще трое медленным поездом добираться до цели. Линии были забиты воинскими составами.

На вокзале в Лос-Анжелосе встретил Федор Федорович Шаляпин с каретой «Скорой помощи». Больной просился домой, но его доставили в госпиталь «Доброго самарянина».

Рентген показал лишь два небольших очага воспаления в легких. Появившаяся в дороге кровь в мокроте исчезла.

Полулежа на койке, композитор в обычном, полушутливом тоне писал Евгению Сомову, повествуя о событиях последних дней. «Много шума из ничего!» — таков был конечный вывод.

Но за этим следовала зловещая лаконическая приписка медсестры по-английски: «М-р Р. не закончил письма».

Он пробыл в госпитале три дня.

Больше всего его тяготило то, что он не может играть, упражняться. Федор Шаляпин-младший, который подолгу его навещал, попытался вселить в него веру в выздоровление.

— Не в мои годы, Федя, — возразил Рахманинов. — В моем возрасте нельзя прерывать упражнения.

Вдруг, словно позабыв о присутствии гостя, поглядел на свои руки, лежащие поверх одеяла.

— Мои бедные руки... — очень тихо проговорил он и, помолчав, добавил одним дыханием: — Прощайте!

Боль в боку жестоко мучила его временами. Но он не жаловался.

Только возрастающая бледность выдавала его.

Ирина с дочкой выехали из Нью-Йорка.

После недолгих колебаний доктор Голицын согласился отпустить его домой. Он все еще надеялся, что с приходом теплых дней настанет перелом к лучшему.

На крыльце дома поджидала в белом халате и шапочке с красным крестом Ольга Георгиевна Мордовская, опытная медсестра, присланная Голицыным.

Сергей Васильевич, оглядевшись в комнате, весь посветлел: «Хорошо быть дома!»

В течение первой недели он живо интересовался всем. С жадностью читал газеты, расспрашивал о цветах, перелистывал прејскуранты садоводов. Расспрашивал о березках на смежном участке. От него скрыли, что еще среди зимы березы были срублены. Он попросил настроить радио на Москву и не менять настройки. Он хотел слушать только русскую музыку.

Несмотря на возрастающую боль в руке, он продолжал упражнения кисти и пальцев на немой клавиатуре.

А когда закрывал глаза, с неизменной настойчивостью возвращался к нему все тот же, может быть выдуманный, клочок родной земли с железнодорожным мостиком и синей речушкой. Тенистая тропа (он хорошо это знал) мимо плакучих берез ведет в сосновую чащу. По опушке в траве голубеют звездочки цикория, стоят стройные, как свечи, бледно-желтые цветы, похожие на мальвы. Он никак не мог припомнить их название...

В десятых числах марта собрался консилиум, и фатальный характер болезни сделался очевидным.

Меланома, редкая молниеносная форма рака, уже поразила легкие, кишечник, суставы и даже кровь. Ужасную правду сообщили семье. Все, что оставалось теперь, это скрыть ее от больного и по мере сил облегчить его страдания.

Наталья Александровна держалась стойко. Настал ее час. Только волосы вдруг поседели. Никто хорошенько не знает, какой должна быть жена великого художника. По натуре она была очень интеллектуальна, была у нее своя жизнь, свои мысли. Но она таила их в себе. Мало-помалу она отрешилась от всего своего и сделалась как бы тенью его помыслов и желаний. Она старалась как умела оградить его жизнь и его музыку от назойливых посягательств извне. Если же этим она снискала себе среди людей малознакомых репутацию надменной гордячки — пусть! Это говорит лишь о том, что труд ее, незаметный и неблагодарный, не пропал

даром. Теперь он подходит к концу.

Недрогнувшим голосом она читала ему вслух Пушкина, рассказывала новости. Весть о переломе на русском фронте, о разгроме армий Паулюса на Волге вызвала блеск в тускнеющих глазах больного.

— Слава богу!.. — прошептал он.

Однажды Федор Федорович застал его после сна.

— Кто это? Кто это играет? — быстро спросил он. — Почему они не перестанут?..

Когда Наталья Александровна убедила его, что никто не играет, он проговорил со слабой улыбкой:

— Ах да!.. Правда, ведь это у меня в голове...

В беспомощности он часто двигал руками, шевелил пальцами, словно играл.

Покуда сознание не начало угасать, все мысли его были о близких. Он то заклинал жену, дочь и приехавшую Софью Александровну не сидеть над ним, быть побольше на воздухе, бывать у знакомых, в кино, то уговаривал сестру Мордовскую пойти передохнуть.

Часто в доме глухо звонил покрытый пледом телефон. Изредка раздавался робкий звонок у калитки.

За оградой виднелись взволнованные, по большей части молодые лица, знакомые и совсем незнакомые.

Однажды уже поздно вечером пожилая русская горничная Рахманиновых вышла в прихожую. Ей почудился слабый стук у парадной двери. Отворив, она невольно отступила на шаг.

Перед ней стояла незнакомая девушка, прижимая к груди охапку только что сорванных красных роз. Темные волосы были покрыты маленькой соломенной шляпкой, короткая накидка брошена на плечи. Темные, в пушистых ресницах глаза глядели без улыбки.

— Войдите... — немного растерявшись, пригласила горничная.

— Нет, нет... — торопливо и застенчиво отозвалась гостья по-русски. Легкая краска залила ее щеки. — Вот, пожалуйста... отнесите наверх.

Бережно взяв цветы, горничная заметила на руках у девушки тонкие кружевные поношенные перчатки без пальцев.

— Но как же... — горничная оглянулась, чтобы кликнуть Софью Александровну.

Но гостьи и след простыл — словно ее и не было!

— Барышня, вернитесь!.. — позвала горничная, выйдя на крыльцо.

В ответ только зашумела под ветром с гор старая лиственница да хрустнула галька под легкими, торопливо удаляющимися шагами.

Но розы остались. Были они редкого бархатистопурпурового оттенка и нежного аромата, искрились крупной вечерней росой и, казалось, еще хранили тепло давно закатившегося солнца.

Немного позднее, когда Рахманинов открыл глаза, розы уже стояли в майоликовой вазе. Взгляд больного обошел комнату и замер на цветах. С минуту он пристально вглядывался, как бы силясь что-то припомнить. Потом ресницы медленно опустились.

В час тридцать минут ночи двадцать восьмого марта 1943 года сердце Рахманинова перестало биться.

Когда Наталья Александровна вышла на террасу, было очень темно. На смежной даче — яркий свет, синкопический стук и истерические вопли джаза. Пьяный смех, шутовские возгласы, сопутствующие тому, что американцы называют «найт парти» (ночная пирушка).

И вдруг, заглушая весь этот гам, в комнатах в полный голос заговорила невыключенная радиолоа, В сад, отягченный весенней росой, через открытые окна полились чистые и нежные звуки московских курантов.

3

А теперь оглянитесь назад на долгий и трудный путь, начавшийся для Сергея Рахманинова на зеленом дворе Онега, где в незапамятные годы, помахивая косматыми темными рукавами, стояла старая ель. Эту дальнюю дорогу пересекла на две неравные половины необъятная, вечно клокочущая пелена чужого и холодного океана.

До последнего дня жизни уже слабеющие глаза старого русского музыканта были неотрывно прикованы к далекому милому берегу. Судить ли его за то, что преодолеть преграду оказалось ему не под силу!..

«...Главные темы его музыки, — писал о Рахманинове Николай Метнер, — суть темы его жизни, не факты из жизни, но темы, неповторимые темы неповторимой жизни...»

...Его звук в клавише или в партитуре никогда не бывает пустым, нейтральным. Он так же выделяется из среды других звуков, как звук колокола среди уличного шума...»

Не потому ли музыку Рахманинова мы безошибочно узнаем с первых же ее тактов?

Кто из нас не входил под сень рахманиновских «цветущих садов»? Кто не черпал в звуках его музыки сурового мужества, кто не склонялся перед его подвигом в труде!

Этот труд выше сил человеческих ни в юности, ни на закате дней не был ни беспредметным, ни эгоистичным. Рахманинов жил и трудился для счастья людей.

Может быть, еще в юности он понял, что «в этой чудесной погоне за счастьем и заключается само счастье»? Не в обладании, а в стремлении, не в достижении, а в творчестве, в бесстрашных поисках красоты и правды. Наверно, он знал, что эта волшебная «синяя птица» — непостижимая и недостижимая; если неосторожно схватить ее руками, она очень часто вдруг становится черной.

Он не раз ошибался. Но за свои промахи и заблуждения всегда платил сам жестокой и горькой ценой.

Неделю спустя после смерти композитора почта с опозданием принесла вести из Москвы о планах празднования и концертах из произведений Рахманинова, приуроченных ко дню его семидесятилетия 1 апреля 1943 года. Немного раньше была получена каблограмма, подписанная одиннадцатью наиболее выдающимися советскими музыкантами.

«Дорогой Сергей Васильевич!

В день Вашего семидесятилетия Союз советских композиторов шлет Вам горячие поздравления и сердечные пожелания радости, сил, здоровья на долгие годы.

Мы приветствуем Вас как композитора, которым гордится русская музыкальная культура, величайшего пианиста нашего времени, блестящего дирижера и общественного деятеля, который в наши дни показал свои патриотические чувства, нашедшие отклик в душе каждого русского человека...»

В тридцати милях от Нью-Йорка есть крохотный городок с суровым тевтонским названием — Валгала.

В апреле 1943 года на тенистом русском кладбище за околицей появился белый осьмиконечный крест, рядом — две мраморные скамьи. Вокруг темные лавровые кусты.

При жизни он думал совсем о другом. Он хотел быть погребенным после войны в ограде Ново-Девичьего монастыря, где покоится прах людей, которых он чтит и любил, начиная с Чехова и кончая консерваторским товарищем Скрябиным.

Деревья, кроме хвойных, стояли еще голыми. Но на ветвях старой яблони поодаль уже розовели бутоны, готовые распуснуться. Через

несколько дней дерево оделось цветами.

Яблоня еще жила и цвела пятнадцать лет спустя, когда в ограду кладбища вошел непомерно тонкий и высокий рыжеволосый юноша. Еще месяц тому назад имя немного нескладного на вид, длинноногого юноши из Техаса почти никому не было известно. Всего несколько дней как он по праву завоевал первую премию на конкурсе пианистов имени Чайковского в Москве.

Своей непостижимой искренностью, детской доверчивой улыбкой и магическим проникновением в самую душу русской музыки он сразу нашел дорогу к сердцам москвичей. И прежде всего ее проложил для него Третий фортепьянный концерт Рахманинова.

Юного гостя Москвы с первого дня поняли, горячо полюбили и признали своим. Кто-то заметил, что суровый трагический пианизм позднего Рахманинова у Вана Клиберна, не утратив своей глубины, обрел светлое, радостное, юношеское звучание.

В дни конкурса старый друг и современник покойного композитора А. Б. Гольденвейзер говорил:

«Закрыв глаза, я вновь слышу молодого Рахманинова и вновь переживаю волнующие впечатления давно минувших дней».

Присев на корточки возле могилы, юный музыкант длинными подвижными пальцами высаживал в грунт цветущее деревце белой сирени, накануне привезенное им на самолете из Москвы.

У подножья памятника в длинногорлом кувшинчике стояло несколько совсем свежих темно-пурпуровых роз. Капельки влаги сверкали в тяжелых, качаемых ветром венчиках цветов.

Музыкант указал на них глазами своему спутнику и другу — московскому дирижеру.

Прежде чем уйти, он положил у надгробья последний дар — горсть земли, взятую на могиле Чайковского в ограде Александро-Невской лавры.

«Умер только тот, кто забыт».

Мне кажется, что пристальное и любовное взглядывание в жизненный путь Сергея Рахманинова и сокровища музыки, которые он нам оставил, только еще начинается. Сколько радостей и неожиданных открытий ждет нас на этом пути!

Давно ли, в дни ленинградской блокады, обрела свое второе рождение Первая симфония Рахманинова, столь жестоко и несправедливо оклеветанная в конце минувшего века!

И если когда-нибудь на далекой чужбине зарастет тропа на кладбище

Валгалы, все равно — сам он, живой и близкий, навсегда останется с нами.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА С. В. РАХМАНИНОВА

1873, 20 марта (1 апреля) — В имении Онег Новгородской губернии у бывшего офицера гродненского гусарского полка Василия Аркадьевича Рахманинова и жены его Любови Петровны, рожденной Бутаковой, родился сын Сергей.

1873–1882 — Детские годы в Онеге и в Новгороде у бабушки Сергея С. А. Бутаковой. Первые проблески музыкального дарования. Первые уроки музыки у А. Д. Орнатской.

1882 — Рахманиновы разорены. Онег продан за долги. Семья переезжает в Петербург. Сергей поступает на младшее отделение Петербургской консерватории.

1885 — По совету двоюродного брата, пианиста А. И. Зилоти, Сергея посылают в Москву на воспитание к известному педагогу Н. С. Звереву.

1885–1889 — Годы жизни в зверевской музыкальной бурсе. Первые годы учебы в Московской консерватории.

1888 — Сергей переходит в старшее профессорское отделение в класс А. И. Зилоти.

1889 — Сергей покидает Зверева и поселяется у родственников отца Сатиных. Начало занятий по специальной теории и композиции.

1890, лето — Проводит в Тамбовской губернии в имении Ивановка вместе с семьями Сатиных, Зилоти и Скалон. Приступает к осуществлению замысла Первого фортепьянного концерта.

Зима — Едет в Петербург на постановку «Пиковой дамы» Чайковского.

1891, весна — Оканчивает консерваторию по классу фортепьяно.

Лето — Завершает работу над Первым фортепьянным концертом.

1892, весна — Рахманинов создает одноактную оперу «Алеко» по мотивам поэмы Пушкина «Цыганы». Оканчивает Московскую консерваторию по классу композиции и удостоивается Большой золотой медали.

1893, весна — постановка оперы «Алеко» на сцене Большого театра.

Лето — Лебедин (близ Харькова). Фантазия «Утес». Первая сюита для двух фортепьяно.

Осень — Смерть Чайковского. Элегическое трио.

1894, лето — Цыганское каприччио.

1895, январь — август — Работа над Первой симфонией.
Осень — Концертная поездка со скрипачкой де Туа.
1896, осень — Фортепьянные пьесы и романсы (в их числе «Весенние воды»).

1897, весна — Неудача Первой симфонии в Петербурге.
Осень — Поступление в качестве дирижера в московскую Частную оперу С. И. Мамонтова.

1898, лето — Путятино. Творческое общение с Шаляпиным.
Осень — Поездка в Крым.

1899, весна — Первая концертная поездка за границу (Лондон).
1900, весна — Болезнь. Поездка в Крым. Встречи с Чеховым.
Лето и осень — Второй концерт для фортепьяно с оркестром (2-я и 3-я части).

1901, весна — Второй концерт для фортепьяно с оркестром (1-я часть).
Лето — Соната для виолончели и фортепьяно.

1902, зима — Кантата «Весна».
Весна — Женитьба на Н.А. Сатиной.

1903, весна — лето — Прелюдии для фортепьяно, соч. 23.
1903–1904 — Сочинение одноактных опер «Скупой рыцарь» и «Франческа да Римини».

1904 — Русско-японская война.
Осень — Рахманинов — дирижер Большого театра.

1905 — Декларация свободных художников. «Дубинушка» в Большом театре.

1906, январь — премьера опер Рахманинова.
Осень — Отъезд композитора с семьей в Дрезден, где он проводит зимы с 1906/07 по 1908/09 год.

1907, осень — Вторая симфония.
1908, зима — Исполнение симфонии в Петербурге и Москве.

1909, весна — Поэма «Остров мертвых». Возвращение из Дрездена в Москву. Участие в работе РМИ (1909–1917) и РМО (1909–1912).
Лето — Третий концерт для фортепьяно с оркестром.
Осень — Поездка в Америку.

1910, лето — Ивановка. Литургия. Второй цикл прелюдий для фортепьяно.

1911, лето — Ивановка. Этюды-картины (первая серия).
1912 — Рахманинов дирижирует концертами филармонического общества.

1913, зима — весна — Рим. «Колокола».

1914, весна— Концерты в Англии.
Лето — Начало империалистической войны.
1915, Весна — Смерть Скрябина.
Лето — Смерть Танеева.
Осень — Концерты памяти Скрябина.
1916, лето — Кисловодск. Ивановка. Смерть отца.
Осень — Романсы. Вторая серия этюдов-картин. Концерты с Н. П. Кошиц.
1917, зима — Петроград. Февральская революция.
Лето — Концертная деятельность. Кавказ. Крым. Концерт в Ялте 5 сентября.
Осень — Новая редакция Первого концерта. Октябрьская революция. Петроград.
Декабрь — Рахманинов с семьей покидает Россию.
1918 — Концерты в Скандинавских странах. Стокгольм. Копенгаген.
Осень — Отъезд в Америку. Начало 25-летней деятельности концертирующего артиста.
1919–1925 — Концертные поездки по Америке.
1925 — Возобновление концертов в Европе.
1926 — Возврат к творчеству. Четвертый концерт для фортепьяно. «Три русские песни».
1931, лето — Вариации на тему Корелли.
1934, лето — Сенар (близ Люцерна). Рапсодия на тему Паганини.
Осень — зима — Концерты в странах Европы.
1935–1936, лето — Сенар. Третья симфония.
1938, весна — Смерть Шаляпина.
1939 — Последнее лето в Швейцарии. Отъезд в Америку. Начало второй мировой войны.
1940 — лето — в Лонг-Айленд. Композитор работает над партитурой «Симфонических танцев».
1941, июнь — Нападение фашистской Германии на Советский Союз.
Осень — Патриотический шаг Рахманинова в помощь родине.
1942 — Продолжая интенсивную концертную деятельность, Рахманинов переселяется с семьей в Калифорнию. 50-я годовщина артистической деятельности.
1943, январь — Зимний отдых. Последние концерты. Отъезд на юг. Возвращение в Калифорнию. Роковой недуг.
В ночь на 28 марта в 1 час 30 минут Сергей Рахманинов скончался в Беверли Хиллс (Калифорния).

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Молодые годы Сергея Васильевича Рахманинова. Письма. Воспоминания. Под ред. В. М. Богданова-Березовского. Музгиз, 1949.

Рахманинов С. В., Письма. Под ред. З. Апетян. Музгиз, 1955.
Воспоминания о Рахманинове, тт. I и II. Музгиз, 1957, 1961. (В составе сборника: воспоминания С. А. Сатиной, А. Трубниковой, М. Пресмана, Е. Жуковской, А. Оссовского, А. Гольденвейзера, А. Гедике, З. Прибытковой, М. Шагинян, А. и Е. Сван, Б. Асафьева и многих других.)

Бэлза И. Ф., С. В. Рахманинов. Популярный очерк. Музгиз, 1946.

С. В. Рахманинов и русская опера. Сборник статей под ред. И. Ф. Бэлза, ВТО, 1947.

Рахманинов С. В. Сборник статей и материалов. Под ред. Т. Э. Цытович. Музгиз, 1947.

Архимович Л. С., С. В. Рахманинов. «Мистецтво, Киев, 1952.

Алексеев А. Д., С. В. Рахманинов. Жизнь и творческая деятельность. Музгиз, 1954.

Соловцов А., С. В. Рахманинов. Лекция. Музгиз, 1955.

Кандинский А., Оперы Рахманинова. Пояснение. Музгиз, 1956.

Соколова О., Симфонические произведения Рахманинова. Музгиз, 1957.

Василенко С., С. В. Рахманинов. Музгиз, 1961.

Брянцева В., Вариации Рахманинова на тему Корелли. Музгиз, 1962.

Брянцева В., Вторая фортепьянная соната Рахманинова. Музгиз, 1962. 1

Bertensson S. and Leyda I., Sergei Rachmaninoff. A lifetime in Music. With the assistance of Sofia Satina. New-Iork, 1956.